ЕФИМ
ГРЕЦЕВ



ЭХО В СТЕПИ





ЕФИМ ГРЕЦЕВ

ЭХО В СТЕПИ

РОМАН



МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1984

Р2
Г80

Грецев Е. И.

Г80 Эхо в степи: Роман. — М.: Воениздат, 1984. — 304 с.

В пер.: 1 р. 60 к.

Книга посвящена героическому прошлому нашей Роднны, событиям канунв революцни 1905 года. Глввный герой пронзведения батрак Афвнасий Чумаков, призванный в царскую гвардию, отквзался стрелять в мирную демонстрацию.

О сложной судьбе Афанвснн Чумвкова н его сверстннков, о том, как под руководством большевнков зрело сознвнне нвродных масс, расслаивалось донское казвчество, повествует этот многоплвновый роман.

Книга рассчнтана на массового чнтателя.

Г $\frac{4702010200-235}{068(02)-84}$ 119-85

ББК 84Р7
Р2



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Иногда в разгар зимы вдруг пахнет в Сальской степи такой весенней теплынью, так ослепительно ярко засияет солнце, что за день-два поблекнут белоснежные просторы, обнажатся древние сторожевые курганы и вслед за ними — бугры с зеленеющей осенней отавой мятлика и кустами старой полыни. А еще через день-два на плоской равнине появятся широкие проталины, покрытые темно-бурой полегшей травой. Над согретой землей голубым дымком низко поплывут прозрачные клубы пара, бесследно исчезая где-то в густых зарослях прошлогоднего бурьяна. По-весеннему заструится у горизонта зыбкое марево... Но старожилы знают, что это еще не весна. Вскоре оттепель начнет перемежаться с

легкими заморозками, дожди — с гололедицей, мягкий приазовский ветерок — с злыми астраханскими суховеями, и через неделю — снова зима: трескучий мороз и снег. И только в марте, а порой в начале апреля властно вторгается в Сальскую степь весна.

О таких капризах природы в этих краях не знали первые новоселы хутора Степного Кута. И как только наступили погожие дни, в землянку Терентия Чумакова собрались соседи, переселенцы-земляки из далекого Полесья. В тесной хатенке разместились кто как мог: одни присели у печки, другие — на корточках у порога, молча покурили.

— Ну, Терентий, что будем делать? — озабоченно спросил немолодой, низкорослый и щуплый, как подросток, Никита Сазонов, раздавливая в желтых пальцах чадящий окурок. — Теплынь вон всю степь оголила. Может, пора землицу ковырять да семена разбрасывать?

— А ты чего меня пытаешь? — добродушно улыбнулся в светло-русую бороду хозяин, продолжая потрясывать на колене шестилетнего мальчонку, оседлавшего отцовскую ногу. — Тут небось постарше найдутся, лучше моего посоветуют. — Терентий глазами показал на престарелого, с ковыльно-белой бородой деда Глобу.

— Не-ет, мил человек, ты не отвиливай, — метнул злой взгляд черный, как цыган, Василий Фирсов, приподнимаясь на ноги. — Кто ходоком был? Ты! Кто всех нас сюда сманил? Опять ты! Вот теперь и выкладывай, что надо делать?

Терентий согнал с лица улыбку, опустил на земляной пол сынишку, подумал и не спеша ответил:

— В этих местах, говорят, весна бывает ранняя. Наверно, сейчас уже началась. Надо поспеть кинуть зерно в сырую землицу, до суховеев, чтобы поглубже корни успело пустить... Я думаю денька через два приступить к своей делянке...

Вслед за Чумаковым почти все новоселы выехали в степь. Но отсеяться не успели — хватил мороз и повалил снег. А в конце февраля поднявшаяся пурга за одну ночь оголила степь и намела на улицах хутора такие сугробы, что утром нельзя было ни пройти, ни проехать.

Тревожно стало на хуторе. Тот, кто успел бросить зерно в землю, тяжело вздыхал, сокрушенно чертыхался. Пропал посев — вымерзнет. Недобрым словом поминали новоселы Терентия Чумакова, а Василий Фирсов при встрече даже грозил лютой расправой.

Но весна примирила всех.

Как только отгремели первые весенние грозы и певуче

прожурчали в балках и мелких степных речушках вешние воды, а в небе снова ослепительно засияло солнце — степь, бурая и неприглядная, теперь неузнаваемо преобразилась: повсюду раскинулась молодая зелень трав, в низинах и на пологих скатах, словно кем-то высеянные, густо запестрели цветы: и разноцветные астрагалы, и светло-синие васильки, и нежные бледно-лиловые ирисы. Кое-где вытянулись фиолетовые стрелки зубровки и поднялись на тонких ножках звездочки гусиного лука. Особенно нарядно изукрасили степь желтые, розовые, пунцовые и даже черные тюльпаны.

Однако не этот красочный мир радовал и занимал полуголодного переселенца. Все думы его были обращены на черный клочок арендованной делянки, на дернистую, с большим трудом вспаханную целину, на дружно прыснувшие по ней первые зеленые всходы посевов.

— Ну, слава богу, кажись, выбьемся из нужны. Видать, порадует нас урожай... — облегченно вздыхали люди, крестясь на восток. — Зря ругали Терентия: может, и найдем тут свое мужицкое счастье...

С каждым днем новоселы убеждались, что нечего теперь жалеть о покинутых родных местах, где были только леса да болота, а на песчаных перелесках, очищенных от пней и кустарников, — маленькие клочки посевов. Богатыми урожаями те земли не баловали крестьян. Своих харчей почти никогда не хватало даже до половины зимы. Вот почему так часто на погостах стучали о мерзлую землю заступы и, чуя беду, тоскливо выли во дворах собаки...

Многие крестьяне бросали насиженные места и шли искать счастья в чужих краях. Всех манили богатые просторы Алтая и Западной Сибири, но слишком далек путь до тех мест. Больше шли на юг, на Донщину, где, по слухам, невдалеке от Ростова и Новочеркасска, между степными реками Манычем, Егорлыком и Салом, лежали привольные, от века не паханные земли. Но прежде чем подняться в путь-дорогу, посылали односельчане ходоков. Они-то и определяли места будущих поселений.

Терентий Чумаков арендовал у пана Радзиевского крохотный клочок болотистой земли. Работал с усердием, но из нужды так и не выбился. Семье постоянно приходилось жить впроголодь. Наконец, отчаявшись, Терентий махнул на все рукой и ушел на юг ходоком. Возвратился к осени. Вести принес хорошие. Донское войсковое управление сдавало в аренду землю по дешевке, и брать ее можно было столько, сколько душа твоя пожелает.

Почти половина села поднялась со своих мест. Облюбо-

вали землю юго-восточнее Ростова и поселились у низких пологих берегов степной мелководной речушки Подпольной, на восточной окраине казачьего хутора Степной Кут. Разбили подворные наделы, наскоро соорудили саманные хаты и стали ждать весны...

И вот теперь всех обрадовали дружные всходы первых посевов на этой привольной земле. Но коротка оказалась радость переселенцев. Не успели еще отколоситься поля, как в Сальскую степь ворвалась черная буря. Бешеный ветер с воем и свистом тащил прикаспийский песок, взметал ввысь дорожную пыль, рвал и взвихривал пересохшую землю вместе с посевами. Непроглядной мутью закрылось небо, и, словно при затмении, погасло в зените солнце. В мрачной мгле выли собаки, ревел скот. Косяки лошадей, бродившие по степи, уходили от табунщиков, мчались в клубящейся темноте невесть куда, пытаясь скрыться от бури.

В селах, хуторах и станицах, как на пожаре, били в набат. Люди, подавленные горем, с мольбой смотрели на черное небо. Повсюду слышались ропот, плач и молитвы. Никому не хотелось что-либо делать, не сиделось дома, тянуло в степь, в поле, где гибли посевы.

На площадях собирались толпы. Из церквей выносили иконы, хоругви и, низко пригибаясь к земле, шли с крестным ходом навстречу черной вьюге. А там, в степи, сек, засыпал и душил все живое сухой земляной дождь...

Это продолжалось почти две недели...

Как только утих ураган, Терентий Чумаков поспешил к своему посеву. За хутором, вокруг, насколько хватал глаз, — мертвая, сожженная степь. Тяжелую картину увидел он на своем поле. У восточной половины участка, на склонах бугра, где так недавно зеленела неотколосившаяся пшеница, чернела теперь голая, выветренная земля, а внизу, в лощине, сугробами лежали кучи песка и пыли. Только кое-где выглядывали желтые стебельки посевов.

Терентий, став на колени, начал поспешно разгребать руками наносы земли, высвобождать из плена поникшие кусты пшеницы. Работал долго, до самого вечера, потом понял, что этот труд почти бесполезен. Чтобы поднялись оставшиеся посевы, нужен был дождь, обильный и продолжительный. Но здесь в это время года, по-видимому, такого блага не бывает...

Подавленный, убитый горем, возвращался Чумаков домой поздно вечером. И вдруг за бугром, в трех верстах от хутора, встретился с земляками-переселенцами.

— Придержи, Терентий, гнедого, остановись! — послы-

шался из толпы, перегородившей дорогу, чей-то глухой голос. — Погляди, супонь развязалась.

Чумаков, ничего не подозревая, натянул вожжи, приподнялся на подводе и только хотел сойти на землю, как неожиданный, страшной силы удар по голове свалил его на обочину дороги. Раскинув руки, он ткнулся лицом в пыльную выбоину и неподвижно замер у заднего колеса телеги.

— Убили!.. — испуганно ахнули в толпе. Все оторопели.

Но живуч оказался Терентий. Толпа еще не пришла в себя, а он уже зашевелился, с трудом оторвал от обочины дороги непомерно тяжелую голову, тряхнул ею, разбрызгивая кровь, и медленно стал подниматься на четвереньки.

— Ага, очухался, ожил! — обрадовался кто-то. И другой, такой же страшный удар снова свалил Чумакова в пыль.

— Братцы, за что? — глухо прохрипел Терентий, захлебываясь кровью.

— А-а, не знаешь, ирод?!

Обезумевшая толпа бросилась к нему. Били долго, ожесточенно, били за все сразу: и за нужду, и за голод, и за черную бурю, и за то, что он сманил и привел людей в эту проклятую степь на верную гибель...

Стонавшего в беспамятстве Терентия взвалили на подводу, намотали ему на руки концы вожжей, огрели коня кнутом, гикнули и пустили в степь.

Лошадь ночь проплутала и только утром привезла хозяина домой. Увидев окровавленного мужа, в беспамятстве распростертого на подводе, жена Терентия вдруг осела, прижала ладони к левому боку и медленно повалилась навзничь. Ее отнесли в хату. Тихая, спокойная женщина, терпеливо переносившая бесконечные нужду и лишения, раньше никогда не жаловалась на свое здоровье, а тут, смертельно бледная, несколько дней лежала без движения с закрытыми глазами, отрешенная от всего.

Когда же Терентий поднялся впервые на ноги и, пошатываясь, подошел к ее изголовью, она взглянула на распухшее, в кровавых подтеках лицо мужа, вздрогнула и застонала. В тот же день она умерла, оставив на руках Терентия двух малолетних сирот.

А недели через три в эту обездоленную семью еще раз наведалась смерть. Четырехлетняя девочка, наевшись крутой мамалыги из прелой мякины и курая, двое суток без умолку кричала. Привезенный из станицы фельдшер определил — заворот кишок, но ничем уже не смог помочь.

Дальше оставаться в этих гибельных местах Чумаков не рискнул. Посадив сынишку Афоньку в телегу и бросив в

задок остатки домашнего скарба, он, по совету старожилов, подался в поисках счастья на Маныч.

Там, на лиманах, стал собирать загустевшую соль, сушить и сбывать по сходной цене чумакам-прасолам.

Работал Терентий с редкостным старанием. Даже после покрова, глубокой осенью, он еще бродил по пояс в ледяной воде, сгребая, как талый снег, застывшую соль.

Но и здесь караулила Чумакова злая недоля. Перед зимним Николой он простудился и тяжело заболел. Определив Афоньку погонычем к богатому казаку, Терентий ушел в экономию коннозаводчика Жеребкова. Весной, отплевываясь кровью, он скончался где-то на отдаленном зимовнике...

С той поры жизнь Афоньки запетляла по всем горемычным путям-дорогам. Через год, не выдержав крутого хозяйского нрава и частых побоев, он сбежал от казака. Лето перебивался случайными заработками на поденщине у коннозаводчиков, а поздней осенью в хуторе Верхне-Соленом взял его в помощники кузнец Корней Федотович Булатов. Вначале строго присматривался к парню, проверял в работе, в житейских делах. По душе пришелся суровому бобылю Афонька. И он решил: быть ему мастером кузнечного дела. Обучал по старинке, так, как некогда учили его: спуску ни в чем не давал, заставлял работать наравне с собою с утра до позднего вечера, иногда ворчал, покрикивал, требовал проворства и в то же время охотно, но исподволь показывал секреты мастерства, которые сам приобрел долгими годами нелегкого труда.

Афонька чувствовал и понимал, что под внешней суровостью кузнеца скрывается большая душа доброго человека. Накрепко, на всю жизнь, прирос он сердцем к своему наставнику и учителю.

За два с половиной года Афонька постиг многое, но сказался тяжелый труд в кузнице. Однажды, под рождество, задыхаясь у горна, пылавшего нестерпимым жаром, Афонька почти целый день не отходил от наковальни. Надо было не только внимательно следить за ловкими движениями рук Корнея Федотовича, поспевать за ним бить десятифунтовым молотом по раскаленному металлу, но и своевременно подбрасывать уголь, а потом раздувать скрипучими мехами чадивший горн. От дыма и гари пересыхало в горле, от тяжелого молота ломило руки, спину, плечи. В минуты коротких перерывов Афонька выскакивал из кузницы, хватал сухими, потрескавшимися губами комочки побуревшего у стены снега, на короткое время тушил мучительную жажду. Мокрая от пота рубаха обжигала ледяным холодом

спину. Афонька ахал, вздрагивал от озноба, но в кузницу не спешил. К вечеру того же дня он, пылая как в огне, свалился в постель. И как была ни тяжела болезнь, кузнец все же выходил полюбившегося ему парня и не стал удерживать его у себя. Щедро расплатившись, Корней Федотович по-отцовски благословил Афоньку и напутствовал теплыми словами:

— Ступай, сынок, пошукай себе работу полегше... А ежели что — возвертайся, приму, как своего...

Ранней весной Афанасий уже работал у коннозаводчика Королькова подручным табунщика. После закоптелых и мрачных стен кузницы степной простор показался ему особенно привольным. Тут и косяки лошадей на бескрайних пастбищах, и частые скачки за табуном, и погони за волками с криком, свистом и ружейной стрельбой, и ночные костры возле мягких постелей из свежего сена, и рассказы перед сном бывалого табунщика о привольной жизни предков донских степняков — все это сливалось в одно целое, бурное, веселое, праздничное... Афоньке всерьез казалось, что лучшего теперь и желать нечего. Несложные обязанности свои он освоил быстро и выполнял их с большой охотой.

Но жизнь отпустила слишком мало радости на долю Афоньки. Один несчастный случай — и все рухнуло. Это произошло на водопое. Сильный удар копыта косячного жеребца опрокинул на землю Афоньку с вывихнутой рукой и сломанной ключицей.

Степная, как ему казалось, счастливая жизнь оборвалась. Наступили мучительные дни одиночества на пустынном зимовнике. Табунщик не оставил его в беде, кое-как помогал харчами.

Когда же наконец Афанасий выздоровел, снова нужно было искать работу: у Королькова ее не оказалось. Афанасий, не раздумывая, отправился по хуторам и экономиям.

У домовитого казака Коломейцева он нашел поденную работу во время пахоты. В экономии князей Трубецких задержался на косовице. Впервые с вилами садился он на лобогрейку и скидывал с полка вороха ложившейся под ноги скошенной озимой пшеницы. Потом у коннозаводчика Пишванова целыми днями ворочал снопы, заталкивая их в прожорливую пасть ревущего барабана конной молотилки...

И так год за годом нужда гоняла Афоньку по Сальской степи, как ветер перекати-поле.

Свою семнадцатую весну он встретил недалеко от тех мест, где впервые его отец вместе с новоселами начинал осваивать арендованные участки земли. Вспомнил он знако-

мый хуторок на берегу мелководной речушки Подпольной, и его почему-то потянуло туда. Как знать, быть может, среди давнишних земляков и найдет он наконец свое заплутавшее счастье.

С мешком за спиной Афанасий остановился и постучал в перекосившуюся дверь саманной хаты, что находилась на самом краю Степного Кута.

На пороге появился маленького роста старик с редкой, клочковатой бороденкой, шустрыми молодыми глазами и смешным хохолком седоватых волос.

— Чего тебе?

— Здорово дневали, дядя...

— Слава богу, племяш, — насмешливо отозвался старик, с любопытством разглядывая незнакомого парня-оборванца. — Чтой-то я не угадываю вашего степенства. Вы, случайно, не коробейничек? А?.. — Старик лукаво взглянул на травяной мешок.

— Нет, я работник... — кротко ответил Афонька, не замечая насмешки. — Шукаю вот доброго хозяина, — может, кто на поденку наймет.

— Э-э, парень, не туда стучишь. У Никиты Сазонова работа, конечно, есть, да не про вашу честь...

— Вы, стало быть, дядя Никита Сазонов? — вдруг обрадовался парень. — А я — Афонька Чумаков... Может, помните?..

— Как ты сказал? Чумаков? — удивился старик, торопливо протирая глаза тыльной стороной ладони. — Не может быть!.. Разве сынок Терентия?

— Он самый.

— Вот это здорово!.. — Никита проворно, по-молодому, крутнулся на месте, крикнул в приоткрытую дверь хаты: — Марфа! Поди-ка сюда! Ты полюбуйся, старая, кто к нам пожаловал... Сынок Терентия — Афоня! Какой богатырь стал!..

В дверях показалась статная, на голову выше Никиты, пожилая женщина. На крупном лице ее светилась приветливая, добродушная улыбка. За ее подол держались две девочки лет шести и восьми.

— За сколько лет, за сколько зим... Нежданно-негаданно... — тягуче запела она и с чисто бабьим любопытством стала рассматривать смущенного парня. — Жених! Прямо хоть сватов посылай к любой девке-невесте — не откажет...

— О, понесла!.. Не успел человек порог переступить, а она уже в свахи целится, — усмехнулся Никита.

— Да и правда, что же это мы у порога гостя держим, — спохватилась Марфа. — Проходи, сынок, проходи...

В семье Никиты Сазонова парень прожил несколько дней, подыскивая себе работу. Но в хуторе только один хозяин, Василий Фирсов, нуждался в сезонном работнике. Однако именно к нему Никита Иванович и не советовал идти.

— Хоть Васька Фирсов и наш земляк, вместе тут селились, но недобрый он человек. Злодей!.. Он был когда-то дружком моим и кумом доводится, да нехорошие о нем слухи ходят... Разбогател, говорят, нечестным путем...

— Эх, Никитушка, кто же честно богатеет? — вмешалась Марфа Даниловна. — Зря ты отговариваешь парня. Нет слов, Васька не ангел, зато кума Алена — добрая баба и моя крестница Настя — славная девка.

— Злодей, говорю! — не соглашался старик. — А Терентия, царство ему небесное, кто чуть не загубил, за малым в могилу не свел? Он! Васька!.. Подбил народ, и расправу учинили после черной бури. Колом орудовал... А ты к нему в работники лезешь...

Как Никита Иванович ни настаивал на своем, но Афанасию надо было где-то зарабатывать на кусок хлеба. И он пошел к Фирсовым.

ГЛАВА II

За хутором легкая пороша тонким слоем прикрывала след зимней дороги. Кони рвали копытами мчавшуюся назад белую гладь. Шурша, повизгивали полозья. В руках Афанасия дрожали натянутые вожжи.

Откинувшись на спинку саней, пристав лениво выспрашивал:

— Сколько, ты сказал, до экономии Букреева?

— Верст пять будет. Вон за тем бугром.

— А ты бывал там?

— Приходилось не раз... Да наши хуторяне на поденку туда ходят... Мы? Нет, у нас и своей работы невпроворот.

— Ты, собственно, как доводишься Василию Антоновичу? Сын?

— Никак нет. Я — ихний работник.

— Работник?.. Гм-м... Не думал... — пробормотал пристав, сонливо рассматривая сквозь щели припухших век парня, сутуло сидевшего впереди. Повернувшись боком к ветру и окунув в воротник шинели усы и побагровевший нос, он устало умолк.

Перед глазами медленно плыла белая степь. Вдали угрюмо горбился могильный курган. Пристав закрыл глаза. Стоило ли глядеть на эту до тошноты скучную, пустынную степь, если и без того было пакостно на душе... Собственно

говоря, серьезных причин для дурного настроения у него не было. Мог же он, в конце концов, позволить себе некоторую вольность, позабавиться с этой степной красавицей... Да, началось-то с шутки, забавной игры, а кончилось черт знает чем — сватовством!.. И все это случилось как-то несуразно и так внезапно, что он до сих пор не мог прийти в себя, понять и оценить свой, безусловно, легкомысленный поступок. Правда, жизнь вдовствующего холостяка ему надоела, но ведь сейчас, в такое тревожное время, он послан из Новочеркасска не для женитьбы...

В прошлое воскресенье в Новочеркасске было созвано войсковым наказным атаманом экстренное совещание всех чинов администрации Ростова и представителей Владикавказской железной дороги.

Пристав прибыл туда с небольшим опозданием. Молодой щеголеватый сотник — дежурный адъютант, не дав даже расчесать в приемной пушистые, с проседью, усы, торопливо провел его по мягкому ковру-дорожке в зал заседаний. Здесь уже все были в сборе. Пристав, пригнув голову, незаметно занял свободное кресло в заднем ряду.

На председательском месте восседал сам наказной атаман, Константин Клавдиевич Максимович. На его узких, по-старчески сутулых плечах мешковато висел генеральский мундир, густо обвешанный многочисленными орденами и медалями.

Пристав, взглянув на чопорного атамана, подался всем телом вперед и почтительно замер в ожидании.

Заседание еще не начиналось, и атаман безмолвно сидел за столом, положив узловатые кулаки на бархатную скатерть. И хотя его сухое бритое лицо с небольшими, в стрелку, усами и узкой, коротко подстриженной седоватой бородкой выражало спокойствие и уверенность, под опухшими глазами видны были синие сумки отеков — следы бессонных ночей и тревог.

— Господа, сегодня я получил довольно подробную информацию о ростовских событиях, — глухо заговорил атаман, тяжело опираясь на стол. — То, что происходит в Ростове, вызывает серьезную тревогу. Вам известно, что к забастовавшим железнодорожникам присоединились мастеровые и разный сброд со всего города. Бросили работу, вышли на улицы. За городом, в балках, стали устраивать многотысячные сборища, где главари-бунтовщики выступают с возмутительными речами и читают преступные прокламации. Угрожают даже незыблемости престола...

На дряблых, до глянца выбритых щеках атамана высту-

пили багровые пятна. С трудом потушив раздражение, он с притворной любезностью обратился к сидевшему в первом ряду управляющему Владикавказской железной дорогой Иноземцеву:

— Милостивый государь, как известно, весь этот сыр-бор загорелся у вас, в мастерских. Что вы намерены предпринять?..

Иноземцев степенно поднялся из кресла, легонько тронул пухлым пальцем пенсне, не спеша достал из кожаной папки небольшой листок и брезгливо отстранил от себя.

— Ваше высокопревосходительство, господа! Чтобы не случилось того, что пророчат социал-демократы Донского комитета вот в этой прокламации, — Иноземцев потряс листком над лысеющей головой, — нам надо безотлагательно положить конец затянувшейся стачке. — Повернувшись к атаману, он изобразил на холеном лице горькую усмешку: — К сожалению, ваше высокопревосходительство, сыр-бор, как вы изволили выразиться, действительно загорелся у нас. Однако сейчас полыхает уже весь город. Но ни господин полицмейстер Колпиков, ни полковник жандармского управления Артемьев, ни другие господа, ответственные за спокойствие в городе, не смогли до сих пор его погасить...

— Милостивый государь, я прошу не касаться чинов администрации! Это не в вашей компетенции...—раздраженно предупредил атаман, густо наливаясь багровой краской. Старательно пригладив вздрагивающей рукой и без того безукоризненно причесанные на косой пробор жидкие волосы, сдержанно добавил: — Повторяю, доложите нам, что лично вы намерены предпринять?

Управляющий, словно не заметив раздражения атамана, спокойно ответил:

— Я вынужден принять ряд требований стачечников и удовлетворить их, дабы все-таки потушить пожар... Это лихорадит всю нашу дорогу.

— Позвольте, о каких требованиях вы толкуете?.. Что хотите удовлетворить? — насторожился Максимович.

— Речь идет о некоторых, как говорят, экономических требованиях, — также спокойно начал объяснять управляющий. — Мы должны пойти на уступки, иначе эта стачка превратится в политическую забастовку, а может быть, и в вооруженный бунт!.. Да-да!.. Нам надо прямо смотреть правде в глаза... Об этом сами социалисты открыто заявляют вот в этих прокламациях... Прошу вашего внимания... — Иноземцев приблизил к глазам листок и, поправив на толстой переносице пенсне, стал читать: — «...Рабочие Влади-

кавказских мастерских бросили работу и выставили свои требования. В них нет ничего политического, но сам факт такой крупной стачки своим могучим напором рвет старые, заржавленные, средневековые цепи самодержавия...»

Управляющий остановился, передохнул и мельком взглянул на атамана. Тот, немо раскрыв рот, силился побороть удушье и прервать эту довольно-таки странную, даже возмутительную выходку управляющего.

— Нет, позвольте, Константин Клавдиевич, дайте мне закончить мысль, — предупредил Иноземцев. — Если, говорю, мы не пойдем на уступки, то... — Управляющий снова поднес листок к глазам: — «...те же рабочие стройной тысячной толпой пройдут под красным знаменем социал-демократии с громким криком: «Долой самодержавие! Да здравствует свобода!» — пройдут по улицам Ростова, которые еще никогда не слышали вольных криков свободы...»

— Довольно!.. Хватит!.. — Атаман стукнул сухим кулаком по столу, взволнованно поднялся с места. — Я не позволю проповедовать здесь анархию!..

— Я не проповедую, — обиделся управляющий, — а заявляю, что если мы не сделаем уступок и не удовлетворим их требования, за исключением, конечно, девятичасового рабочего дня и отмены штрафов (я на это не пойду), то нам грозит как раз та анархия, о которой пишут социалисты...

— Помилуйте, господин Иноземцев! Вы своими уступками будете развращать мастеровых! — возмущенно выкрикнул кто-то с места.

Его поддержал другой:

— Совершенно верно! Сегодня удовлетворите их экономические требования, а завтра они захотят свободы, анархии и всего другого, о чем вы так любезно соизволили здесь прочитать...

Отовсюду послышались одобрительные возгласы

Атаман поднял руку, строго посмотрел в сторону говоривших.

Все утихли.

— Никаких уступок! — решительно заявил атаман, хлопнув ладонью по столу. Обращаясь к Иноземцеву, сдержанно стал объяснять: — Вы, милостивый государь, изволите лицезреть на все это с высоты только своей колокольни. Допустим, вы удовлетворите их требования. А что станут делать рабочие и мастеровые других заводов и фабрик города, — скажем, «Аксая», Пастухова, Асмолова, Дурникова и прочих?.. Они не успокоятся и будут бунтовать до тех пор, пока не получат того же...

— Но я, ваше высокопревосходительство, не вижу другого выхода, — возразил управляющий дорогой. — Что вы мне предложите?

Атаман не стал отвечать на этот вопрос. Его всерьез раздражало независимое поведение Иноземцева, и председательствующий решил положить конец обмену мнениями на этом совещании.

— Господин полицмейстер здесь?

— Так точно! Я слушаю вас! — поспешно отозвался Колпиков, вытянувшись по стойке «смирно».

— Извольте сегодня же издать обязательное постановление, — начал атаман, — о немедленном прекращении стачки, о воспрещении всех сходок и сборищ на улицах и окраинах Ростова. Зачинщиков и ораторов арестовывать! Полиция должна действовать более решительно и смело!..

Максимович на минуту умолк и, меняя тон, обратился к сидевшему поблизости окружному атаману Черкасского округа генерал-майору Берладину:

— Иван Андреевич, прошу незамедлительно отправить в Ростов дополнительно две команды казаков из Новочеркасска и Каменска... Кроме того, призвать из ближайших станиц казаков второй очереди и форсированным маршем направить в Ростовский гарнизон.

Обращаясь уже ко всем присутствующим, атаман разъяснил:

— Должны все знать, что против бунтовщиков, внутренних врагов отечества, войска будут действовать без всяких церемоний оружием!..

На другой день в Аксайской, Старочеркасской, Ольгинской, Манычской, Багаевской и других станицах, расположенных в низовьях Дона, ударил набат, созывая на сход казаков.

В станицы, находившиеся в Сальской степи, выехал с приказом атамана окружной военный пристав. Все, что надо было сделать, он провел с редкостным служебным рвением. Сформированные им команды из казаков второй очереди поспешно отправлены на Ростов. Сам пристав задержался в станице Егорлыкской, рассчитывая нагнать казаков в пути. Здесь, в доме станичного атамана, он случайно встретил своего старого приятеля, местного помещика-коннозаводчика Прокопия Букреева. Встречу ознаменовали по старой памяти кутежом.

В тот же день охмелевшего пристава Букреев повез к се-

бе в экономию, пообещав доставить оттуда на своих лучших лошадях в Ростов. По пути в экономию, проезжая хутор Степной Кут, завернули ко двору знакомого Букреева — богатому мужику, с которым он имел выгодные сделки, Василию Антоновичу Фирсову. Не слезая с саней, Букреев постучал кнутовищем в тесовые ворота.

Из дома вышел чернобородый сухой и сутулый, но широкоплечий старик. Взглянув на пристава, оторопело остановился на полдороге.

Букреев, увидев смущение старика, расхохотался:

— Ну, здравствуй, старина! Чего это у тебя глаза на лоб полезли? Думаешь, по твою душу?.. Хо-хо!.. Нет, твои грехи не подсудны... Ты, мил человек, вынеси-ка нам напиться, а то в горле пересохло, мочи нет дотянуть до дому.

Василий Антонович молча выслушал шутку и просьбу Букреева, постоял немного, что-то соображая, затем, ни слова не говоря, решительно шагнул вперед, распахнул ворота. Взял лошадей под уздцы, завел во двор. Кивком головы подозвал к себе высокого парня в овчинном полушубке и торопливо передал ему поводья лошадей. Не слушая возражений Букреева, провел дорогих гостей в дом. По короткому, но выразительному жесту хозяина немедленно был накрыт стол. Гости, однако, торопились и нехотя присели у стола, не раздеваясь. Чтобы не обидеть хозяина, выпили по чарке, закусили. Посидели минут пять и начали было собираться ехать дальше, но внезапно появившаяся в горнице хозяйская дочь Настя нарушила это намерение приятелей...

Бегала Настя к соседям за свежей закваской и немного задержалась. Не ожидая встретить дома чужих, она вихрем ворвалась в прихожую и с разбега хлопнулась на хрустнувшую лавку. Задыхаясь от хохота (ее, видимо, что-то рассмешило на улице), она поспешно сбросила с головы шерстяную шаль, почти кинула на подоконник черепок с закваской и снова вскочила на ноги. На обожженных легким морозцем упругих щеках ярко цвел девичий румянец. И хотя в ее озорных глазах, больших и синих, жарко горел огонек веселья, кончики ресниц еще хранили серебристый налет инея. Поправляя на ходу смуглыми, порозовевшими руками упавшие на плечи тяжелые косы, Настя торопливо пошла к открытой двери горницы. И когда уже перешагнула порог — увидела гостей. От неожиданности она так и окаменела с поднятыми к голове руками и застывшей улыбкой на вишнево-красных губах.

— Тю, скаженная, как с цепи сорвалась!.. Хоть бы людей усовестилась! — с напускной строгостью прикрикнул отец.

Охмелевший пристав перестал жевать, молча отодвинул услужливо налитый хозяином стакан водки и мутными глазами уставился на Настю. По его лицу расползлись в улыбке крупные морщины.

— О, какая красавица!..

На Настю словно кто варом плеснул. Ахнув, она закрыла ладонями лицо, выскочила на кухню.

Развеселившийся пристав пожелал видеть дочь хозяина за столом. Василий Антонович с трудом уломал Настю и, переодетую во все праздничное, усадил рядом с гостем.

Угощение затянулось. Пристав, окончательно опьяневший, забыл все, наотрез отказался ехать дальше. Ему понравился гостеприимный хозяин, и он изъявил желание остаться здесь до вечера. Василий Антонович, польщенный вниманием столь знатного гостя, обрадовался этому и сейчас же послал за новой бутылкой водки.

Букреев, взглянув на смущенную, сидевшую, как на репьях, Настю, перевел взгляд на пристава, учтиво изогнувшегося и тихо что-то ворковавшего на ухо девушке. Разгадав несложные замыслы вдовца, Букреев плутовато улыбнулся, покачал головой, однако расстраивать планы приятеля не стал, уехал домой один...

Дальше все произошло несуразно и быстро. Вначале пристав пытался покорить девушку заученными приемами видавшего виды волокиты, но неожиданно получил решительный отпор. Пьяный азарт и задетое мужское самолюбие толкнули на необдуманные поступки. Пристав решил действовать через отца строптивой девушки. «Надо сделать сейчас предложение, заручиться согласием отца, а там видно будет...» Эта хмельная мысль так пришлась ему по душе, что он немедленно приступил к выполнению задуманного.

Уединившись с хозяином в соседней комнате, пристав с легкой усмешкой начал:

— Вот такие-то бывают, старина, в жизни злые шутки... Живешь — маешься, ищешь свою судьбу и сном-духом не ведаешь, где она запрятана. А нынче глядь — она под боком оказалась. И теперь от нее ни уйти, ни уехать...

Василий Антонович насторожился.

— У тебя, старина, есть дочь-невеста, — продолжал пристав, — а мне не век бобылем маяться. Вот и давай породнимся, а?.. Ну что скажешь на это?

Сердце старика дрогнуло, в горле перехватило дыхание. Овладев собою, он поднял помутневшие от счастья глаза на пьяно улыбавшегося пристава и сейчас же помрачнел. Нет,

что-то не то... Как-то несерьезно у этого скороспелого жениха получается.

— Ну что, старина, молчишь?.. Или от радости язык проглотил? — Пристав захохотал, приятельски хлопнул по плечу хозяина. — Придется, говорю, мне с тобою породниться... Ведь согласен же, по глазам вижу... Ха-ха!.. Ох, старая бестия, выдержку делаешь, цену набиваешь... Ха-ха-ха!..

Василий Антонович окончательно убедился в легкомыслии пьяного гостя, принял его слова за насмешку — обиделся.

— Ну, знаете ли, ваше благородие, Настя моя — не гулящая девка, а я не голодранец какой, чтобы надо мной всякие смешки строить... От ворот есть и поворот... Прикажете, ваше благородие, коней подавать?..

— Ого, вот как?!

Пристав в изумлении уставился на хозяина. Не ожидая такого оборота дела, он растерялся и несвязно стал убеждать Василия Антоновича в своем искреннем намерении. И когда пристав, перекрестившись на иконы, клятвенно заверил старика, тот наконец поверил в серьезность сватовства, обрадовался, но виду по-прежнему не показал. Окончательного ответа не дал: следует подумать, посоветоваться...

Пристав не стал настаивать на своем и согласился завтра утром заехать за ответом.

В прихожую был вызван Афонька. Его встретил одетый во все праздничное, пахнувший нафталином и водкой Василий Антонович.

— Афанасий, запряги коней в легкие сани и отвези их высокоблагородию к Букреевым. — Хозяин, улыбаясь, подал Афоньке наполненный до краев граненый стакан водки и кусок вареной курятины: — На вот, погрейся на дорожку...

Пожелав хозяину здоровья, Афанасий стоя выпил, поднес ко рту курятину и тут увидел в полуоткрытую дверь горницы Настю. Нарядная, она сидела за столом на самом краю стула и испуганно отстранялась от пристава.

Афонька смутился, удивленно взглянул на сияющего Василия Антоновича и стремглав выскочил во двор. С невероятной быстротой были поданы к крыльцу сани...

Перед отъездом пристав хотел на прощание поцеловать Настю, но та выкрутилась из объятий, выскочила в соседнюю комнату и разрыдалась. Провожать не вышла — не помогли ни уговоры, ни брань отца. Это, видимо, обидело пристава. Садясь в сани, он не подал руки старику, только

небрежно кивнул головой через плечо. Ему было явно не по себе...

...И сейчас, мягко покачиваясь в санях, пристав пытался утешить себя: «Что тут особенного?.. Жениться так жениться... Девушка уж очень хороша! Да и старик, кажется, с тугой мошной... А на слезы нечего обращать внимания. Все девки ревут...»

Не открывая глаз, он улыбнулся каким-то своим мыслям, игриво бросил:

— Как ты, молодец, считаешь: дочка твоего хозяина — хороша собою, а?..

Молчание.

Пристав приоткрыл глаза, поднял руку и, толкнув согнутым пальцем в широкую спину Афанасия, повторил вопрос.

— Настя?.. Славная девка... — глухо ответил парень, не повернувшись к приставу.

Расправив вожжи, он свесился набок и легонько тронул кнутом танцевавшего в упряжке гнедого жеребчика. Тот, скосив назад фиолетовый глаз и екая селезенкой, перешел на игривый галоп. Сани качнулись, рывками пошли по обочине дороги, с сухим треском приминая засыпанные снегом кусты придорожной полыни.

— Вот и я так думаю. — Пристав пьяно захохотал в воротник, по-кошачьи жмуря глаза. Забывшись, он стал рассуждать вслух.

Афанасий, придерживая рвавшихся лошадей, настороженно прислушивался к пьяному бормотанию седока. И когда тот, путаясь в словах, высказал наконец совершенно определенно свое намерение — жениться на Насте, Афанасий резко повернулся к приставу и, с трудом раздирая побелевшие губы в вымученной улыбке, спросил:

— Ваше благородие, а она согласная?.. Полюбила, говорю, Настя вас, а?..

— Что такое?.. Да, собственно, это не важно... — отозвался пристав. — Важно, что она мне чертовски нравится...

— Значит, у вас получается, как у нашего хуторского Пашки-дурачка. Он как заприметит какую-нибудь красивую девку, так и начинает свататься. У него спрашивают: «А ты ее любишь?» «Люблю!» — говорит. «А она тебя?» — «И я ее!»

— Что-о?! Как? Как ты сказал?! — изумился пристав. — С кем ты, болван, сравниваешь?!

— Я говорю, что Настю вы дуриком не возьмете!.. — холодея, рубанул Афонька. — Хоть вы и благородие, а она на вас... Не пойдет за вас!.. Потому теперь криком кричит...

Да ежели хотите знать, то Настя, окромя меня, ни за кого не пойдет!.. Понятно?! Не пойдет!.. И нечего к ней приставать, как репей-липучка!

Пристав остолбенел. Хрипло выдохнул:

— Как ты смеешь!.. Да я... Молчать!.. Чего останавливаешься? Пошел! Гони, тебе говорят! Ну?!

Не размахиваясь, он с привычной ловкостью сунул в затылок Афоньке тяжелый, как гиря, кулак.

Афанасий решительно натянул вожжи, соскочил с саней:

— Нет, ваше благородие, никуда теперь я не погоню... и драться не дам!.. Слезайте! Тут недалеко... Сами дойдете...

Афанасий подхватил в охапку пьяного пристава и, легко подняв, посадил в придорожный сугроб. Вскочил в сани, с силой дернул вожжи. Приседая на задние ноги, кони рванулись вперед. Из-под копыт брызнула иглистая пыль снега...

Все это произошло так быстро, что пристав даже не понял, что с ним случилось. Пока он, барахтаясь, выполз из рыхлого сугроба и, пошатываясь, поднялся на ноги, никого уже не было. Только где-то вдали, за покатой горбиной бугра, клубясь, стремительно удалялось белое облачко снежной пыли.

ГЛАВА III

— Настя, а я твоего жениха в снег посадил.

Настя, придерживая в переднике кизяки, обернулась, удивленно глянула заплаканными глазами.

На пороге конюшни, закрывая широкими плечами почти весь черный проем двери, стоял Афонька.

— Я, говорю, твоего жениха за хутором в сугроб посадил.

— Что-о?.. Жениха посадил?.. Как посадил?.. — оживилась Настя.

— Да как! Очень просто. Сгреб его в охапку и вывалил из саней в снег... — улыбнулся парень и, как бы оправдываясь, угрюмо добавил: — Я не нанимался к нему в работники, чтобы все от него терпеть.

Афанасий глядел куда-то через голову Насти, за околицу, в белую пустынную степь, где с безудержной силой разбойничал ветер: бешено кружил порошу, выдирал из сухих зарослей полыни и бурьяна мелкое крошево старого снега, обнажая на вершине гребня и отлогих скатах бугра темно-бурые клочки смерзшейся земли. Мрачной, мертвенной теменью вечера крылась вьюжная степь.

На душе Афанасия копилась тоска.

Настя с восхищением и напускной строгостью глядела на смущенного парня. Не вытерпев, тихо засмеялась.

«Насмешку строит. Ну и нехай, а я сейчас все открою»,— решил Афонька.

— Настя, а я ему сказал, что ты, окромя меня, ни за кого не пойдешь...

Настя вдруг перестала смеяться и, уронив кизяки, шагнула к Афоньке.

— Ты что сказал? — жарко зашептала она, почти вплотную приблизившись к оробевшему парню. — Ну-ка повтори... Откуда ты взял, что я за тебя пойду?..

— Сам придумал, — упавшим голосом отозвался Афанасий, беспомощно опустив отяжелевшие руки.

В конюшне послышались короткое ржание и лязг зубов. По деревянному настилу пола беспокойно загремели копыта.

Афанасий пошевелил плечами, скосил глаза, но с места не тронулся.

— Эх, ты!.. «Сам придумал»! — с нескрываемой насмешкой прошептала Настя.— «Придумал»! А может, это правда!.. Ты-то за меня сватался?.. Я, может, и в самом деле за такого... смелого жениха, как ты, хоть сейчас бы пошла...

Афонька побагровел:

— Знаем мы вас... хозяйских дочек... Вам только бы посмеяться над нашим братом...

— Эх ты, куриная слепота! Много ты знаешь, да мало понимаешь... Ежели хочешь знать, то я...

В доме хлопнула дверь, кто-то вышел на крыльцо.

— Настя!.. А Настя!.. — послышался окрик матери. — Неси скорей кизяки! В печке уже перетлело!..

— Я сейчас! — отозвалась Настя и, недосказав Афоньке начатое, бросилась подбирать рассыпанные в снегу кизяки.

Откинув в сторону вожжи, Афанасий нагнулся и стал помогать Насте.

— Держи передник... Я соберу...

— Не надо, не надо... Я сама, — бормотала Настя, смущенно отталкивая Афанасия.

— Настя! Да что же это такое?! Где ты провалилась?.. — снова закричала с крыльца старуха. — Только за смертью посылать! Ступай, тебе говорят, бегом в хату!..

— Да иду, чего кричите!

Настя заторопилась. Она уже побежала было в дом, но вдруг приостановилась, проворно обернулась и с тревогой в голосе заговорила:

— Афоня, подойди сюда!.. А как же ты? Чего с тобою будет?.. Ведь он скоро вернется и, наверное, арестует тебя... Ты хоть схоронись куда-нибудь, а?..

— Не-ет, девка, хорониться я не буду... Не приучен к заячьей лихости. Хочу напоследок посмотреть на ваш сговор и свадьбу, а потом айда на все четыре стороны... Но ежели он меня еще раз хоть пальцем тронет — сдачи получит. Так и знай...

У Насти сжалось сердце. Этот кроткий и застенчивый парень бывает иногда непреклонным.

— Чего ты надумал, Афоня? — зашептала Настя. — О какой свадьбе ты толкуешь?.. Вот крест святой — не пойду я за него. — Настя истово перекрестилась.

Давно уже Настя испытывала какое-то волнующее беспокойство при встречах с Афонькой, но разобраться в этих чувствах и понять их она не могла, да и не хотела. Ей просто было приятно ежедневно встречаться с ним и наблюдать, как он беспомощно опускал свои большие и сильные руки, краснел и терялся, когда она в ответ на его робкий, стерегущий взгляд беспричинно хохотала. Иногда мать замечала все это, принимала поведение Насти за озорство, а смущение Афанасия за ребяческую стеснительность, строго приказывала:

— Не мордуй парня! Чего зубоскалишь?.. Видишь, какой совестливый парень, а ты озоруешь.

Старухе и в голову не приходило, чтобы между ее дочерью и работником могли возникнуть серьезные чувства. Да, собственно, об этом не думал и сам Афанасий. Признание же приставу, что Настя, кроме него, Афоньки, ни за кого не пойдет замуж, невольно вырвалось у него в минуту отчаяния и гнева.

Теперь же, когда Настя испугалась за судьбу Афанасия и начала просить его куда-нибудь спрятаться от пристава, он искренне удивился:

— Вон как?.. Стало быть, ты меня вроде сурьезно жалеешь? Никак, люб тебе, что ли? А?..

— Выходит, так, — доверчиво шепнула Настя и, покраснев, отвернулась.

— И я тоже... — глухо буркнул Афонька, старательно разгребая носком сапога снег.

— Вот мы и квиты! — засмеялась Настя, скрывая смущение. — Только ты, Афоня, об этом проклятом женихе — молчок, никому ни слова, а то ребята засмеют на улице.

Но, как говорится, шила в мешке не утаишь. Весть о сватовстве окружного военного пристава за Настю Фирсову

в тот же день облетела хутор. У старого колодца, где брал воду почти весь хутор, наперебой засудачили жадные до новостей кумушки. Сдержанные и более рассудительные хуторяне, не веря бабьим пересудам, отмахивались, осуждающе бубнили:

— И чего зря начали языками трепать! Сорока, что ли, вам на хвосте принесла?.. Где это видано, чтобы их высокое благородие роднился с простым мужиком.

— Да какой же он простой?.. На глазах богатеет. Работника круглый год стал держать. Да и девка — раскрасавица.

— Ну и что же?.. А до благородиев у них нос не дорос...

Перед вечером Василий Антонович вышел со двора на улицу. Первый же повстречавшийся хуторянин-сосед поздравил его с будущим зятем. И потом, словно по уговору, кто бы ни встречался с Василием Антоновичем, норовил первым долгом поздравить его с почетным женихом. Старик, с трудом скрывая ликование, удивлялся:

— Откуда вы взяли?..

— Да как же, весь хутор об этом брешет.

— Хо! Вот же народец! — с притворной досадой восклицал старик. — Не успел еще чихнуть, а они уже: «Будь здоров!» Ничего я не знаю, первый раз слышу... Где уж нам до таких зятьков... Дай бог, хоть бы не за нищего девку выдать... — лукавил Василий Антонович.

И все же на сердце у него было не спокойно. Его тревожила несговорчивость Насти. Рыдая, она решительно заявила, что замуж за пристава не пойдет. Старик было прикрикнул на нее, но Настя подняла такой вой, что только затыкай уши — да вон из горницы. Так и недоговорились ни до чего. Окончательное решение отложили на вечер. Но и вечер не дал ничего утешительного старику. Жена, Алена Петровна, всхлипывая, понесла вдруг какую-то околесицу о Настиной молодости. Василий Антонович так и не добился от нее ни «да», ни «нет». Настя же, ревмя ревя, твердила:

— Не пойду я за него! Хоть убейте — не пойду!..

— Да ты не кричи, дуреха, и зазря слезу не лей, — настойчиво внушал старик. — Лучше хорошенько подумай своим глупым умом, а потом и ответ держи.

Он не стал добиваться от нее немедленного ответа. «Нехай ночку поревет в подушку, а наутро мы с нею дотолкуемся. От судьбы своей Настя никуда не уйдет. Не нынче, так завтра, а все равно покорится».

В доме Букреевых необычное оживление. Прислуга сбилась с ног. В столовой — окрики, приглушенный гвалт голосов, звон посуды, ножей, вилок...

Прокопий провел гостя в залу. Вслед за ними, бесшумно скользя по ворсистому ковру, прибежал подвижный и пырткий, как молодой суслик, лакей. Схватив стул, он проворно вскочил на него и, рассыпая мелкий хрустальный звон, легонько приспустил массивную, меркло блестевшую в сумерках вечера люстру, зажег свечи.

Букреев, жмурясь от яркого света, предложил гостю диван, а сам расслабленно опустился в мягкое, с высокой спинкой, кресло.

Разговор возобновился, и Прокопий снова, не выдержав, захохотал. Пристав обиделся:

— Я, собственно, не понимаю, что тебе смешно?..

— Хо-хо!.. Ты меня извини, Никанор Петрович, но я, убей меня бог, не могу себе представить, как это тебя, окружного военного пристава и к тому же почтенного жениха, мог выкинуть из саней простой деревенский парень, а?.. Ха-ха!.. Вот это соперник!

— Брось, Прокопий, зубоскалить!.. Ты лучше изволь немедленно вызвать сюда полицейского или сидельца. Я прикажу арестовать этого мерзавца!.. И... выпороть его!.. Высечь при всем хуторе, чтобы другим неповадно было!..

— Слушай, Ника! — перебил Букреев пристава, приятельски положив на его плечо волосатую руку. — Я, как старый друг, советую тебе не делать этого. Крутая расправа может всполошить весь хутор, а то и всю округу. Я считаю: в настоящее время вообще вредны такие крайности.

— Это почему же?..

— А вот почему...

— Прошу прощения, милостивые государи. Я не помешал? — В дверях показалась тучная коротконогая фигура молодцеватого, лет пятидесяти пяти, мужчины — Дмитрия Букреева, старшего брата Прокопия. Он выжидательно остановился у порога, привычно разглаживая указательным пальцем холеные гусарские усы с седыми подусниками. — Может быть, у вас тайные служебные разговоры?

— Нет-нет, проходи, Дмитрий. Это полезно послушать и тебе.

— Почему же не послушать умных людей? Я всегда готов, — пряча под усами усмешку, вежливо поклонился Дмитрий. — Но я, Прокопий, заранее знаю, о чем ты будешь раз-

глагольствовать, и предупреждаю, могу с тобой поспорить.— Дмитрий заговорщически подмигнул приставу.

— Ну что ж, пожалуйста, я готов принять вызов. Один мудрец сказал: «В споре рождается истина». — Прокопий улыбнулся. Он никогда не считал Дмитрия своим серьезным оппонентом.

Нескладно сложилась жизнь старшего Букреева. Воспитанный на своеобразных традициях гвардейского полка, он долго вел разгульный образ жизни и в молодости не позаботился обзавестись семьей. К сорока годам успел промотать почти все свое состояние, полученное в наследство. Женившись наконец на молодой и богатой, но распутной вдовствующей барыньке, он не обрел семейного счастья. На втором году супружества его жена, бросив все, с любовником, надменным шляхтичем, бежала в Варшаву.

Одуревший от стыда и горя, Дмитрий стал беспросыпно пить, устраивал шумные оргии, бесшабашно буянил в публичных домах. Запутавшись в каком-то грязном деле с казенными деньгами, он с трудом отвертелся от военного суда, вышел в отставку и прибыл в имение к младшему брату — помещику Прокопию. К этому времени тот перестроил свое хозяйство, занялся коневодством и разведением племенного рогатого скота. Его экономия стала на глазах расти и давать солидные доходы. Вскоре о нем заговорили, как о конкуренте, крупнейшие коннозаводчики Сальской степи. Дмитрий под воздействием Прокопия вложил остаток своего наследства в прибыльное хозяйство брата и в качестве младшего партнера начал принимать участие в букреевском деле. Полновластным хозяином по-прежнему оставался Прокопий, однако между ними часто возникали горячие и бурные споры. И сейчас, предвидя в Дмитрии страстного оппонента, Прокопий толкнул стул, с улыбкой предложил:

— Садись, занимай позицию для баталии. — И к приставу: — Так вот, любезный Никанор Петрович, я утверждаю, что репрессии в настоящий момент вредны. Да-да, вредны!.. Мы, передовая часть России, иногда бываем слепы в своих действиях и слишком прямолинейно используем данную нам богом власть, не учитывая того, что эпоха грубого рабовладельчества давно миновала. Не секрет, что мастеровой люд да и мужики нашей матушки России терпят сейчас крайнюю нужду, а многие из них доведены до отчаяния. И не случайно на тихом нашем Дону снова запахло пугачевщиной. Вчера, вот ты говоришь, взбунтовались в Ростове, а завтра — жди у нас, в Сальской степи... На днях, я вам по секрету доложу, почтенный Никанор Петрович, у моего ува-

жаемого соседа и собрата Ивана Ивановича Королькова сожгли девять скирдов сена и угнали в калмыцкие степи два косяка лошадей...

— Кто?!

— Как — кто? Его же работники... Почему? Видишь ли, многие мужики-переселенцы разоряются, бросают свои опустевшие дворы и идут на заработки к нашему брату, коннозаводчику. И там, где с ними круто обращаются, они пошаливают. Позавчера, например, у Луки Пишванова кто-то ночью ахнул из дробовика по окнам.

— Вот видишь, Прокопий, и ты после всего этого советуешь мне с бунтовщиками цацкаться! — возмутился пристав. — Нет, не дождутся они от меня милости!.. Карать! Карать их, сволочей!..

— Правильно, Никанор Петрович! Правильно!.. Карать, как говорят, огнем и мечом! — горячо поддержал пристава Дмитрий Букреев, воинственно потрясая над головой кулаком. — Дай, дорогой, от всей души пожать твою руку...

— Вы, господа, допускаете грубейшую ошибку, — спокойно возразил Прокопий, насмешливо взглянув на возбужденных приятелей.

— Вот-вот, сейчас ты снова начнешь говорить о «крайностях царизма», проповедовать дурацкие идеи зубатовского братства и прочее, прочее... Ох, Прокопий, если бы ты знал, как осточертело мне каждодневно выслушивать твое словоблудство...

— Да, братец мой, я буду все о том же... — не меняя положения, с подчеркнутым спокойствием подтвердил Прокопий, чуть презрительно щуря умные, насмешливые глаза.— Я искренне верю в дальновидность господина Зубатова и, если хотите, в его дьявольский гений... Сейчас нужна более тонкая, гибкая и умная политика. Необходимы реформы!.. Да-да, лучше ре-фор-мы, чем революция!.. Ведь ты же сам, Никанор, говоришь, что вооруженная расправа с ростовскими мастеровыми не дает должного результата.

— Даст!.. — угрожающе заверил пристав. — Даст, говорю!..

— Но беспорядки продолжаются.

— Ну и что ж? Вот соберем войско, тогда и приведем в чувство всю эту сволочь! Мы их образумим!..

— Образумить, по-моему, сейчас надо прежде всего нашего царя-батюшку. Надо...

— Ты что говоришь, Прокопий?! — вскричал Дмитрий.

В этот момент приоткрылась дверь в соседнюю комнату, и в гостиную торопливо вошла маленькая, похожая на де-

вочку-подростка хозяйка дома, жена Прокопия, одетая в старомодное, не по сезону воздушное, платье.

— Ай-ай!.. — всплеснула она пухлыми ручками, радужно блеснув драгоценными камнями колец и золотом массивного браслета. — Опять, опять сцепились!.. Как вам, господа, не стыдно? Хотя бы гостя постеснялись, — певуче зазвенел чуть рассерженный голосок хозяйки. — Потрудитесь, друзья мои, прекратить ваш неуместный спор! — И к приставу: — Прошу извинить, Никанор Петрович, моих степных медведей. Они, знаете, в этой глуши так одичали, что уже забыли приличие и элементарную светскую учтивость...

— Аполлинария Викторовна!.. Каемся, виноваты!.. — за всех ответил Прокопий, с наигранной покорностью принимая строгое замечание жены.

Мужчины, улыбаясь, встали. Пристав, звякнув шпорами, поклонился и легонько тронул толстыми усами надушенную ручку хозяйки.

Через минуту в гостиной воцарились мир и спокойствие. Вспыхнувшие было страсти угасли. Вниманием всех завладела немолодая, но хорошо сохранившаяся хозяйка дома.

Вскоре доложили, что стол накрыт.

Аполлинария Викторовна церемонно раскланялась, пригласила:

— Прошу, милостивые государи... Я надеюсь, в нашем узком семейном кругу вы, Никанор Петрович, немного отвлечетесь от своих весьма деликатных забот... Прошу!.. — и, продолжая лукаво улыбаться, об руку с приставом вышла из гостиной.

За столом первый тост провозгласили за хозяйку дома. С каждым поднятым бокалом в компании становилось оживленнее, шумнее. Желчное озлобление пристава постепенно проходило, и все реже между ним и Прокопием возникали короткие, но жаркие споры о ростовских событиях. Незаметно общий разговор за столом приобрел легкий и веселый тон.

Улучив момент, Аполлинария Викторовна шепнула мужу:

— Копа, ты не сердись, я послала за Романом. Пусть немного побудет в порядочном обществе. А то он в своем постылом одиночестве совсем одичает.

Прокопий поморщился, как от зубной боли, скривил тонкие губы в насмешливой улыбке:

— Ох, эти мне бальзаковские барыньки! Не могут без поклонников.

— Копа, не говори глупости! Ты же знаешь: он еще

совсем мальчишка... Надо иметь чуткое материнское сердце, чтобы понять безотрадную участь изгнанника.

— Черт с ним, зови! Мне все равно...

Аполлинария Викторовна мимолетно коснулась холодными губами жесткой щеки мужа и задорно предложила тост за доброе материнское сердце и за вечную молодость женской души...

Компания уже охмелела, когда в прихожей неожиданно загремел чей-то ломкий басок:

— Ну и пурга! Поистине — «Вихри враждебные веют над нами»... Разрешите?

Все обернулись на голос. У бархатной портьеры входной двери остановился усыпанный снегом высокий, слегка сутулый молодой человек, с черной коротко подстриженной бородкой. Не опуская поднятого воротника драпового пальто и не снимая надвинутой на брови фетровой шляпы, он некоторое время ослепленно жмурился от яркого света комнаты. Наконец взглянув исподлобья на сидевших за столом, неожиданно вздрогнул и, чуть заметно бледнея, угрюмо и зло уставился на пристава.

— Ба, все те же лица! Старосветские помещики и грозный блюститель фельдфебельских порядков на вольной Донщине!.. Чем могу служить?.. — раздраженно обратился вошедший к приставу. — Ах, да!.. Вероятно, пожелали лично удостовериться в пребывании сей неблагонадежной персоны в местах не столь отдаленных? Весьма признателен за ваше внимание.

Первой притворно захохотала Аполлинария Викторовна. Она вскочила с места с живостью девочки, защебетала:

— Прошу, прошу, Роман Исаевич, к нашему шалашу!.. Ой какой вы бука! Разве можно так зло шутить?.. А вы, Никанор Петрович, не обижайтесь на нашего соседа-озорника... Знакомьтесь...

— Поднадзорный, что ли?.. — враждебно взглянул пристав на вошедшего, не подавая руки.

— Так точно! За вольнодумство нахожусь под опекой благочестивого родителя отца Исая из хутора Степной Кут... Разрешите узнать, ваше высокородие: допрос вы будете учинять здесь или прикажете выйти на кухню?

— Ну-ну, господа, довольно пикироваться! — поспешно вмешалась встревоженная хозяйка. — Раздевайтесь, Роман Исаевич, проходите к столу... — И тихо, воркующим шепотком: — Не сердитесь и не злословьте. Это я за вами посылала.

Через минуту снова весело зазвенел голосок хозяйки:

— За опоздание вам, Роман Исаевич, надлежит наказание. Извольте пригубить вот этот штрафной бокал!.. Я предлагаю, господа, выпить за спасение юной, мятущейся и нередко заблуждающейся души!

— Гм-м... Забавный тост... — насмешливо исподлобья посмотрел Роман на мрачно притихшую компанию. — Чем, интересно, вызвана эта тризна?.. Не печальной ли участью безвременно почивших душ ныне здравствующих господ, коих я имею честь лицезреть?.. За ваши усопшие к добру души, господа, я пью! Горько — но пью!..

От этого шуточно-наглого тоста все почувствовали какую-то неловкость. Развязный попович явно перехватил через край. Наступило тягостное молчанце. Дело неожиданно поправил лакей. Он выскользнул из передней и, пряча в ладони ухмылку, торопливо просеменил к приставу. Услужливо изогнувшись, вкрадчиво что-то зашептал на ухо, показывая глазами на дверь. Пристав изумленно вскинул широкие, густо сросшиеся брови, недоверчиво спросил:

— Меня?.. А кто такая?.. — Лакей виновато пожал плечами и снова что-то прошептал. Звякнув шпорами, пристав встал: — Прошу извинить, господа, я на одну минутку...

Покачиваясь, вышел на крыльцо. Резкий, холодный ветер хлестнул по лицу порошей. Ослепила непроглядная ночь. Нетвердо стоя на ногах, пристав хрипло бросил в темноту:

— Эй, кто там? Кто меня звал?!

В палисаднике зашуршали шаги, и сейчас же послышался робкий, просящий полушепот:

— Это я... я, Настя... Можно вас на минутку?..

— Настя?.. — удивился и обрадовался пристав. — Конечно можно... Почему же нельзя?

Улыбаясь, он ощупью стал спускаться с крыльца. Внизу в упор столкнулся с Настей. Качнувшись, обнял девушку за плечи, дохнув в лицо пьяным перегаром.

— Что случилось?.. Ну хорошо, хорошо... Потом расскажешь. Здесь холодно. Мы сейчас пройдем в комнату... Человек! — крикнул пристав, поворачиваясь к дому. И когда кто-то, скрипнув дверью, выскользнул на крыльцо, глухо добавил: — Проводи нас в спальню... только другим ходом...

— Нет-нет! Что вы! Мы тут!.. — испуганно запротестовала Настя, но, боясь обидеть пристава, не оттолкнула его, не сняла со своих дрожащих плеч тяжелые, властные руки. — Я к вам на минуточку...

Пришла Настя к приставу с твердым намерением: уго-

ворить его отказаться от сватовства и упросить, чтобы он ничего плохого не делал Афоньке. Насте было ясно, что отец склонен дать согласие на ее брак с приставом, а Афонька своей дерзостью и упрямством подвергал себя серьезной опасности. То и другое приводило девушку в ужас, но что делать — она не знала. Отчаявшись, Настя решила: немедленно, сегодня же ночью, так как завтра будет уже поздно, пойти к Букреевым, во что бы то ни стало найти пристава и уговорить его.

План действия созрел моментально. Накинув шерстяную шаль, она налегке выскочила из горницы. На окрик матери скороговоркой ответила уже из сеней:

— Я сейчас вернусь... Сбегаю к Ульке!..

Но к Ульке Сазоновой Настя не пошла. Замирая от страха и своего сумасбродного решения, бестолково твердя какие-то молитвы, она выскочила за хутор. В степи дико рвал и метал взбесившийся ветер. Зло сипела поземка, больно секла лицо, слепила глаза. Где-то недалеко, в Бирючьей балке, разноголосо выли голодные волки.

Теряя мужество, Настя остановилась. Нет, такое испытание, видимо, не по плечу было ей. Но как быть? Что делать? Вернуться домой и покорно ждать своей печальной участи? А что будет с Афонькой? Ведь завтра, наверное, придут за ним сидельцы, скрутят ему руки и бросят в тюрьму. О нет, не быть этому...

Презирая свое малодушие и трусость, Настя устремилась вперед...

И вот теперь, задыхаясь от усталости, она стоит перед пьяным приставом...

ГЛАВА V

На востоке, у самого горизонта, густо рдела заря. За хутором прозрачно синели дали. Во дворе, на пушистой глади снега, — свежие следы ног. У сарая, утонув почти до половины в рыхлом сугробе, стояло оцинкованное ведро, до краев наполненное парным молоком. Вокруг него медленно оседал светло-синий обруч подтаявшего снега. Под навесом сарая — взволнованный полушепот.

— Кто, я спрашиваю, так разукрасил тебя?..

Настя весело засмеялась:

— Да я же тебе говорю: он постарался — мой суженый... Была нынче ночью у него, вот он и оставил метку...

— Я сурьезно тебя спрашиваю.

— А я сурьезно отвечаю, — продолжала лукаво улыбаться Настя.

Афонька, теряя терпение, с досадой и удивлением спросил:

— Чего же ты, как дурочка, скалишься?.. Ей, стало быть, морду набили, она и рада...

— А вот и рада.

— Это почему же?

— Все потому... — Настя бережно прикрыла кончиком платка опухший глаз, насмешливо продолжала: — С этим фонарем нынче, к примеру, и коров было светло доить. А окромя того, через этот самый фонарь я теперь свободная, и... ты можешь смело сватать меня...

Этой явной насмешки Афанасий перенести не смог.

— Ну, тогда нам не об чем разговаривать... — Он легонько отстранил Настю рукой, молча вышел из-под навеса.

— Афоня, вернись... Я сейчас все расскажу.

— Ну говори.

— Да чего ты там стал? Вернись, а то батя увидит и чертей даст...

Афонька вернулся:

— Ну?

— Чего ты, дуралей, злишься? — примирительно улыбнулась Настя. — Нельзя с тобою и пошутковать, что ли?.. Так вот, слушай.

И Настя, не таясь, подробно начала рассказывать о своем ночном приключении.

Афанасий вначале слушал Настю с нарочитым безразличием, как будто проявлял больший интерес к возившимся под застрехой сарая воробьям, чем к рассказу. Но когда Настя, смущенно опустив голову, начала говорить, как пристав обнял ее и пытался затащить в дом, Афанасий, не выдержав, хрипло перебил:

— Ну а ты что ему?..

— Да ты слушай же... Когда он обнял меня и хотел силком потянуть в дом, я зашумела, выкрутилась и побегла со двора. Тут спохватилась: зачем, думаю, я сюда приперлась?.. Неужто все пропало? Нет, черта с два! Я ему сейчас покажу... Верть — и назад. Вижу, что с ним по-хорошему не дотолкуешься, и пошла на обманки. Прикрыла я одним краем шали его плечо, прижалась к локтю и тихо говорю ему: «Как вам не грешно. Я к вам пришла по дюже сурьезному делу, а вы балуетесь. Разве же, — говорю, — по пустякам я бы ночью сюда пришла. Я хочу сказать вам кое-что по секрету, только вы, упаси бог, бате не говорите, а то он меня убьет. — И шепотком ему на ухо: — За вас я очень хочу замуж, только не знаю, как быть... Я, господин пр-

став...— Настя вспыхнула, отвернулась от Афанасия и, немного помедлив, смущенно продолжала: — Я, господин пристав, в тягостях... Понесла, — говорю, — от нашего работника Афоньки». Ох как прянет он — да ко мне с кулаками. «Врешь! — кричит. — Врешь!.. — А потом, наверное, поверил, затрясся весь от злости и даже голос потерял. — Все вы, — хрипит, — такие...» И обозвал меня очень нехорошо... Начал скверными словами ругаться и в сердцах меня по лицу ударил. Я для видимости заплакала, а сама рада-радешенька, потому, вижу, поверил, а это, значит, и нашей с ним свадьбе конец... Ну, я тут же о другом. Стала я просить, чтобы он не трогал тебя. Он пуще прежнего обозлился. «Пошли вы, — кричит, — все к чертовой матери! С каждым дерьмом буду связываться!.. Я об вас и думать не хочу!»

— Настя, а Настя! — Голос из-за сарая. — Где ты запропастилась? Коров, что ли, до се не подоила?.. Иди скорее в хату, отец кличет!..

— Тс-с!.. Афоня, родненький, никому про это не говори... Батя, должно, сейчас опять будет о свадьбе толковать. Ну я его обрадую... Я его утешу!..

Схватив ведро, наполненное молоком, Настя торопливо, с легкой раскачкой вышла из-под навеса.

Афанасий завороженным взглядом провожал каждое ее движение, следил, как на голубоватой белизне снега ложился глубокий след девичьих ног...

Настю нетерпеливо ждал в горнице отец. Он после долгого раздумья пришел к выводу, что отказываться от предложения пристава не следует. Не каждому, даже богатому, человеку бог дает такого зятя. Может, и ему, простому мужику, весь свой век крутившему быкам хвосты и кое-как выбившемуся в люди, на старости лет придется породниться с их благородиями, а потом через них и в казаки, пожалуй, удастся пробиться. Припишут — надел земли дадут!.. К покупной землице свой пай прибавится. Тогда можно и с Букреевыми потягаться...

А что касается Насти, то и говорить не приходится — барыней заживет. Будет себе в городе жить-поживать, в новых платьях поплиновых да ботинках со скрипом похаживать, чай в беседке с кусковым сахаром и баранками попивать и для забавы веером на мух помахивать... Не жизнь девке будет, а масленица... Правда, сейчас она, дура, слезами обливается. Ведь кому легко расставаться с девичьей вольностью?.. Страшновато, конечно, — вот и криком кричит. Тут-то и нужна крепкая отцовская рука.

— Алена, где Настя?
— Коров доит.
— Покличь ее сюда.
Разговор с Настей оказался неожиданно кратким.
— Вот что, дочка, не век тебе в девках куковать и на отцовской шее сидеть. Находится хороший человек, и я даю родительское благословение на законный брак с их высокородием.
— Ваша воля, батя, — с напускным смирением опустила голову Настя. Прикрыв уголком платка синяк, добавила: — Я согласная...
— Согласная? — удивился старик.
— Ежели он не откажется, то я согласная, —улыбнулась Настя.
Василий Антонович, не заметив лукавства дочери, обрадовался:
— Ну вот и хорошо! Давно бы так... Слава тебе господи, — закрестился старик. — Дай бог тебе счастья!.. Чего же он будет отказываться? Сам напросился. Мы его за язык не тянули...
Приняв решение и добившись согласия дочери, Василий Антонович с радостным нетерпением стал ожидать возвращения жениха. Он несколько раз выходил за ворота, смотрел из-под руки на пустынную заснеженную дорогу и с досадой снова возвращался во двор. Взяв из рук Афанасия терновую метлу, начал сам разметать от снега дорожки. Наконец послышался где-то на окраине хутора бешеный перезвон бубенцов и дробный топот лошадиных копыт. Отбросив метлу, Василий Антонович — опрометью за ворота. Вдали на улице, поднимая белую пыль искрящегося на солнце снега, в сумасшедшем галопе пласталась лучшая букреевская тройка. Она с такой стремительностью приближалась к старику, что тот ахнул от изумления, на одно мгновение закрыл глаза. Но сейчас же спохватился, бросился назад, распахнул ворота и, сорвав с головы шапку, радостно перекрестился на восток.
На улицу высыпала детвора, повыскакивали бабы. Над заборами соседних дворов замаячили разномастные шапки мужиков, послышались крики:
— Жених!.. Жених скачет!
— Ставь, Антонович, магарыч!
— Эх, везет же, черт возьми, людям!
— Да, кто богач — тому и калач!..
В груди старика с непривычной ретивостью, по-молодому, заколотилось сердце. Глаза наполнились счастливыми

слезами. Стыдясь своей слабости, Василий Антонович отвернулся к базу, украдкой мазнул по глазам рукавом праздничного тулупа, зычно заорал на ватагу столпившихся у ворот мальчишек:

— Кыш вы, чертенята! Куда лезете? Конями тут вас потопчут! Они сейчас сюда завернут!

Но они не завернули...

Не сбавляя ходу, тройка вихрем промчалась мимо Василия Антоновича. Опешивший старик, как во сне, слышал топот копыт, прерывистый храп лошадей, звук бубенцов, свирепый свист кнута и заполошный гик привставшего на козлах кучера. В кратчайшее мгновение промелькнули и исчезли за поворотом ярко разукрашенные, словно на каруселях, сани. Изумленный старик все же успел разглядеть, как в задку саней, прикрывшись огромным меховым ковром из сыромятных волчьих шкур, угрюмо сутулился опухший от перепоя, бледный и злой как черт пристав. Он, безусловно, видел все: и выжидательно топтавшегося у двора Василия Антоновича, и гостеприимно распахнутые ворота, но не повернул головы, даже не повел глазом по сторонам, а с тупым злорадным усердием глядел в спину неистовствующего в лихости кучера...

— Ха-ха!.. Вот это жених! Пронесся мимо и даже харю не повернул!.. — успел еще услышать ошалевший старик чей-то голос.

Еще кто-то из соседей, не выходя со двора, что-то насмешливо кричал через улицу. Василий Антонович больше ничего не слышал и не видел... Опомнился он только к вечеру и воспылал неудержимым гневом.

— Ишь с-сукин сын!.. Черт паршивый!.. Индюк долговязый!.. — ругался старик. — Видали, люди добрые, что их благородия вытворяют? Напаскудничал, сраму наделал — и был таков... Он думает, что на него и управы нет? Брешешь! Найдем, сто чертей тебе в душу дать, найдем!..

Однако находить «управу» Василий Антонович все же не стал. Он недели две не выходил на улицу, упорно избегал встречи с хуторянами, а дома почти ни с кем не разговаривал, словно никого не замечал. Не обратил старик внимания даже на то, как исчез из дому Афонька.

После отъезда пристава Алена Петровна видела, что Василий Антонович не в духе, попадись ему в этот час на глаза — может поколотить. Да и сам Василий Антонович не искал встречи с женой. Несколько озадачило его только странное поведение Насти. Она, казалось, без всякой причины

вдруг разрыдалась, бросила работу, хлопнула дверью и убежала во двор.

«Пм-м... Чего это она вздумала? — сердито поднял брови старик, косясь на дверь. — Тоже мне, невеста... То брыкалась, криком кричала, что не надо ей такого жениха, а теперь — на тебе... в слезы вдарилась. Эх, дуры-бабы! Нет у вас никакой самостоятельности...»

Старик чертыхнулся, сплюнул и огорченно умолк. Долго сидел, беззвучно шевеля губами, изредка поглядывая на возившуюся у печи старуху. Затем не выдержал, стал рассуждать вслух:

— Может, и к лучшему, что я не выдал Настю за этого, прости господи, жениха... Он польстился, можно сказать, на одну Настину красоту, а мне, к примеру, он и руки гнушался подать. Да и девке-то, пожалуй, жить в городе была бы одна маята. Образованиями она никакими не занималася, по-чужому, заграничному, брехать не умеет, на балах благородных не знает, как длинный подол задирать да приседать с поклонами... Нет, бог с ним... Лучше уж я отдам ее за своего человека, простого, работящего...

Но, решив так, Василий Антонович и слышать не хотел о зяте, у которого не было бы косяка лошадей или табуна гулевого скота...

ГЛАВА VI

Афанасий был уверен, что его столкновение с приставом не пройдет даром. Но уйти куда-нибудь, скрыться не помышлял. Все утро он с тревогой ждал возвращения пристава. А когда раздался где-то на улице звон бубенцов мчавшейся тройки, сердце Афанасия дрогнуло и по спине побежали противные мурашки озноба. Овладев собой, он подошел к широко распахнутым воротам двора, где возбужденно топтался гостеприимный хозяин. Остальное получилось так быстро и неожиданно смешно, что Афонька не выдержал, громко расхохотался. Крах сватовства несказанно обрадовал парня, и в первое время он не мог скрыть ликования. Боясь вызвать своей неуместной веселостью гнев ошалевшего от позорной обиды хозяина, уходил на баз, в конюшню и там пропадал целыми днями. Работал без устали... Иногда по какому-либо делу появлялась во дворе Настя. Левый припухший глаз ее, окаймленный иссиня-багровым подтеком, был прикрыт платком, а правый — ярко светился неудержимой радостью.

А на четвертый день Афоньку неожиданно вызвал хуторской атаман и немедля отправил в сопровождении си-

дельца в станицу Егорлыкскую. Там, во дворе станичного правления, Афоньку посадили под замок в старый деревянный амбар с крохотным решетчатым оконцем над дверью. Неделю никто его не допрашивал, и парень уже подумал, что о нем забыли. Начал греметь в дверь и требовать, чтобы его выпустили:

— За что посадили?.. Откройте, вам говорят, а то дверь вместе с притолокой на плечах вынесу...

Сидельцы, опасаясь, что злодей и всерьез может выломать дверь (силенки на это у него хватит), побежали к атаману. Тот удивился:

— Какой арестант? Какой злодей? Ах, да... Из Степного Кута?.. Ну хорошо, позовите ко мне станового и писаря, а потом арестанта приведите.

Два сидельца с шашками наголо втолкнули Афанасия в комнату к атаману и, вытянувшись по команде «Смирно», стали у двери.

— Разрешите приступить? — почтительно наклонил голову в сторону атамана престарелый, тощий и длинный становой, бережно придерживая левой рукой ободранные ножны видавшей виды шашки.

— Да-да, начинай, — кивнул атаман.

— Так вот, подследственный, первым долгом ответь нам, — обратился к Афанасию становой, — есть ли у тебя на груди крест?..

Афонька молча расстегнул ворот рубахи, потянул за гайтан, показал медный позеленевший крест.

— Хорошо! — обрадовался становой. — Теперь поцелуй его и побожись перед образом Христа, что ты ничего не скроешь и дашь чистосердечные показания...

— А чего мне скрывать? Я расскажу все как было... Потом сами судите, кто виноватый, а кто правый.

— Ты не бойся. Все запишем в дело как надо. Потом рассудим. Ну рассказывай.

Собственно, ни становой, ни атаман не знали, о чем заводить дело. Арест и допрос парня был вызван тем, что на днях военный окружной пристав проездом завернул в станицу и раздраженно бросил атаману:

— И у вас, господа, нет порядка. Везде безобразие! Вы, например, знаете, кто таков... э-э... Афонька Чумаков из хутора Степной Кут? Нет? Ничего, конечно, вы о нем не знаете! А надо бы знать! — загадочно буркнул пристав, сел в сани и уехал.

Вот и все... А теперь, извольте радоваться, надо заводить

дело. Хорошо еще, что парень сам согласился сейчас дать какие-то показания.

— Ну рассказывай, как это все было... — многозначительно нажал становой на слово «это», как будто и в самом деле он знал что-то.

Афанасий подробно рассказал всю историю нелепого сватовства пристава, и как он, Афонька, поступил с их благородием, когда тот начал драться.

Атаман покраснел от натуги, стараясь проглотить рвавшийся из горла смех, переспросил:

— Так-таки и посадил его в снег?

— Так точно, господин атаман, в сугроб!.. Да вы не сумлевайтесь, я его не зашиб — там мягко было...

Атаман резко отвернулся к окну, прижал руки к пухлой груди и мелко затряс круглыми плечами. Потом, овладев собою, снова повернулся к становому и решительно хлопнул толстой ладонью по столу:

— Все ясно!.. На этом закончим!.. — Немного отдышавшись, он приказал Афоньке: — Ты зараз ступай домой. Но смотри, больше дурь свою никому не показывай, а то перекрут придется сделать... Понял? Ступай!.. — Когда за парнем захлопнулась дверь, атаман, уже не таясь, расхохотался и пояснил становому: — Тут, оказывается, из-за девки скандал получился. За каким чертом, спрашивается, мы будем заводить дело... Нехай он сам на дуэлю его вызывает... Хо-хо!

Афанасий возвращался домой пешком. Оттепель расквасила дорогу. Идти было трудно, но Афонька не чувствовал под собою земли. Он был рад, что так удачно кончилось дело с этим трижды проклятым приставом. Надо скорей и Настеньку обрадовать. А что же он скажет хозяину?.. Ладно, там что-нибудь вместе с Настей придумать можно.

Перед вечером у хутора Веселый Кукуй его нагнала группа верхоконных казаков в полном снаряжении. Их было человек двенадцать. Лошади, с подвязанными хвостами и забрызганные грязью, приморились, вспотели, на боках висели клочья белой пены. Видать, далекий и нелегкий путь проделали они в этот день.

Афанасий остановился на обочине дороги, пропуская колонну всадников. В глаза бросилась странная картина. Во втором ряду, сгорбившись и паралично дергая низко опущенной головой, пьяно покачивался в седле немолодой худощавый казак с мертвенно-бледным лицом. Его руки с туго сжатыми кулаками были заломлены назад, за спину, и крепко стянуты узким сыромятным ремнем. Спина и правый бок

помятой шинели испачканы грязью. Два дюжих казака ехали рядом и бережно поддерживали его с боков. Он беспрерывно что-то мычал, всхлипывал, громко и невнятно выкрикивал ругательства. Остальные всадники, не обращая на него внимания, тихо переговаривались между собой.

Среди казаков оказался один, знакомый Афанасию. То был хуторянин Федька Янюшкин. Он ехал сзади на рослом вороном жеребце и сбоку вел на коротком поводу золотисто-рыжую кобылу. Она была подседлана. Стремена заброшены на кожаную подушку, а к седлу приторочены сабля и пика.

Федька также узнал Афанасия, весело крикнул:

— Эй, земляк! Откудова бредешь?

— В станице был.

— Чего же пешком?

— Да так... — замялся Афанасий. — По своим делам ходил...

— Выходит, хозяин коняку пожалел дать? Ох, прижимистый он у тебя, черт... Ну что же делать?.. Садись вот на эту кобылицу. Доберемся до хутора вместе.

Афанасий охотно принял повод, быстро подогнал стременные ремни и ловко вскочил в седло.

— О, да ты, брат, настоящий кавалерист.

— Табунщиком когда-то был у Королькова, — улыбнулся Афанасий, забирая в одну руку поводья уздечки.

За хутором, на развилке дорог, всадники разъехались в разные стороны. Связанного казака по-прежнему неотступно сопровождали два дружка. Федор и Афонька повернули на проселочную дорогу, тянувшуюся через обширные земли букреевской экономии.

— Где это он так набрался? В седле даже не держится... — спросил Афанасий, кивком головы показывая на связанного казака.

— В Ростове, — коротко ответил Федор, безнадежно махнув рукой.

— Вон где!.. И до сих пор не протрезвился?

— Эх, брат, хватил он горячего до слез, видать, на всю жизнь, — горько усмехнулся Федор.— Едва ли теперь в себя придет... Умом он тронулся.

— Умом тронулся?.. Отчего так? Много выпил, что ли?

— Кой черт! Этот чудак капли в рот не брал, как старовер. Он ухваткой и на казака-то не был похож. Все о братстве, Христовой любви к ближнему и всякое другое молитвенное толковал. Его в шутку ребята прозвали Исусиком.

— А что же приключилось с ним в Ростове?

— Да ничего особенного, вместе с нами был. Службу казацкую там ломали, вашего брата, таких вот, как ты да всякий мастеровой сброд, уму-разуму учили. — Федор засмеялся, покрутил головой: — Ох и была же потеха!..

Афанасий вспомнил, что недавно этих немолодых казаков срочно призвали под ружье и отправили зачем-то в Ростов.

Федор помолчал, мерно покачиваясь в седле, затем снова усмехнулся:

— Понимаешь, взбунтовались там мастеровые. Бросили работу — и айда на улицу. К ним поперли другие, даже бабы с детишками. На улицах не поместились. Они тогда за город пыхнули, а там, в балках, раздолье. Полиция было сунула нос, но ей и пикнуть не дали... Вот они и начали бунтовать на свободе. Бунтуют день, бунтуют другой, бунтуют... неделю! И никаких властей не признают. Дошел слух об этом до самого наказного атамана. Видит он: дело плохо! И дает приказ: собрать к Ростову казачье войско. К нам в станицу окружной пристав прискакал. Призвал всех нас второочередников под ружье, скомандовал «По коням» и — скорей в Ростов. Прибегли мы к Дону-батюшке аккурат в субботу, а туда уже съехались из разных станиц войска, как на сражение. Под Батайском сделали привал. Наутро, в воскресенье, «По коням» — и через наплавной мост в Ростов. Провели нас по Темерничке к большой балке. Глядим, а там миру видимо-невидимо, и полиция редкой цепочкой на буграх растянулась. Окружили и мы эту балку, а им хоть бы что — бунтуют себе, кричат всякую разную пакость про власть, царя и все другое... Так мы и простояли целый день. Намерзлись, ноги отекли, и жрать захотелось. На другой раз, в понедельник, — та же петрушка. Им приказывают разойтись и не собираться больше, а они и ухом не ведут. Тогда нам и подают команду:

— Казаки! Пики к бою, шашки вон, вперед — ма-а-арш!..

Ну мы и тронулись на бунтовщиков. Они же все, как по команде, плюхаются на землю и мирно сидят, а бабы протягивают своих детишек и кричат:

— Что же вы делаете, казаки? Детишек топчете! У вас у самих дома дети, вспомните о них...

А одна бабенка, молодая, красивая, с дитем годовалым на руках, ко мне с улыбочкой и ласковыми словами сунулась. Я смекнул, чем это пахнет, и — сапогом ее от себя. Она шатнулась назад, но на ногах устояла. Потом круть — и к другому. Прилипла, нечистая сила, к Исусику этому, показывает ему дитя и ласково говорит:

— Казачки, вы — мирные сыны донских степей. Неужто вы станете убивать своих братьев рабочих, сестер и детей?.. Мы же не злодеи... Может, ты, дяденька, завтра будешь с нами...

А он, я ж тебе говорил, чудаковатый был, похлопал ее по плечу, потом протянул руку, гладит девчушку по голове и говорит:

— Успокойся, сестра, не боись. Наши пики острые, но они вас не достанут...

Тут бунтовщики и заорали:

— Ура казакам!..

Ох как услыхал это наш сотник, так и подскочил на седле. Матом покрыл Исусика и кричит:

— Ты что, слюнтяй, сопли распустил?! Запорю, с-сукин сын!.. — И опять всем нам приказывает: — Пики к бою!.. Вперед!..

А кони, как на грех, не идут на людей, да и только. Задирают головы, крутятся на месте, пятятся назад. Тогда сотник на хитрость вдарился. Скомандовал нам «Кругом» и поскакал в степь. Мы — за ним. Пробегли сажен триста, повернули обратно.

— Наметом — за мной!.. Ма-арш!.. — И плетью заработал.

Мы вдарили по коням. На всем скаку перевалили через бугор и — прямо в балку, на бунтовщиков. Тут уж и хотел бы кто остановить коня, да поздно. Мы и врезались в толпу. Люди опять садятся на землю, а мы — по ним. Кони начали сигать. Но что получилось: через одного перемахнет — другого копытами накроет. Ну и пошла кутерьма: крики, вой!.. Детишки ревут, бабы визжат, а мужики матерными словами кроют... Потом камни в нас полетели. Моему дружку-станичнику, Евлампию Подройкину, и угодил такой булыжник в голову, черепок проломил. Теперь он в лазарете остался, а я вот его коня жинке веду...

Меня, как видишь, бог миловал, но тоже чуть беда не случилась. Только это мы врезались в толпу, один бородатый черт с дурна ума ко мне кинулся. Схватил повод, осадил коня, вцепился в сапог и хотел с седла сдернуть. Но не тут-то было. Я развернулся и с потягом рубанул его по бородатой морде плетью. А в конце у плети свинчатка заплетена. Он так и сел, закрыл глаза руками, закружился на месте, а потом вниз головой под коня сунулся. Конь на дыбы, сигнул и понес меня в сторону...

Федор бросил на луку повод, достал из кармана кисет, закурил и снова взялся за повод.

— Я его проучил, как с казаками драться. Ежели очухается, то другой раз не подымет руку. Скорей всего, теперь ему с поводырем да с сумкой за плечами придется по белу свету ходить... Но нехай благодарит бога, что я шашку не выхватил... На другой стороне балки кое-кто даже огонь открыл...

Федор умолк и стал раскуривать самокрутку.

— А что же получилось с... как его... Исусиком, что ли? — глухо спросил Афанасий, не взглянув на Федора.

— Да что же?.. Промах дал. Случилось так, что невзначай налетел он своим конем как раз на ту бабенку, какая ласково с ним лясы точила. Конь грудью сбил ее с ног, а задним копытом угодил прямо девчушке в голову. Казак спохватился, да поздно. Крутнул коня и — назад. Глянул — баба без памяти лежит белая как смерть, а девчушка кровью вся залилась и свою мать забрызгала. Исусик закричал страшным голосом и стал кликать свою дочурку Варьку: ему, наверно, показалось, что он растоптал свое дитя. Бросил пику, шашку, зачал рвать на себе одежу, а потом песни заиграл... Насилу мы гуртом совладали с ним, связали и увезли оттудова. Хотели потом в сумасшедший дом отправить, да кум его с дружком-соседом запротивились, не дали, взялись сами доставить домой. Может, там очухается и придет в себя, когда посмотрит на свою живую Варьку. Вот теперь и мучаются с ним всю дорогу...

Федор еще что-то рассказывал, но Афонька словно оглох. От веселого возбуждения, которое было у него после допроса в станичном правлении, не осталось и следа. Остальную дорогу он угрюмо молчал, разговор с Федькой не поддерживал. Только в конце пути вдруг спросил:

— Стало быть, в Ростове все уже утихомирилось? Прикончили?..

— Кой черт! Там еще бунтуют. Весь Ростов поднялся. Во вторник ночью из Екатеринодара прибыло подкрепление: тысячи, говорят, две солдат да несметная сила кубанских казаков... А наш взвод, как видишь, отправили по домам, потому один казак с ума свихнулся, другому черепок булыжником проломили и кое-кто из наших ребят возроптался: не казацкое, мол, дело с детишками да бабами воевать... Вот нас скорей оттудова и турнули... Сам окружной пристав за Батайск проводил. Боялся, чтобы не вышло чего.

Федька усмехнулся и осуждающе покрутил головой.

В хутор приехали ночью. Афанасий в дом не пошел, не стал будить хозяев. Забравшись на сеновал, он в ворохе душистого сена проспал до утра.

Весть о ростовских событиях эхом прокатилась по Сальской степи Одних она насторожила и заставила призадуматься, других напугала, третьих приободрила и даже обрадовала, а кое-кому принесла большое горе.

Самым несчастным чувствовал себя отец Исай. Он из-за этих событий, возможно, навсегда лишился горячо любимого сына. И хотя Роман был крамольный, хоть много принес он огорчений и душевных тревог отцу, но ведь родной, кровный и единственный — из сердца не выбросишь. Еще не так давно, осенью, Роман был арестован в Новочеркасске то ли за принадлежность к подпольному кружку каких-то социалистов-революционеров, то ли за участие в распространении запрещенных листовок-прокламаций среди учащихся. Просидел почти три месяца в тюрьме под следствием. С большим трудом, после долгих хлопот, удалось отцу Исаю взять сына на поруки, а потом через влиятельных знакомых из новочеркасской епархии добиться полного его освобождения, с высылкой в деревню на два года под опеку родителей. Бывший семинарист стал вынужденным жителем хутора Степной Кут. Это немного успокоило отца. И вот теперь снова несчастье. В ту ночь, когда Роман был приглашен в гости к Букреевым, где неожиданно встретился с приставом, он внезапно исчез. Даже не попрощался с родителями. Только в своей комнате, на столе, оставил маленькую записку: «Папа и мамочка! Мне надо срочно побывать в Ростове. Жизнь и события настоятельно зовут туда! Не тревожьтесь. Возможно, скоро возвращусь. Ваш Роман».

Чуть ниже сделал приписку:

«Чтобы вас не беспокоили допросами и следствием, о моем отсутствии никому не сообщайте. Объявите меня тяжело больным, закройте дверь моей компаты и никого не пускайте. С вами бог».

Но и эта приписка не утешила родителей. Матушка Федулия Силантьевна, обливаясь слезами, слегла в постель, а отец Исай с горя тайно запил. Однажды после богослужения, оставшись один в алтаре, он с отчаяния осушил почти все запасы церковного вина и в состоянии отважной решимости заставил пономаря зажечь все лампады и свечи в пустой церкви. С трудом держась на амвоне, он произнес перед одиноким сторожем-пономарем путаную, по страстную анафему всем ростовским бунтовщикам, из-за которых теперь может погибнуть его сын. Закончил слезной просьбой:

— Спаси и оборони, господи, от искушения раба божьего Романа, сына Исая! Возврати его на путь истинный целым и невредимым! Аминь!..

Через две недели действительно целым и невредимым возвратился в Степной Кут беглый сын. Он был мрачен и зол. Закрылся в своей комнате и сутки ни с кем не желал разговаривать. На второй день позвал к себе отца и решительно потребовал:

— Папа, ты должен отслужить панихиду по... убиенным. Вот их имена... Все восемь человек.

— Кто они такие?

— Эти люди обагрили своей невинной кровью улицы Ростова!

— Бунтовщики?

— Да! Но это случайные жертвы. Они лишились жизни по вине жандармского палача полковника Артемьева... Ты представляешь, когда по толпе открыли огонь, один из членов Донкома, господин Брагин, явился к жандармам и заявил: «Возьмите меня, но не стреляйте в народ». И что бы ты думал? Полковник Артемьев арестовал его, бросил в тюрьму, а жандармам приказал продолжать стрелять... Можно ли простить это вероломство!.. — Роман порывисто встал, нервно хрустнул пальцами и тихо процедил сквозь зубы: — Но он тоже захлебнулся своей поганой кровью! Я лично расквитался с этим палачом!..

— Ты покушался на господина Артемьева?! — с ужасом прошептал отец, смертельно побледнев.

— Да! Жаль, что не до смерти. Ранил. Но он и так запомнит вот эти руки!

— О боже!.. — схватился за голову отец Исай. — Что ты натворил?! Ведь тебя могут с часу на час арестовать и подвергнуть жестокой казни!..

— За меня опасаться нечего, — успокоил Роман. — Попробуй узнать, кто находился в уличной схватке. Там были тысячи... А я сделал свое дело из-за спины и — был таков!

У отца Исая отлегло от сердца. Придя в себя и поразмыслив, он тихо, но решительно заявил:

— Панихиду по убиенным бунтовщикам служить не буду... не могу.

— Должен! — твердо сказал Роман. — В противном случае я сам выдам себя жандармам. Сделаю тебе удовольствие служить панихиду по моей душе! — В глазах сына загорелся сумасшедший огонек.

— О боже! — в отчаянии простонал отец Исай.

Бог знает, что взбредет непутевому в голову. Ведь поднял же руку на господина Артемьева...

— Кроме того, отслужи молебен о здравии моего дружка Ивана Брагина,— продолжал Роман. — Он совершил настоящий подвиг, достойный не социал-демократа, а социалиста-революционера!.. Я чувствую наше духовное родство! Да-да, он — истинный мой духовный брат!..

Как ни тяжело брать грех на душу, вмешиваться в мирскую суету жизни, но отец Исай вынужден был покориться сыну, выполнить его настоятельные требования. Правда, во время панихиды он схитрил, заменил слово «убиенные» «усопшими», а о здравии помолился после Ивана Брагина и за господина Артемьева.

На этом тревоги и распри в семье отца Исая и закончились...

В начале декабря зима вошла в свои права. Потянулись скучные дни. Томясь степной глушью, Роман не знал, чем заняться. Как-то после заговенья он побывал на унылом богослужении в церкви и не то в шутку, не то всерьез предложил отцу:

— Папа, почему бы нам не создать при вашем храме хор. Да-да, самый настоящий: с тремя-четырьмя голосами, а?.. Я кое-что в этом деле понимаю — ходил в новочеркасском соборе на клирос, могу здесь быть регентом. К пасхе мы подготовим такой хор, что позавидует сам архиерей собора... Даю гарантию — сборы в приходе удвоятся, а то и утроятся, на меня же, пожалуй, благосклоннее станут смотреть мои попечители. Авось сократятся «печальных дней моих изгнанья...». Ну как, согласен?

Неожиданное предложение сына бесконечно обрадовало попа, и он от всей души поблагодарил всевышнего за то, что блудный сын наконец, кажется, становится на истинный путь. Благословив самозваного регента, он в ближайшее воскресенье обратился с просьбой к прихожанам оказать всемерное содействие в создании церковного хора. Кто-кто, а хуторская молодежь охотно отозвалась на эту просьбу.

Обычно в великий пост для девчат и парней наступала тоскливая пора. Многие легко мирились с постной пищей (и без того не так уж часто приходилось лакомиться скоромным), тягостно же было то, что до самой пасхи, в течение мучительных семи недель, законами церкви запрещалось всякое веселье — не только праздничные гульбища и

свадебные пиршества, но даже безобидные игрища и посиделки. Какова же была радость, когда в скучные дни поста появилась в этом году возможность многолюдно собираться на спевки в церковную караулку.

Фирсова Настя, узнав о спевках, постаралась раньше, засветло, подоить коров, поспешно переодеться в праздничное и торопливо отправиться в горницу к старикам спросить разрешения.

Алена Петровна, гремя у печки горшками, стряпала ужин. Василий Антонович примостился на низкой скамеечке у порога — чинил хомут. В комнате пахло пригоревшим постным маслом, дегтем и сыромятной кожей. На стук открывшейся двери старик поднял голову. Изо рта вниз по бороде свисали концы длинных тонких ремней, которыми он сшивал постромки хомута.

— Батя, можно пойти на спевку?

— Это что еще за новости? — удивился отец, слюнявя конец ремня. — Какая такая спевка в пост могет быть! На игрища, скажи, собралась.

— Да, ей-богу, батя, на спевку в церковную караулку.

— Ты мне не морочь голову церквами да караулками! — разозлился старик. — Знаем мы эти караулки... Сиди дома, а то возьму эту постромку, так ты у меня запоешь...

— Антоныч, чего ты на девку зря накинулся,— вмешалась Алена Петровна. — Нехай идет. В прошлое воскресенье сам батюшка Исай про эти спевки просил мир. Теперь, говорит, в церкви на пасху разные хоры будут петь.

— Э-э, выдумляет с пьяна ума твой батюшка Исай всякую чертовщину, — отмахнулся старик, но, пораздумав, нехотя пробубнил: — Ладно, нехай метется. — И к Насте: — Ну ступай, чего стоишь, мнешься... Да, постой, покличь-ка сюда Афоньку.

Когда вошел в горницу Афонька, старик кивком головы подозвал его к себе, воровато оглянулся на жену и вкрадчиво, заговорщицки зашептал:

— Афоня, ты, сынок, ступай сейчас на спевку и того... поглядывай за Настей, чтобы она на улице шибко не дурила... Смотри за нею, как за родною сестрою. Ежели что — построже с ней. Понял? А потом мне обо всем рассказывай.

Во дворе Настя поджидала Афоньку. Из горницы он вышел несколько смущенным, но необычно веселым.

— Ты чего это так сияешь? — удивилась Настя.

Афанасий, улыбаясь, рассказал о строгом наказе старика. Настя, закрывшись шалью, рассмеялась.

— Ну гляди за мною в оба, а то, не дай бог, убегу — отвечать будешь... Раз, два, три!..

И Настю словно ветром сдуло. С хрустом приминая валенками сухой снег, она помчалась по улице. На площади Афонька с трудом догнал ее, схватил за плечи, легко приподнял и, прижимая к груди, стремительно завертел вокруг себя.

— Пусти, Афоня, а то люди увидят, — отстраняясь, тихо и смущенно смеялась Настя.

От быстрого вращения у нее все пошло кругом, перехватило дыхание и сердце сладко замерло. Она невольно уронила голову на плечо Афанасию. И вдруг то ли жаркое дыхание, то ли короткий поцелуй обжег ей щеку.

— Ой! — ахнула Настя, крепко зажмурив глаза.

Она хотела освободиться, но сильные руки властно держали ее в объятиях.

— Афоня, пусти, родненький... Не надо... Батя ругаться будет... На спевку опоздаю... — не помня себя, лепетала Настя.

— Ну ладно, иди в караулку, а я тут один побуду, — взволнованно проговорил Афонька, бережно опуская на землю девушку.

...Спевка кончилась поздно ночью. Афанасий ожидал Настю в ограде церкви. Домой пошли вместе. Настя, возбужденная и веселая, рассказывала:

— Вот на спевке была потеха!.. Регент-попович зачал чудить — искать у нас какую-то вокальность. Заставил он каждого отдельно петь молитвы, а мы, сам знаешь, — кто в лес, кто по дрова. Тогда он говорит: «Играйте любую песню, какую кто хорошо умеет. Мне нужно узнать ваши вокальные данные». Ну тут и пошло, кто во что горазд: и страдания, и свадебные, и плясовые... Так ему навокалили, что он аж вспотел. Потом разделил всех нас на кучки, поставил в разные углы и заставил играть какую-то чудную молитву: до-ре-ми-фа-соль... Ох и было же смеху!..

У дома Настя притихла. Афанасий прошел на баз наведаться к скотине. Почуяв человека, призывно заржала старая жеребая кобыла. Афанасий заглянул в конюшню. Поправил под кобылой подстилку, собрал объедки сена в яслях, отнес быкам в сарай (они все пережуют). Надергал деревянным крюком из прикладка свежего сена, тщательно собрал граблями и задал лошадям. Настя все время молча наблюдала за работником и, когда тот, смахнув с полушубка сенную труху, подошел к ней, с искренней убежденностью прошептала:

— Ну, Афоня, и хозяин же с тебя хороший получится!..

— Да, хозяин — рот раззявил... — отшутился Афонька, направляясь к дому.

— Ты куда?.. Постой!.. — Настя порывисто схватила за рукав парня и робко прижалась к плечу: — Давай, Афоня, побудем тут немного. Что-то спать не хочется...

— Ну давай покараулим темную ноченьку да посчитаем падучие звезды! — улыбнулся Афонька и обнял девушку.

Ночь выдалась морозная и такая тихая, что даже издали слышен был шелест и писк возившихся в скирду сена полевых мышей.

— А хорошо, что спевки зачали собираться, — весело прошептала Настя. — Теперь мы каждый раз будем ходить и... вот так стоять. Да?..

— Угу... — глухо буркнул Афонька. Не зная, что еще сказать Насте, он сосредоточенно стал разглядывать небо. А там, словно на хорошо расчищенном току, ночь щедро рассыпала зернистый урожай звезд. И вдруг ему захотелось, как в сказке, приподняться на цыпочки, зачерпнуть целую горсть этой пшеничной россыпи и с доброй приметой высыпать все на голову Насти, на зябко вздрагивающие девичьи плечи, чтобы никогда ее не чурались радость и счастье.

За неделю перед пасхой в караулке уже гремел многоголосый хор. Отец Исай был в восторге и с нетерпением ждал выступления хора в церкви. Но не суждено было прихожанам услышать торжественного песнопения: неожиданно на спевку явился атаман с полицейским и сидельцами, арестовал регента и отправил в станицу, а хористов почти всю ночь продержал в караулке и, строго допросив, распустил по домам. Хор распался. Развлечение молодежи оборвалось, а служебная репутация духовного отца серьезно пошатнулась. Оказывается, богохульный сын попа, кроме молитв, разучивал в караулке какие-то запрещенные песни...

В вербное воскресенье во время богослужения убитый горем отец Исай был как в бреду. Часто путал молитвы, начинал их заново, делал неожиданные паузы... Обедня затянулась. Уже высоко над степью поднялось весеннее солнце, когда толпы принаряженных хуторян рассыпались по улицам и переулкам, неся в руках зеленоватые веточки верб с крохотными клейкими лепестками и набухшими цветковыми почками, усеянными блестящими белыми во-

лосками. По обычаям, в этот день каждый миряпин должен посечь друг друга освященной в церкви веточкой, изгнать беса и очистить земпую плоть от мирских грехов. Старики и старухи, крепко веря в магическую силу такой церемонии, деловито хлестали по согбенным спинам, шептали молитвы и щедро отпускали грехи. Зато молодежь, забывая о святости обряда, находила в этом забавное развлечение и давала волю озорству. Даже на паперти и в ограде церкви возникали в тот день шумные и веселые потасовки.

Афонька Чумаков в церковь не пошел. Он решил с утра все убрать на базу. Когда на колокольне ударили «достойное», он уже очистил скотный двор, воловню, конюшню, напоил быков и лошадей, задал им корму. Около колодца, вылив цебарку воды в деревянное корыто, расстегнув ворот рубахи, нагнулся обмыть вспотевшее лицо и шею.

И вдруг широкую спину Афоньки наискось резанула жгучая боль.

— Верба-хлест, бей до слез!..

Афонька взметнулся, резко выпрямился.

Перед ним стояла смеющаяся Настя. На ее возбужденном лице ярко горел румянец, а над черной короной уложенных на голове тугих кос, переплетенных золотистой шелковой лентой, легким голубым облачком вздувался на ветру газовый шарф. В руке ее лихо посвистывала тонкая лозина.

— Ты чего бьешь?

— Не я бью, верба бьет!.. Верба бела, бей до тела!..

— Не дури, Настенька, осерчаю.

— Ничего, на сердитых воду возят. Зато злей на любовь будешь.

— Я и так на нее злой! — засмеялся Афонька, прикрываясь от ударов мокрой рукой.

— Что-то не примечаю.

— Знать, нужды у тебя нету примечать за мною.

— Ну это как сказать... Я и бью-то тебя, чтобы помнил, сколько дней осталось до нашей свадьбы. Одна неделя осталась поста, а на пасху можно и сватов засылать. Понял?

Афонька безнадежно махнул рукой:

— Знаешь, Настенька, пустая это затея. О какой свадьбе ты толкуешь, ежели Василий Антонович подыскивает тебе другого жениха — с достатком, не такого, как я.

Настя нетерпеливо отбросила в сторону лозину, поправила газовый шарф и взволнованно зашептала, как будто боялась, что их кто-то подслушает:

— Чудак ты, парень!.. Чего ты пятишься?.. Я тебе говорю, что батя согласится на нашу свадьбу и благословит нас. Ты работящий парень, хорошим будешь хозяином. Он тобой не нахвалится, почти на каждом шагу — Афонька да Афонька!.. А мы с Улькой Сазоновой уже упросили ее мать, тетку Марфу, быть свахой, а ты, Афоня, теперь поговори сам с дядей Никитой, чтобы он тоже пошел сватом. Они с нашими когда-то водились, крепко дружили... И тетка Марфа обязательно высватает. Она такая ловкая да речистая...

ГЛАВА VIII

В просторной саманной хате Никиты Ивановича Сазонова никогда не утихали разноголосые крики, смех, плач и возня многочисленной детворы. Марфа Даниловна, крупная, широкой кости женщина, за годы супружеской жизни десять раз торопливо выгоняла из хаты всех домочадцев, запиралась в горенке, занавешивала дерюгой маленькое оконце, ложилась на голую деревянную кровать и одна, без бабки-повитухи, молча страдала в родовых муках.

Никита Иванович, бойкого нрава и неукротимого трудолюбия человек, как только слышал за дверью писк новорожденного, радостно крякал, возбужденно потирал ладони и блаженно улыбался.

«Вот так голос! Никак, песенником будет? Вишь, на весь хутор горланит! — восхищался Никита. — Видать, парень народился, сынок то есть...»

Но стоило ему узнать, что родилась снова дочь, он хватался за голову, бежал на баз и там, в дальнем углу сарая, беспрерывно жег огромные цигарки из крепчайшего самосада. Каждый очередной удар судьбы он переживал мучительно, но безропотно, как неизбежное зло. На жену же после этого он недели три смотрел с какой-то отчужденностью и даже чуть заметной враждебностью. Потом он смирялся и крепко прирастал сердцем к новорожденной девчонке. Только иногда, раза два-три в год, он становился неузнаваемым. Обыкновенно, где-нибудь случайно подвыпив, он шумно вваливался в хату. В маленьких глазах горела гневная решимость, кулаки сжимались до отеков в суставах заскорузлых пальцев, в голосе появлялся какой-то звериный рык, и он, обливаясь слезами, сквернословил, разгонял по углам детвору и, угрожающе топорща желтые от табачного дыма усы, тянулся с кулаками к спокойно-молчаливой и на этот раз почему-то покорной жене.

— Ты что, подлюка, со мною вытворяешь, а? — гневно рычал Никита, пытаясь вцепиться в волосы жены. — Ты в гроб меня хочешь вогнать? Детей по миру пустить? Да ежели ты еще хоть одну девку принесешь, то я... я... не знаю, что я с тобой сделаю. Убью! Изничтожу! А сейчас я с тобой расквитаюсь за старое...

Покачиваясь, он с трудом взбирался на лавку, в одну минуту становился почти на полголовы выше жены, зычно и повелительно кричал:

— Марфа, ну-ка, иди сюда, я тебе морду набью!..

Жена покорно подходила к нему, деловито поддерживала покачивающегося на лавке незадачливого мужа, не заслоняясь, получала несколько слабых и неверных ударов по голове, лицу, груди, затем молча отходила прочь.

По углам ревели перепуганные дети. Старшие девчонки возмущались:

— Мама, да что ты ему поддаешься?.. Он измывается над ней, а она потворствует.

— Эх, дети, да нехай потешится, душу отведет. Ведь ему тоже несладко...

На этом, собственно, и кончалась расправа разбушевавшегося мужика над виновницей всех бед и несчастий обездоленной семьи. Ночью, уже лежа на кровати, он, присмиревший и жалкий, беспомощно, как малое дитя, сморкался в кулак, с неумелой грубоватой ласковостью клал жесткую ладонь на плечо жены, просил:

— Марфуша, горлица ты моя сизокрылая, ну какого ты черта упрямствуешь? Зачем, я спрашиваю, тебе, дурехе, девки нужны? Их и так уже шестеро, а сколько еще поумирало... Выроди хоть одного парня, кормильца. Выбьемся мы тогда из нужды проклятой...

— Глупый ты человек! — горестно вздыхала Марфа Даниловна. — Да разве я девок хочу. Бог дает...

— Знаю, но ты тогда хоть богу лучше молись. А то я примечаю, что ты редко стала заглядывать в церкву.

— А в чем же я туда пойду? — с досадой и огорчением отзывалась Марфа. — Латки, что ли, людям показывать? Срам даже дома нечем прикрывать, а не то что в церкви красоваться... Недавно я из своей последней праздничной юбки старшеньким два платьица сшила. Теперь они хоть попеременки их надевают. Одни вон за печкой почти голые сидят, а другие бегают к соседям детей нянчить — все лишний кусок домой принесут... А кофточку сатиновую, ту, голубенькую, что, помнишь, на свадьбе Алена Фирсова мне на каравай подарила, достала из сундука и Ульке пере-

шила: девке на улицу не в чем показаться... Теперь самой даже в годовой праздник нечего на плечи натянуть...

Марфа вздыхала, а Никита снова сморкался в кулак, скрипел зубами и бормотал бестолковые утешения:

— Ничего, ты не горюй. Мы, видать, бога прогневили. Надо теперь всем гуртом молиться, оно, может, и лучше будет. Детская молитва скорей до господа бога дойдет. Вот попомни мое слово!

— Наш батя стал, как дите малое, — не раз жаловалась потом своей подружке Насте старшая дочь Никиты Ульяна. — Видишь ли, вздумал он разбогатеть на старости лет. А чтобы бог послал ему счастье, решил усердно молиться, зачастил в церкву, потом в пономари даже полез. Дома никому покою не дает: всех замучил молитвами. Каждое утро и вечер выстраивает всю детвору перед иконами, сам молитвы нараспев тянет, а мы за ним повторяем, богатство накликаем. Молиться-то молимся, а где оно, спрашивается, это проклятое богатство?..

Иногда Никита Иванович наедине, потаенно молил бога, чтобы ему привалило хотя бы такое счастье, как, скажем, Василию Фирсову. Ведь на глазах хозяином стал. Давно ли он, как и все, перебивался с хлеба на квас, а вот теперь каждое лето на полевые работы нанимает поденщиков, сезонников, и уже второй год постоянно держит в работниках Афоньку Чумакова.

Никита Иванович не раз ломал голову над тем, как все-таки выбился в люди Васька Фирсов. Никакими статьями до этого он не выделялся от других. Нет слов — трудолюбивый мужик. Но кто из хуторян сидит сложа руки или отогревает бока на печи? Все работают до десятого пота и кровавых мозолей, а вот богатыми хозяевами становятся один-два, да и обчелся.

В народе говорят: честным трудом не построишь дом. И это, пожалуй, правильно. Вначале, когда Василий Фирсов стал богатеть, говорили же люди, что он хапнул где-то клад. А потом по хутору пополз другой черный слушок. Передавали его обыкновенно шепотом, на ухо, воровато оглядываясь.

История эта была такова. Года за два-три до того, как Василий Фирсов начал строить себе дом, амбар и постепенно обзаводиться другими надворными постройками, а затем прикупать скот и землю, нанялся он гуртовщиком к известному на юге России шибаю Антону Парамонову. Тысячные гурты скота, по дешевке закупленные па Донщине, в Сальской степи, Парамонов гонял куда-то на север,

где сбывал с большим барышом. После хорошей выручки он не прочь был покутить, тряхнуть купеческой удалью, покуражиться. Бывали случаи, когда он даже в присутствии званых именитых гостей устраивал шумные скандалы, но все ему сходило с рук. Войдя в раж, он со слезами на глазах вспоминал свою прошлую мужицкую участь, кому-то грозил, сквернословил.

— Я вам, господа, не прощу этого! — пьяно орал Антон, обращаясь к почтенному обществу. — Вот нате, глядите, любуйтесь, ваши благородия и ваши степенства, какие я принял мучения за правду народную!.. — Он бесстыдно оголял ниже спины старые багрово-синие рубцы иссеченного тела.

Дамы испуганно визжали, закрывались платочками или веерами, выскакивали из зала. Мужчины, потные и красные от вина, смущения и еле сдерживаемого смеха, толпились вокруг разбушевавшегося купца, наперебой уговаривали надеть штаны и остепениться.

— Нет, глядите, я вам говорю! Любуйтесь! Это дело ваших беленьких рук! Это вы когда-то заставляли своих холуев сечь розгами Антошку-голодранца! А теперь за мой стол претесь! Мне не жалко — жрите, пейте! Я теперь всех вас вместе с потрохами могу десять раз купить и перепродать!.. Нет, брешете, я теперь вам не Антошка-конокрад, а купец первой гильдии Антон Прохорович Парамонов!..

К этому-то купцу-прасолу, бывшему конокраду, и вошел в доверие гуртоправ Василий Фирсов. Он несколько раз гонял с ним на север табуны закупленного скота, помогал продавать, а на обратном пути старательно прислуживал дурившему во хмелю хозяину. Молчаливый, угрюмый, помедвежьи сутулый и сильный, Василий по-собачьи преданно охранял купца, часто на руках относил его мертвецки пьяного в кровать, раздевал и укладывал в постель.

Однажды в Воронеже Антон Парамонов после недельной попойки внезапно скончался. При нем не оказалось ни рубля, хотя в тот вечер, когда Василий отвез его в номер гостиницы, шибай, бахвалясь в честной компании, не раз потрясал перед глазами всех пухлым кожаным кошельком.

Началось следствие. Василия Фирсова арестовали и посадили в камеру предварительного заключения, но через месяц за неимением улик выпустили. Василий возвратился в хутор. Года два жил в саманной хатенке, ничем не выделялся от соседей. И только на третий год начало быстро расти хозяйство Василия Фирсова.

«Неужто всурьез народ брешет, что купеческие денежки все-таки прилипли к Васькиным рукам? — мучился в догадках Никита Сазонов. — Выходит, вор у вора дубинку хапнул. Ну бог с ним, с богатством таким... Обидно только, что Васька дюже загордился, знаться не хочет. А кажется, недавно парнями на улицу ходили, вместе за девчатами ухаживали. Даже когда семьями обзавелись, то продолжали дружить — всегда между нашими дворами была протоптана прямая дорожка. Новоселами стали — землянки рядом построили. Сейчас же Василий загордился. Лет пять уже не открывает двери моей хаты, да и сам забыл о былом гостеприимстве. Только вот еще детвора бегает друг к другу. Улька и Настя — неразлучные подружки. Сам же Васька недобрым стал человеком и скупым до невозможности...»

Никита Иванович вспомнил, как в позапрошлом году, во время весеннего сева, у него не хватило зерна и он попросил у Василия взаймы пуда три семенной пшеницы. Тот долго мялся, тянул, затем вдруг вспылил, обругал Никиту, наговорил много незаслуженно обидных слов и, наконец всыпав в мешок меру перемешанного с землей и викой зерна, толкнул ногой оклунок:

— На, возьми! С урожая отдашь! А «спаси Христос» себе за пазуху положи. Ты вот лучше пришли своих девок денька на два кизяки полепить, а то навоз перегорает.

«Не-ет, я теперь к нему и ногой не вступлю во двор, — угрюмо рассуждал Никита, возвратившись домой. — Лучше к чужому пойти, тот хоть в душу не полезет, не станет ковырять болячку: как, мол, так — не старец, а попрошайничаешь, как последний цыган... Сдохну, а кланяться больше ему не буду».

И действительно, как ни ломала судьба обедневшего многодетного мужика, как ни корежила нужда Никиту, он ни разу больше не обратился за помощью к своему бывшему дружку. При случайных же встречах, не здороваясь, с подчеркнутой независимостью проходил мимо Василия.

И все же Никита Иванович не избежал встречи с зазнавшимся богатеем-недругом. А толкнул его на это Афонька Чумаков. Видишь ли, вздумал он, чудак, жениться на дочери своего хозяина и чуть не слезно стал упрашивать Никиту Ивановича, чтобы тот согласился пойти сватом, а потом на свадьбе быть за посаженого отца.

Как ни отказывался, как ни упрямился Никита Иванович, пришлось все-таки дать свое согласие.

На третий день пасхи, пополудни, в доме Фирсовых появились нежданные гости.

Смело переступив порог, первой вошла в горницу Марфа Даниловна. Под ее твердой и тяжелой поступью разноголосо заскрипели половицы. Никита Иванович что-то замешкался в сенях, и, когда захлопнул за собою дверь прихожей, Марфа Даниловна, перекрестившись на иконы, уже отвешивала низкий поклон. Поздоровалась она весело и торжественно:

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — эхом отозвалась хозяйка, поднимаясь с лавки навстречу гостям.

Старые товарки и кумушки Марфа Даниловна и Алена Петровна похристосовались: обнялись, три раза поцеловались в губы и обменялись крашеными яйцами.

— Антоныч, вставай, гости к нам пожаловали.

— Какие там гости? — сонно отозвался хозяин, приподнимаясь с сундука. — А-а, вон кто приперся!.. Каким это ветром занесло вас сюда?

— В добрый дом и ветры попутные веют, — нежно пропела Марфа Даниловна, незаметно подталкивая в спину мужа.

Бывшие приятели и кумовья поздоровались сдержанно, холодно пожав друг другу руки.

Заспанный хозяин, нося осовелыми глазами куда-то в сторону, не зная еще цели прихода нежданных гостей, хрипло пробурчал:

— Ну чего топчетесь у порога? Проходите в горницу, ежели вздумали принести... как ее... визиту.

— Мы не визиту тебе принесли, у нас таких штук не водится, мы люди бедные, а с делом пришли, — загорячился было Никита Иванович.

— Какие могут быть дела в годовой праздник? — насупился хозяин, угрюмо косясь на гостей. У него спросонок болела голова, тошнотный ком подступал к горлу, и он чувствовал себя совершенно разбитым после вчерашней попойки.

«Наддал же черт меня связаться с этими баламутами», — с досадой думал Василий Антонович, вспоминая вчерашнюю компанию. Правда, и отказать-то было нельзя. У Якова Картушина несчастье случилось: чьи-то быки большую потраву сделали. Яков пришел к атаману с жалобой. Надо было составить акт и по суду или особому договору

заставить виновника выплатить Якову убыток. Василия Антоновича попросили быть понятым. Тот запротивился:

— А чего вы ко мне приехали? Свет клином, что ли, сошелся? Мало людей в хуторе? Да к тому же я не вашего, казачьего, звания.

— Звание тут ни при чем, — пробурчал атаман.

— Василий Антонович, сделай милость, поедем на пай, — стал просить Яков. — Надо урожай определить и прикинуть, какой убыток я понес. Стало быть, знающие люди должны это сделать, примерные хозяева. Им и веры больше. Садись, пожалуйста, на линейку. Поедем, посмотрим. Я в долгу не останусь, на магарыч не поскуплюсь.

Василия Антоновича не привлекал магарыч. Но, выслушав Якова, он рассудил: «Дело такое: нынче он попал в беду, а завтра со мной это может случиться. Надо выручать друг друга, а то в одиночку всякий голодранец может тебя по свету в одних портках пустить».

Больше Василий Антонович не стал отказываться, дал согласие. Вчера-то он согласился, а вот теперь свет не мил — голова на части раскалывается. И старик не рад был ни вчерашней компании, ни сегодняшним гостям. Но все же, поборов свою пьяную немощь, он пригласил гостей в празднично прибранный зал. Там все чинно расселись на стулья. Старые подружки сейчас же завели тот беспорядочно-торопливый, горячий разговор, которому конца-краю не бывает.

«Наверно, с какой-нибудь просьбой пришли, попрошайки несчастные», — угрюмо думал хозяин, исподлобья косясь на непрошеных гостей.

В горницу, потеряв терпение, на минуту заглянула Настя. На ее возбужденном, пылавшем, как в огне, лице и в горящих, широко открытых глазах Марфа Даниловна успела уловить сложную путаницу девичьих чувств: и нетерпеливое ожидание, и боязнь грядущего момента, и несдерживаемую радость, и какую-то тайную, трудно скрываемую тревогу.

Не успела еще Настя закрыть за собою дверь, как перед самым окном горницы кто-то медленно прошел.

«Видать, Афоня себе места не найдет, — догадалась Марфа Даниловна. — Эх, детки вы мои горемычные, мучаются... Ну ничего, я сейчас начну...»

Марфа Даниловна ловко перевела разговор в нужном ей направлении.

— Ну, дорогой куманек Василий свет Антонович, и ты, кумушка, пришли мы к вам недаром и не от злого ворога

и супостата окаянного, — зачастила она на старинный лад, — а пожаловали мы посланцами от доброго молодца, от ясного соколика, от купца-удальца по дюже важному делу торговому.

— А-а, вон оно что!.. — обрадованно крякнул хозяин, потянувшись в угол, к божнице, где за иконами была припрятана бутылка казенки. — Так бы и начала с этого. Выходит, дело магарычное... Мать, ну-ка давай сюда рюмки, стаканы и всякую другую приправу. Собери на стол. Живо!

— Свят, свят! Идол-то старый!.. Куда захоронил свое зелье! — всплеснула руками Алена Петровна и набожно перекрестилась на иконы. — Бога бы побоялся...

— Э-э, мать, бог-то бог, да не будь сам плох! Собирай, тебе говорят, скорее на стол!.. Ну, Марфа, выкладывай, что твоему купцу надобно. Может, и столкуемся.

— Прослыхали мы, — продолжала Марфа Даниловна,— что у вас водится дорогой товар, красна девица, а цены вы ему не сложите и купца по нем не разыщете. А как у нашего-то купца-молодца хоть и нет в этих краях ни богатой казны, ни палат белокаменных, но зато у него сердце пылкое, ум смекалистый, нрав покладистый, глаз приметливый, рука — золото червонное...

— Постой, постой! Ты брось свои прибаутки да присказки молоть! — с досадой перебил красноречивую сваху Василий Антонович. — Ты толком и короче обскажи — от кого пришли?

Сваха, не обращая внимания на окрик, продолжала бисером рассыпаться перед неучтивым Василием Антоновичем и молчаливой Аленой Петровной.

«Вот чешет, вот строчит, чертова баба, как, скажи, машинка ножная строчку шьет разными нитками! — восхищался про себя Никита Иванович, прислушиваясь к витиеватой речи расходившейся свахи. — И где она такие слова берет? Недаром народ брешет, что моя Марфа сумеет высватать любую девку даже за паршивенького женишка... Ну, Афонька, благодари бога, что Марфа взялась за это дело. Она сейчас в один момент все обстряпает».

Сваха, устав от собственной трескотни, наконец коротко сообщила и цель своего прихода, и от кого они посланы.

В горнице внезапно наступила мертвая тишина. Василий Антонович побледнел, а потом медленно стал наливаться кровью. Лишившись от возмущения голоса, старик засипел:

— Что-о! Сваты?! От кого? От Афоньки? Хо, вот это здорово! Зачем нужна такая свадьба? Нищих по миру пущать? Не-ет, я не лиходей своей дочке. Брешешь! — набро-

сился старик на лепетавшую сваху. — Настя, говоришь, согласная? Как — согласная? А ты откудова знаешь? Вон оно что! Сводней, стало быть, занимаешься, паскуда проклятая!..

Старик задохнулся от бешенства, в диком отупении тараща налитые кровью глаза то на опешивших сватов, то на смертельно побледневшую дочь, снова показавшуюся у двери горницы. И вдруг, набирая силу в голосе, рявкнул:

— Вон! Вон отсюдова! Вон, говорю, к чертовой матери из моего дома с такими дурацкими песнями! Вон!..

И как только оскорбленные сваты, пятясь, захлопнули за собою дверь, обезумевший старик бросился с кулаками к зарыдавшей дочери.

— А ты что, дура, ревешь? Что, спрашиваю? Как ты сказала, а? Уйдешь с Афонькой? Ага, вон как! Запорю! Запо-рю-у сукину дочь! Живого места не оставлю!.. — орал старик, трясясь как в лихорадке.

Настя, закипая такой же яростью, как и отец, вскинула голову и, блестя мокрыми от слез глазами, бледная и дрожащая, решительно шагнула через порог:

— Нате бейте! А я все равно уйду! Поняли? Уйду!

— Тю, осатанела девка! — изумился старик, пораженный неожиданной смелостью и отчаянной решимостью Насти.

Встретившись с непреклонными, горящими ненавистью глазами дочери, он осекся, обмяк, жалко задрожал побелевшими губами, униженно запросил:

— Настюшка, да ты что мелешь? Опамятуйся!.. Как это так — уйдешь? Куда, спрашивается?.. Не срами нас! Не пара он тебе. А может... — вдруг кольнуло в сердце старика страшное подозрение. — Может, он тебя уже обгулял? Спала ты с ним, чертова дочь, а?!

— Антоныч, да ты сам осатанел! — заголосила Алена Петровна, приходя в себя. — Бога побойся! Разве можно дитю такую пакость говорить? Опамятуйся сам, бог с тобой!

— Замолчи ты, старая потатчица! Вот принесет в подоле, тогда будет тебе «па-а-кость», «бога побойся»! Обрадуешься тогда, паскуда старая!

Через полчаса Афанасий, вскинув за плечи мешок с немудреными батрацкими пожитками, ушел со двора Василия Антоновича Фирсова. Настя только успела ему в сенях шепнуть: «Афоня, далеко не уходи. Спытай работу у Букреевых. Я все одно...» Появился отец, и она убежала в

сарай, упала там на охапку старой соломы и долго горько рыдала.

Василий Антонович, закрывая за Афанасием высокие тесовые ворота, густо натертые перед праздником желтым камнем, облегченно вздохнул, перекрестился и с нарочитым участием спросил:

— Ты куда же направляешься?

Афанасий нехотя обернулся и, обходя глазами старика, скупо ответил:

— Куда глаза глядят.

Василий Антонович перехватил тоскующий, злой взгляд парня. От этого взгляда у старика похолодело в груди.

«Еще, чего доброго, сукин сын красного петуха под крышу запустит», — с тревогой подумал Василий Антонович. Подавив волнение, он снова заговорил, но в приохрипшем голосе его уже послышались более мягкие нотки:

— Ты, может, нынче переночевал бы тут, на хуторе, а уж завтра утречком отправился бы...

— Ничего. С ночлегом я как-нибудь сам устроюсь.

— Смотри, тебе виднее. Я хочу как лучше...

— Спасибочко и на этом. Вы и так меня ублаготворили, что теперь вашей доброты да милости, пожалуй, и в мешке не унесешь...

На эту злую насмешку старик не обратил внимания и благожелательно продолжал:

— Ну с богом. Не поминай лихом. Ты не дюже убивайся и зря не горюй. Ты парень работящий, не пропадешь. А теперь иди к букреевским сараям, а нет — на Маныч. Лучше, конечно, на Маныч: там, сказывают, можно скорее найти работенку.

— Вон ты, дядя Василий, какой доброхот, — невесело, одними губами, улыбнулся Афонька и, желая хоть напоследок зло уязвить хозяина, добавил: — Далеко я отсюдова уходить не собираюсь. Все одно — поздно али рано, а мне придется за вашим хозяйством приглядывать. Сами просить будете.

Подобной издевки старик не ожидал от своего бывшего работника. Не говоря больше ни слова, он грохнул воротами, трясущимися руками задвинул засов и, чертыхаясь, огрел сапогом подвернувшуюся под ноги супоросую свинью. Тонко визжа, свинья заковыляла по двору. Из-под ног старика с оглушительным криком и кудахтаньем полетели в разные стороны перепуганные куры, тревожно заголосив, рассыпав дробный топот, шарахнулись голошеие индейки. И только один старый, матерый индюк не потерял присут-

ствия духа. Увидев, как нерешительно остановился посреди двора чем-то взволнованный хозяин, он храбро выступил из-за сарая и, гневно топорща перья и раздувая красный хоботок гребня, угрожающе заулюлюкал. И хозяин, словно испугавшись его гнева, круто повернул в дом.

ГЛАВА X

Петухи откричали вечернюю зарю. На хутор стремительно опустилась южная ночь. В густой темноте кое-где зажелтели мерцающие огоньки. Взметая с дороги пыль, коловертью ходил суховей.

Афанасий в горьком раздумье остановился в проулке, сбросил с плеч мешок, медленно вытер со лба пот. Прислонившись спиной к забору чьего-то двора, огляделся.

В проулке было тихо, пустынно. Перед глазами, на сером фоне неба, упруго кланялись макушки пирамидальных тополей. Где-то далеко на востоке, сбоку широкого, как степной шлях, Млечного Пути, потерянной подковой ржавела луна.

Куда идти? Что делать? Пойти к Букреевым он и теперь не решался. Здесь же, на хуторе, наняться не к кому. Кроме Василия Антоновича, всего лишь два хозяина — Яшка Картушин да атаман Влас Богомолов — держали круглый год работников и могли бы, конечно, взять на лето и Афоньку. Но они, боясь испортить отношения с Василием Фирсовым, наверняка откажут ему. Остальные же хуторяне не только не нуждались в работниках, но многие из них сами ходили на поденную работу к Букреевым. Что же теперь делать? Куда податься? Впрочем, об этом можно подумать и завтра, а сейчас нужно где-то переночевать. К Сазоновым идти он не хотел. Своим сватовством он и так принес им много огорчений. Перебирая в уме имена близких знакомых, Афанасий остановился на молодом казаке Осипе Топилине.

Странная дружба связывала этих двух совершенно непохожих друг на друга парней — Афанасия и Осипа.

Маленький, рыжий, неказистый на вид Осип не по летам был рассудителен в житейских вопросах и на редкость цепок в работе. Все его помыслы и сокровенные желания сводились к одному: разбогатеть, нанять себе работников и стать примерным хозяином. Но проклятая нужда, как назло, не давала роздыху парню. Оставшись после смерти отца полновластным хозяином, имея лошадь, корову и пару волов, Осип с неутолимой жадностью въелся в свое хозяйство. Вот уже третий год с большим старанием обрабатывал

до восьми десятин своего казачьего пая (на большее у него не было сил). Скудного урожая, собранного в засушливой степи, едва хватало на то, чтобы кое-как прокормить мать да двух малолетних сестренок. Однако непоборимая гордость хозяина ни на минуту не покидала Осипа, и он с нескрываемым презрением относился ко всем тем хуторянам, кто, отчаявшись тягаться с нуждой один на один под собственной дырявой крышей, бросал все и шел в поисках долгожданной удачи в работники к другим.

«Эх, пропащий человек! — с презрительным сожалением отзывался Осип о таких людях. — Как это так — бросать землю и переться черт знает куда, ежели только одна она может силу тебе в руки дать? Не-ет, я лучше с голоду сдохну, а от своей земли никуда не пойду».

И он был верен своему слову. Даже в прошлый засушливый год, в тяжелые дни затянувшейся зимы, голодая, Осип упрямо не шел в наем и запрещал матери ходить в люди. Но та, страдая от какой-то жестокой женской болезни, все же тайком уходила к богатым соседям, выпрашивала какую-нибудь черную работу и, подавляя стон, гнула свою изуродованную спину в непосильном труде, зарабатывая кусок черствого хлеба или лохмот поношенной одежонки для полураздетых и голодных дочурок.

Осип, когда замечал это, возмущался, требовал от матери, чтобы она не смела ходить на поденку.

— Мы не старцы, не нищие! — кричал Осип.

Но однажды, увидев, как голодные, исхудавшие за зиму сестренки с наивной детской радостью рвали из рук матери принесенные куски хлеба и, давясь, жадно глотали их всухомятку, Осип поспешно отвернулся и, чертыхаясь, хлопнул дверью, выскочил на баз.

После этого он еще пуще прежнего стал вгрызаться в работу, день и ночь пропадая на базу: чинил инвентарь, упряжь, бережно просеивал на грохоте скудные запасы семенного зерна — рьяно готовился к весенней и летней страде.

С Афанасием свел его странный случай. Как-то Афонька доставил на хуторской ветряк хозяйский ячмень. Вскоре сюда же прибыл и Осип. Он привез для помола всего лишь один мешок суржи. Увидев целую гору чувалов на подводе Афоньки, ахнул. Ждать своей очереди придется почти целый день, а ему, хоть кричи, нынче же надо было съездить еще в кузницу, оттянуть лемех плуга. И он решил смолоть вне очереди. И как только мельник хрипловато крикнул откуда-то из глубины мельницы: «Эй, кто там?! Чья очередь? Засыпай скорей в ковш, а то камень на холостом ходит!»,

Осип торопливо вскинул на плечо мешок и, вихляясь на ногах, заспешил к двери мельницы. В это же время Афонька, взяв под мышки два чувала ячменя, тоже шагнул на порог. У двери столкнулись. Осип с трудом устоял. Задыхаясь под тяжестью мешка, оранул:

— Чего толкаешь? Видишь, я несу!

— Очередь же моя, — спокойно ответил Афанасий, — а толкнул невзначай.

— Какая могет быть очередь, ежели я хозяин, а ты кто такой? Работник! Подождешь, у тебя не горит. — И Осип снова сунулся в дверь.

— Не-ет, постой, дружок! Таких хозяев мы видали да через себя кидали. Соблюдай очередя. — Афанасий загородил дорогу.

— Пусти, мужик, а то вдарю! — хрипел Осип, свирепо таращa из-под мешка налитые кровью глаза. — Пусти, тебе говорят! Вдарю! Ну?.. — И он, качнувшись, неловко толкнул мешком Афоньку.

— А-а, ты вот как! Драться? — бормотнул с досадой Афонька и, опустив чувалы к ногам, сгреб в охапку Осипа. С усилием приподнял его вместе с мешком, отнес к подводе. — Вот стой тут и не рыпайся, покуда тебя не позовут.

Ошарашенный Осип уронил мешок. От обиды и великого стыда на его веснушчатых скулах полыхнул румянец. Проклятые слезы совсем убили парня. Отвернувшись от мельницы, он кусал губы, с колючей болью в горле глотал непрошеные слезы.

Афанасий смущенно улыбнулся, гмыкнул и легонько тронул плечо Осипа:

— Чудак-парень, чего ты взъерепенился? Ежели тебе, скажем, скоро надо, сказал бы толком. А то полез нахрапом. Иди неси мешок, я подожду. Чего стоишь? Иди, говорю. Ну? А то давай помогу. — И, не дожидаясь согласия Осипа, взял мешок, понес на мельницу.

Осип понимал, что он не прав, и тем горше ему было.

Досадуя на себя, он вытер рукавом глаза и, обретая мужество, подошел к Афанасию:

— Вот что, браток, ты уж того... не серчай. Я тут малость погорячился. Позабудем об этом, а?..

И с того времени неведомая сила потянула их друг к другу. Они часто спорили, иногда ссорились, но снова мирились и по-прежнему оставались неразлучными друзьями.

И вот теперь Афанасий, стоя в пустынном проулке и перебирая в уме имена знакомых, у кого можно было бы переночевать, остановился прежде всего на Осипе. Жил тот

на казачьей стороне хутора, на западном берегу мелководной речушки Подпольной, перерезавшей хутор узкой мутнозеленой полоской. Летом она во многих местах пересыхала, зарастая осокой и камышом, но весной от таявших снегов и редких грозовых дождей вздувалась, и не каждый хуторянин рисковал в это время переходить ее вброд. Поэтому Афанасий, вскинув на плечи мешок с пожитками, отправился к Осипу в обход, на гать. У знакомых ворот встретила его шустрая собачонка, раза два тявкнула и сейчас же заюлила у ног. В окошке саманной хаты мигал желтый огонек. На скотном дворе слышались приглушенные голоса.

Афанасий окликнул хозяина. Из темноты база нехотя отозвался чей-то голос:

— Кто там?

— Осип дома?

— Я тут. А кто это?

— Выдь на минутку.

Усталой, разбитой походкой подошел к Афанасию Осип.

— А-а, это ты, Афоня? Здорово! Ты чего по ночам блукаешь?

— Да вот пришел к тебе проситься переночевать. Хозяин выгнал.

— Как — выгнал? За что? — удивился Осип.

— Видишь ли, получилась такая петрушка.

Афанасий кратко рассказал историю своего сватовства. Осип как-то безразлично и даже холодно отнесся к неудаче своего дружка, хотя участливо предложил:

— Ну что ж, давай заходи в хату. Место найдется... Живи хоть сколько угодно... — И, помолчав, горестно добавил: — А у меня, браток, большое несчастье. Бык у меня на базу сдыхает...

— Сдыхает? А чем захворал? Степку-коновала скорее покличь. Он в скотиньей хворобе дюже хорошо понимает.

— Нет, пользы мало. Бык-то не от болезни захворал — Яшка Сыч его запалил.

— А как твои быки к нему попали? Зачем давал?

— Да я не давал, он сам захватил. Понимаешь, дернул меня черт в воскресенье, опосля разговенья, послать сестренок пасти на выгоне быков. Ну, детвора, чего с них спрашивать... пустили быков, а сами заигрались и не видали, как Мурый перебрел Подпольную и в потраву залез к Сычу. Там у него озимка, что ли, была. Откуда ни возьмись — сам Яшка на коне. Отпорол первым долгом кнутом девчушек, а потом быка погнал во весь дух в степя. Верст десять скакал, проклятый, пока бык не загорелся и не упал

на землю. К вечеру я нашел его аж за Бирючьей балкой и насилу поднял на ноги. Еле дотащил домой. А теперь лежит он и уже третьи сутки ничего не жрет, только одну воду глушит... Словом, загубил, вражина, быка. Да еще атаману пожалился, и мне теперь с нового урожая расплачиваться. Эх, жизня, будь ты проклята!.. — Осип зло выругался. Потом окликнул мать: — Мама, проводи Афоню. Пойди, браток, в хату, а я еще побуду с быком.

Сгорбленная женщина провела Афанасия в хату. Там пахло настоем каких-то лекарственных трав, копотью лампадного масла. Перед иконами на божнице тускло мигал огонек. За печью на широкой деревянной кровати еще не спали девчушки. Они кутались в старое лоскутное одеяло. Увидев у двери чужого человека, заплакали.

— Да замолчите хоть вы, ради бога! — сокрушенно прикрикнула мать. — Чего ревете? Это же дядя Афоня пришел. — И, обращаясь к Афанасию, пояснила: — За потраву Яшка, сукин сын, побил кнутом, прямо до крови порассекал спины. И теперь они, как только увидят чужого, так и кричат... Я тебе, Афоня, постелю в прихожей, вот тут.

Афанасий долго не мог заснуть. «На черта мне нужно его добро? — зло думал он о своем бывшем хозяине. — Дались ты им! Завтра вот пыхну я отсюдова — и только меня видали. — Но тут же другое: — А как же Настя?..» В ушах снова страстный обнадеживающий шепот: «Афоня, далеко не уходи... Я все одно...» Мысли смешались... Ему стало казаться, что если он теперь уйдет отсюда, то навсегда потеряет Настю. «Разве и в самом деле завтра пойти к Букреевым! Спрос не ударит в нос... А что, ежели Букреев не примет меня, прогонит? Ведь он помнит о том случае, когда я расправился с его дружком, приставом... Куда я подамся?»

Под утро Афанасий забылся тревожным, беспокойным сном. Очнулся он от какого-то крика. В припадке отчаяния билась на кровати мать Осипа, тягуче причитая. Разноголосо визжали перепуганные девчушки. Осипа в хате не было. Афанасий вначале не мог понять, что случилось, а когда догадался, поспешно выскочил во двор.

Косой луч утреннего солнца ослепил его. Жмурясь и закрывая глаза ладонью, он кинулся на баз. Там Осип, засучив по локоть рукава рубахи, свежевал окоченевшего быка.

— Ну что? Сдох али прирезал?

— Сдох... — глухо отозвался Осип, медленно поворачиваясь к Афанасию. Бесконечно усталым движением руки он приподнял козырек выцветшей казачьей фуражки и, вытирая тыльной стороной ладони потный лоб, пояснил: —

Все ждал, авось отдышится. Рука не подымалась резать... А зараз шкуру снимаю...

— Давай помогу.

К полудню управились с быком: тушу зарыли в огороде, а шкуру, просолив, растянули под навесом сарая. Здесь же, на охапку свежего сена, пахнувшего смолистой горечью полыни и душистым чебрецом, упал измученный Осип и сразу же заснул.

— Эх, родной мой, как убиенный, — тихо вздохнула мать, бережно прикрыла от мух лицо Осипа снятым с головы платком. — Трое суток не смыкал глаз, ни на шаг не отходил от быка, замучился, сердешный.

В тот день Афанасий никуда не пошел. Почти до вечера он провозился на базу: напоил быка и кобылу, скосил на задворках охапку молодого бурьяна, бросил в ясли. Управившись с уборкой на базу, стал помогать Осиповой матери складывать в клетки подсохшие кизяки. Когда же завечерело и старуха, отослав девчушек на выгон за теленком, ушла к ветряку встречать корову, Афанасий разбудил Осипа. Тот вздрогнул от толчка, поспешно сорвал с лица влажный, пропотевший платок:

— Ты чего?

— Пора вставать, а то голова заболит, вишь, солнце уже скоро за бугор скроется.

— Вот это я храпанул! — удивился Осип, торопливо поднимаясь с примятой травы. — Даже не помню, как я заснул. Дюже уморился... Ну а ты где был?

— Нигде я не был. Думки раскорячились — не знаю, куда податься. Покуда ты спал, я похозяйничал у тебя на базу, малость подмогнул тетке Фене.

— Вот спасибочко. Мать теперь от хворости совсем обессилела, цебарку воды не вытащит из колодца. За подмогу еще раз спаси Христос.

— А, пустяки. Мне же все одно теперь нечего делать, вот я и размялся у тебя на базу... Твои соседи начали пытать, не в работники ли я нанялся к тебе.

— Да ну? — почему-то обрадовался Осип. Его сухие обветренные губы весело дрогнули, и в печальных заспанных глазах огоньком вспыхнула чуть заметная улыбка.

На одно короткое мгновение он почувствовал себя хозяином. Но где уж ему помышлять теперь о работниках, когда самому в пору идти в наем. Много ли наработаешь на одном быке да кобыленке?

— Нет, Афоня, — вздохнул Осип, — мне зараз не до работников. Я даже понятие в голову не возьму, что мне и

делать. Своими силами теперь я не потяну не только плуга, но даже арбу...

— А ты знаешь что, Осип? Пойдем-ка завтра вместе наниматься в работники к Букреевым, а?

— Тю, да ты что, сдурел? — удивился Осип. — Куда же я пойду от хозяйства? Это вам, мужикам, легко — ни кола ни двора. А нам, брат, нельзя. Мы, казаки, имеем свою землю, и нет нужды искать в поле ветру. Нет, нет, не уговаривай и слов зазря не трать. Я как-нибудь сам выбьюсь из этой беды...

ГЛАВА XI

Не оправдались расчеты Осипа. Лишившись вола, он надеялся выйти из затруднения и справиться с нуждой-лиходейкой сам, без посторонней помощи. Не отвечая на протесты и слезы матери, он взналыгал корову и спарил ее с оставшимся быком. За две недели Осип кое-как приучил корову ходить в ярме. Но работа на такой паре оказалась плачевной. Стоило только выпустить из рук налыгач, как даже подвязанный в упряже бык круто заламывал корову, сбивал в сторону, с борозды или с дороги, и надо было снова хватать налыгач, торопливо хлестать кнутом выбивавшуюся из сил коровенку, чтобы не колесить на одном месте, а двигаться вперед.

— Осюшка, родной, ты полегче с Комолой, не бей, не хлестай ее по бокам, а то она, не дай бог, скинет... оголодит тогда нас, — тревожно нашептывала старуха, хватаясь за рукав сына, но тот высвобождал руку и настойчиво взмахивал кнутом.

Рассвирепевший бык враждебно косил налитый кровью фиолетовый глаз, угрожающе сопел, бодливо взмахивал круторогой башкой и упрямо давил в сторону.

— Ну нет, этим меня не возьмешь, — цедил сквозь зубы Осип, беря в руки налыгач и кнут. — Все одно ты у меня будешь ходить с Комолой.

И Осип все-таки добился своего. Правда, раньше с обязанностями погонычa легко справлялись сестренки Осипа, теперь же задерганная корова и ошалевший вол не понимали ни кнута, ни крика, ни плача девчушек — тянули в разные стороны.

— Ничего, мамаша, все-таки и на такой паре работать можно, — настойчиво твердил Осип. — Только вам самим придется со мною теперь в степь и на поля ездить заместо погоныча.

— Да я чего... с дорогой душой, — отвечала мать, скрывая мучительную боль в пояснице. — Я выдюжу. Да вот Комолую жалко. Загубишь ты ее.

— Ничего, не загублю... Надо же как-то уйти от проклятой нужды...

Но беда неотступно кралась по пятам упрямого парня. Однажды мать, собирая ужин, всхлипнула, с укором взглянула на присевшего у стола Осипа.

— Вот и все: хлеб, соль да головка лука... Отъели молочко. Вчера Комолая с кружку дала, а нынче совсем отбила... С голоду теперь придется подыхать!.. — заголосила мать, закрывая болезненно-желтое, морщинистое лицо краем фартука.

Согнутые плечи ее мелко вздрагивали. Она враждебно глянула на неподвижно сидевшего сына и вдруг низко поклонилась ему:

— Спасибочко, сыночек, сделал-таки из коровы быка!.. А я как просила! Ведь дети малые...

Осип крякнул и, не притронувшись к еде, молча встал из-за стола.

Но ни голод, ни острая жалость к матери и сестренкам не смогли сломить и на этот раз упрямство Осипа. Исхудавший, обросший редкой желтоватой щетиной, он день и ночь пропадал в поле или на базу. Вся надежда у него была на новый урожай. Из восьми десятин посева почти половина находилась в лощине, где дольше всего задержался снег. Всходы там были дружные, сулили хороший урожай. Даже полыхнувший перед самым созреванием хлебов, в момент цветения и налива, жаркий юго-восточный суховей почти не коснулся этих десятин, и колос вышел полный, зернистый, ядреный — издали радовал глаз.

«Вот оно богатство! — весело подумал Осип, бережно разминая в жесткой ладони сорванный колос и пробуя на зубах мягкое и клейкое зерно. — Вон какая красавица бурунами по лощине ходит! Закромов в амбаре, пожалуй, не хватит. Осенью непременно быка другого прикуплю».

Однако не оправдались и эти расчеты Осипа. Незадолго перед жатвой неожиданно появился у Осипова пая озабоченный Яшка Картушин. Он медленно объехал весь посевной клин, в лощине слез с лошади, восхищенно оглядел тяжелые переливы почти вызревшей пшеницы, затем деловито, по-хозяйски, обмерил шагами облюбованный участок, сел в седло и неторопливо уехал.

В тот день Осипа вызвали в хуторское правление к атаману.

Оставив под сараем недоструганный грабельник, Осип отправился вслед за сидельцем.

У крыльца правления, на солнцепеке, одиноко стояла привязанная к старой груше чья-то гнедая лошадь. Подпруги были свободно отпущены, стремена закинуты на кожаную подушку казачьего седла. Вокруг лошади гудел рой назойливых мух и оводов. Бряцая удилами, она беспрерывно взмахивала головой, хлестала по бокам хвостом, яростно, с глухим звоном долбила копытами сухую, окаменевшую землю.

«Никак, Яшки Картушина маштак? — догадался Осип, тревожно оглядываясь. — Опять, наверное, будут требовать долг за потраву?»

Сняв старенькую, выгоревшую на солнце казачью фуражку, он, робея, переступил порог. Большая комната, где обычно собирался хуторской сход, была пуста. Следы запущенности были во всем. На полу — сухое крошево чебреца, оставшегося после троицы, окурки, подсолнечная лузга. Облезлые, давно не беленные стены пугали неприглядной оголенностью. Лишь на глухом простенке одиноко желтел царский портрет, густо засиженный мухами, да в переднем углу, высоко под потолком, на косом треугольнике божницы чернел в бронзовой ризе скорбный лик Христа.

Перекрестившись на икону, Осип прошел в приемную атамана. Здесь, в дальнем углу прихожей, прямо на полу, обильно политом для прохлады водой, рубился с сидельцами в карты разомлевший от жары и одуревший от безделья писарь. Он так увлекся этим занятием, что не заметил, как Осип прошел к атаману.

— Не мути, Яков, не мути, говорю, мне белый свет... — услышал Осип голос атамана и нерешительно остановился у порога.

За столом на табуретках сидели друг перед другом двое: атаман, плотный, с бурой, как мякоть переспелого арбуза, шеей, в старом, затасканном мундире с погонами вахмистра, и Яшка Картушин — молодцеватый и статный казак с большими круглыми, как у совы, глазами, в синей сатиновой рубахе, подпоясанной тонким, с набором, ремнем. Судя по оживленному разговору, оба были под хмельком.

— А я, Гаврила Андреевич, не мутю...

— Нет, мутишь! Ты меня не обдуришь, я, брат, стреляный воробей. Разве может одна скотиняка потравить такую махину, скажем, за полдня, а? Нет, ты мне, Яков, не морочь голову.

— Да я и не морочу, Гаврила Андреевич. Ежели сумле-

ваешься, так на вот, погляди акту, сам же на святой неделе подписал.

— Знаем мы эту акту. Ты же, стервец, магарычом глаза всем залил, а потом с моим писарем и подсунул ее. Всех обдурить хочешь. Но меня не проведешь, я тебя насквозь вижу. Понял?.. Вот, к примеру, эту дуру, черта ей в душу дать, ведь не зря поставил, а? — Атаман погрозил пальцем на тяжелую, зеленого стекла, винную бутылку, пьяно расхохотался.

— Верно, не зря, — спокойно согласился Яшка. — Я, Гаврила Андреевич, просто не люблю оставаться в долгу.

— Здорово дневали, — несмело поздоровался Осип, стоя у двери. — Вы меня, господин атаман, кликали?

— А-а, легок на помин! — весело отозвался тот, поворачиваясь к Осипу.

Духота и выпитое вино, видимо, разморили атамана, и он, не стыдясь своей наготы, расстегнул и мундир, и брюки.

— Проходи, казачок. — Атаман, нагибаясь, потянулся к бутылке: — На вот, выпей стаканчик.

— Спаси Христос, — отказался Осип, удивленный гостеприимством атамана. — Не к чему, господин атаман, этими делами в будни баловаться.

— Ты сперва выпей, а потом — «спаси Христос», — настаивал охмелевший атаман. — Какой тебе праздник надобно? Для вольного казака завсегда праздник. Пей, тебе говорят!

— Ну ладно, так уж и быть...

Осип, враждебно косясь на безучастно сидевшего Якова, несмело принял стакан.

— Пей! Вот это молодец! — похвалил атаман. — По-нашему, по-казацки: одним махом — и даже рукавом закусил. Хо-хо!.. Люблю казацкую ухватку! Я вот, помню, когда был молодым...

Яшка, молча наблюдавший за угощением, встал, нетерпеливо, но почтительно перебил опьяневшего атамана:

— Спасибо, Гаврила Андреевич, за компанию, а теперь давайте потолкуем о деле.

Яшка выразительно перевел глаза на Осипа.

— Ах да... — спохватился атаман. — Вот что, сынок, — обратился он к Осипу, — давай расплачиваться за потраву. Ведь твой бычок пошкодил у Якова Харитоновича.

— Да я не супротив, только хлеб-то еще не косил.

— Ну, мы люди не гордого десятка, — улыбнулся Яков, примирительно взглянув на Осипа. — Я могу взять и на корню. Наверное, зараз тебе и убирать-то нечем. На одном

быке да лошаденке много не наработаешь. Я подмогу, сам скошу и обмолочу.

Осип заколебался, не мог сразу сообразить: выгодно ли будет ему отдать на корню или рассчитаться зерном?

— А сколько же надо будет отмерить? — нерешительно спросил Осип, не глядя на Якова.

— Как — сколько? — удивился тот. — Сколько потравил, столько и отдашь: три десятины.

— Тю, дядя Яков, да на вас креста нет! Как это один бык за одно утро столько смог потравить? Смеетесь, что ли?

— Какой могет быть смех! — ощетинился Яшка. — После твоего быка нечего было косить даже на сено! У нас имеется акта, ее подписали добрые люди вместе с господином атаманом. На, читай, ежели не веришь.

— Вы не пихайте в нос эту акту. Я начхал на нее. Сам же господин атаман сказал, что ее подписали пьяные за магарыч.

— Врешь ты, молокосос! — вспыхнул Яшка. — Господин атаман ничего не говорил.

— Да-да, я, кажись, не говорил, — подтвердил растерявшийся атаман, торопливо застегивая мокрыми пальцами ржавые крючки мундира.

— Как — не гóворил? — удивился Осип. — Я же сам слыхал, когда зашел сюда.

— Знаешь что, казачок, — натужно засопел атаман, — расплачивайся-ка скорее подобру-поздорову, покуда тебя не прижучили.

Осип побледнел. На скулах вспухли крупные желваки.

— Что же вы обоя так бессовестно брешете?! Вы, господин атаман, за эти самые магарычи (Осип зло ткнул пальцем в бутылку) совесть продали. У кого же нашему брату теперь правду казацкую шукать?

— Цыц! Не смей, паршивец, со мною так разговаривать! Ишь, сукин сын, безотцовщина, какую напраслину несет! А то вот повелю посадить тебя в кутузку, тогда пошукаешь там свою правду. Ступай и зараз же расквитайся с долгом. Ну, марш!

«Нет, вы теперь у меня ничего не получите, брехуны проклятые! — озлобленно думал Осип, возвращаясь домой. — Завтра же поеду косить сам... Ничего ты у меня не получишь. Быка, гад, загубил да еще и на посев рот разеваешь! Подавишься!..»

Подходя уже к дому, Осип заметил торопливо идущую навстречу девушку. Поравнялись.

— Осип, подожди!

Осип остановился, удивленно и внимательно посмотрел на девушку, но сразу узнать не смог. Все лицо ее было закутано белым платком, оставлена лишь узкая щель для глаз. Так обыкновенно, боясь летнего загара, ходят в будни все хуторские девки и молодые бабенки. Узнать их в таком виде не легко. Осип с трудом догадался:

— Никак, Настя Фирсова?

— Она самая... Осип, я забегала к вам. Батя послал...— зашептала Настя. — Скажи, ради христа, где находится Афонька Чумаков? Как ушел от нас, так больше о нем ничего не слыхать. Люди говорили, что он у вас жил. Где он теперь?.. Батя дюже беспокоится. Зачем-то нужен...

Осип недоверчиво посмотрел на девушку, невесело усмехнулся:

— Ты, Настя, не бреши! Я все знаю. Он мне обо всем рассказал. Лучше признайся, что не батя, а ты сама обеспокоилась. Верно?

Настя потупила глаза, молча кивнула головой.

— Вот это дело другое... Только твоему горю я помочь, девка, не могу. Не знаю, где он теперь. Когда был у меня, то собирался к Букреевым. Но как ушел — так ни духу ни слуху. Нанялся он к ним али куда дальше ушел — не знаю... Ну вот тебе и на — в слезы вдарилась... — растерянно забормотал Осип. — Чего, девка, зря кричишь? Куда он денется?.. Ежели тебе он дюже нужен, я сам смотаюсь к Букреевым и разузнаю, а потом тебе гукну...

ГЛАВА XII

На пологом скате широкой балки, около заросшего камышом и осокой пруда, раскинулась главная усадьба экономии Букреева. Огромный двор, обнесенный каменной оградой, с трудом вмещал многочисленные постройки. Большой одноэтажный кирпичный дом с востока был прикрыт от суховеев палисадником, а с юга, как щитом, — двойной шеренгой пирамидальных тополей и кустами желтой акации. За домом, у пруда, свешивая к самой воде тонкие остролистые ветви, гнулись молодые вербы.

Афанасий пришел к Букреевым рано, едва лишь начали редеть лиловые утренние сумерки. В барском доме еще мертво чернели окна. В людской беспокойно мигал огонек, где-то часто хлопала скрипучая дверь, бряцали на базу ведра, мычали коровы, слышался приглушенный расстоянием человеческий говор.

За двором со злобным лаем встретила Афанасия свора борзых собак. Сейчас же, спотыкаясь, выбежал из ворот

старик. Орудуя посохом, он отогнал собак, враждебно взглянул на нежданного гостя:

— Ты кто таков? Что тебе тут надобно?

Афанасий без труда узнал в этом старике с белой, как куст переспелого ковыля, бородой букреевского дворника.

— Чего кричишь, дед Глоба? Земляков не угадываешь?

— Чума вас в потемках разберет, — уже тише проворчал тот, напряженно всматриваясь в парня. — А-а, кажись, и в самом деле земляк... Афоня, что ли?.. Эх, мил человек, раскидала нас проклятая нужда по Сальской степи, как лютый суховей перекати-поле, и гоняет без удержу с места на место. Один только твой хозяин — Васька Фирсов крепко корни пустил, ничем теперь его не спихнешь... Ну тебя зачем ни свет ни заря принесло сюда?

Афанасий не стал объяснять цель своего прихода, но попросил старика проводить его к Букрееву.

— Э-э, милок, рано ты пожаловал. Они еще не вставали. Нынче у них до вторых петухов гости были, и все разъехались перед самой зорькой. Так что придется тебе подождать. Пойдем вон туда, на завалинку у людской, посидим... Цыц вы, проклятые! — замахнулся дед палкой на громко лаявших собак. — Покою, черти, всю ночь не дают! Только и знаешь за ними теперь бегать, людей добрых оборонять.

— А зачем вы их тут держите? В псарню надо загнать.

— Нельзя, сами хозяева приказывают на ночь спущать. Видишь ли, ростовских бродяг да бунтовщиков всяких разных забоялись. На тебя, говорят, дед, теперь надежды мало, а собака — лучший друг человека... Понял, каков нашему брату почет?.. Ну да ладно, хорошо, что еще в шею не гонят, а то на старости лет где мне пристанище найти? — Старик тяжело вздохнул, присаживаясь на завалинку.

Часа через полтора Афанасий стоял перед Букреевым. Комната, служившая кабинетом, где иногда Прокопий по воле капризной жены устраивал холостяцкую спальню, была еще не убрана. Прокопий, опухший от вчерашней попойки и тяжелого сна, накинув на плечи широкий махровый халат, полулежал на диване. Почесывая волосатую грудь, он с любопытством выспрашивал парня:

— Значит, говоришь, выгнал?..

— Так точно.

— Но ты все-таки питал надежды, когда посылал сватов?..

— Питался в надеждах... — сгорая от смущения, признавался Афанасий. — Настя плакала, просила отца, но он... выгнал... Теперь она, может, сама за мной сюда придет...

— Вон как?.. Это мне нравится! — расхохотался Букреев, находя забавными наивные признания парня. — Романтическая история.

— Ваше благородие, не откажите, сделайте божескую милость. Мне отсюда никак нельзя уходить. А работать я буду вовсю, как вол...

Букреев поднялся с дивана, закурил трубку и не спеша прошелся по комнате, чему-то улыбаясь: ему положительно нравился этот парень.

— Значит, тебе отсюда никак нельзя уходить? Ну что ж, уважу — возьму в работники. Слыхал, работящий ты парень. — Букреев остановился перед Афонькой, лукаво прищурился. — Только предупреждаю: хорошо будешь работать — останешься у меня, плохо — и дня держать не стану. Понял?.. Вот и договорились... Будешь пока находиться в главной усадьбе, а там посмотрим. Цена, как и всем, — три целковых в месяц. Согласен?

— Так точно, согласный! — обрадовался Афонька.

— Ступай теперь к деду Глобе, помогай пока ему.

Во дворе Афанасий встретил Дмитрия Букреева. Тот (по интимному совету станичного фельдшера) каждое утро и вечер ходил на скотный двор и прямо из-под коровы выпивал корчажку-две теплого парного молока. Обсасывая сладкие от молочной пены усы, он крякал от удовольствия:

— Ну спасибо, девка, за этот эликсир молодости... Хе-хе!.. Полезная штука. — И Букреев, воровато оглянувшись, торопливо обнимал в углу коровника испуганную молоденькую доярку.

Возвращался Дмитрий в дом обыкновенно веселым, словно выпивал не кружку молока, а бокал шипучего вина. В таком приподнятом состоянии духа он и встретился с Афонькой.

— Гм-м... Ты кто таков? Откуда появился и что тут делаешь?

Афонька ответил.

— Вот как? — насупился Дмитрий. — Стало быть, ты тот работник Василия Фирсова, который в прошлом году выкинул из саней господина пристава?.. Да-а, смелый ты парень... Теперь, говоришь, к нам пожаловал?.. Не-ет, таких нам не нужно!..

Афанасий простодушно улыбнулся:

— Так заглавный хозяин меня уже нанял.

Дмитрий дрогнул усами, но сдержался. Привычно нащупывая короткими пальцами резную рукоять плети, висевшую на пухлой кисти руки, он зловеще процедил:

— О, ты, я вижу, весельчак!.. «Заглавный хозяин нанял...» Жаль, конечно, что так случилось. Но смотри не вздумай здесь устраивать кордебалеты... Попробуй только на кого-нибудь поднять руку! За подобную штуку я заставлю такого храбреца утробно икать, до кровавой рвоты, как на похмелье... — Букреев выразительно потряс нарядной плетью перед носом парня: — Понял?.. Вот так-то... А сейчас удались с моих глаз. Живо!..

Взбудораженный и злой, Дмитрий вломился в дом. Грохнув дверью, прямо с порога набросился на Прокопия:

— Ты что чудишь?.. Ты кого нанял?.. Бунтовщика!.. На кой черт, спрашивается, нам нужна всякая сволочь?!

— Хо-хо!.. Ну какой он бунтовщик?— расхохотался Прокопий. — Он самый настоящий теленок, вернее, вол, а нам такие нужны.

— Напрасно зубоскалишь... Я серьезно говорю... Разве мы не можем нанять кого-нибудь из тех, кто день и ночь топчется у нашей конторы, у сараев? Они за версту снимают перед тобой шапку, кланяются, за кусок хлеба рады работать. А этот хам набирается нахальства, вламывается прямо в дом, а некоторые добренькие господа, «заглавные хозяева», вместо того чтобы выгнать вон, принимают его чуть ли не в объятия... Нет, Прокопий, такая доброта нам боком вылезет...

— Ну что ты, на самом деле, шумишь?.. Парень он как парень: здоровый, крепкий, без затей... Напрасно ты волнуешься. Работать будет как вол! Вот увидишь!.. По крайней мере мои приказания он будет исполнять безоговорочно!.. Надо, батенька, уметь управлять людьми без крика, без шума и... без вот этой штуки... — Прокопий с улыбкой глянул на плеть, висевшую на руке брата.

— К черту! — хлестнул плетью Дмитрий по широкому голенищу сапога. — К черту такую блажь!.. Я ему смотреть в зубы не буду, так и знай!..

ГЛАВА XIII

Года три назад, по каким-то деловым расчетам Прокопия, контора экономии была перенесена из центральной усадьбы на северную окраину хутора Веселый Кукуй, к восточной меже обширных букреевских угодий. Здесь издавна сходились и скрещивались широкие степные шляхи, а не так давно этот пыльный узел извилистых дорог перечеркнула строгой стальной линией железнодорожная магистраль Ростов — Торговая — Царицын. Между крохотным полустанком, который сиротливо маячил в степи одинокой

деревянной будкой, и Веселым Кукуем, на полынном выгоне, под знойным и ветреным пологом неба, с самой ранней весны до глубокой осени цыганским табором располагались многочисленные отходники и разорившиеся переселенцы из различных губерний России, местные батраки и просто беспаспортные бродяги, образуя здесь своеобразный рынок найма для сальских коннозаводчиков и разбогатевших станичников. На этом бойком месте и был выстроен Букреевым большой деревянный дом с широким крыльцом и открытой верандой. Вокруг дома неприступной крепостной стеной воздвигли высокий забор с остро торчащими наверху гвоздями. Во дворе на цепь посадили одичавших от злобы собак-волкодавов. Тут же, вблизи конторы, за тыльной стороной двора, Прокопий наспех соорудил несколько саманных сараев, накрыл их старой соломой и затем великодушно разрешил всем искателям заработка, ожидавшим найма, бесплатно поселиться в них.

Люди охотно заняли сараи, где можно было хоть временно найти приют и укрытие от непогоды. Со сказочной быстротой были обжиты эти закуты. Под каждым навесом неистребимый горьковато-терпкий запах степной полыни густо смешался с тяжелым смрадом прелых онуч и грязного тряпья, с тошнотно-кислым запахом потных, давно не мытых человеческих тел, с дымной вонью табака-самосада и едкой кизячной гарью вырытых в земле очажков. Сюда же, под низкие своды темных сараев, вместе с людьми-горемыками пришли нищета и голод.

В это время либеральная газета «Приазовский край» оповестила всю Донскую область о необычной благотворительности Букреева. Малоизвестный до того сальский помещик для одних стал вдруг популярным либералом, для других — чудаком, а среди собратьев коннозаводчиков прослыл пройдохой и опасным конкурентом.

Такая разноречивая слава не смущала Прокопия. Он был уверен, что вся эта возня с сараями окупит себя и со временем даст выгоду. И действительно, даже Дмитрий, недоверчиво и почти враждебно относившийся к затее брата, потом убедился в ее преимуществе. Букреевым теперь удобно и легко было следить за пестрой толпой обитателей сараев и в нужный момент диктовать свои цены. Предусмотрительный Прокопий и тут постарался обойти возможные осложнения, которые бросили бы тень на его доброе имя. Во время найма рабочей силы он почти никогда не появлялся у сараев, поручая это скандальное дело Дмитрию. Расчет был прост: если там возникнут какие-нибудь недоразумения, то

все нежелательные последствия падут, конечно, на брата, Прокопий же останется в стороне.

— Я тебя понял: ты хочешь, как говорится, и дитя приобрести, и невинность соблюсти, — усмехнулся Дмитрий, выслушав предложение брата. — Хитер, оказывается, наш прославленный либерал... Хе-хе!.. Ну хорошо, я согласен. Мне терять нечего, про мою персону в газетах не пишут. Да я и не хочу казаться добреньким...

Получив права по найму рабочей силы, Дмитрий считал, что этим должен заниматься только он, и потому сейчас серьезно досадовал на Прокопия за Афоньку. К парню же он затаил неприязнь и даже злобу. Решил при удобном случае проучить этого дерзкого работника. Однако такой случай выпал не скоро.

За неделю перед троицей Дмитрий обычно проводил массовый наем сезонных и поденных работников на сенокос и жатву. Задолго до этого к букреевским сараям стекались сотни и даже тысячи отходников и батраков. На голом, вытоптанном, как на скотном стойле, выгоне, голодные, оборванные, толпились они, ожидая работы.

Дмитрию всегда доставляло удовольствие наблюдать картину найма. Люди, толкая и давя друг друга, бросались к нанимателю. Многие из них, обнажая головы, падали на колени, на четвереньках подползали к сапогам хозяина, протягивали черные, заскорузлые ладони, просили, молили, надрывно что-то кричали... Иной раз в этой сумасшедшей сутолоке возникали свалки, переходившие в отчаянные драки.

«Завтра поеду к сараям, возьму Афоньку с собою, пускай посмотрит и прикинет, что стоит их брат даже в базарный день», — решил Дмитрий.

Выехали утром. С востока дул горячий порывистый ветер. В сизой дымке белесого неба по-летнему жарко горело весеннее солнце. Узкая малоезжая дорога вела прямиком через обширные пастбища букреевских владений к далеко маячившей в степи острой макушке церковной колокольни хутора Веселый Кукуй. Мягко покачиваясь на кожаном сиденье тавричанской тачанки, грузно полулежал охмелевший после завтрака Дмитрий. Рядом сутулился худой и длинный, с жестким и неподвижным лицом аскета, управляющий восточным участком экономии, немец-колонист Вильгельм Рудольфович Кунсфельд. Стараясь показать хозяину свое служебное рвение, он подробно и нудно, путая немецкие слова с русскими, рассказывал о многочисленных хозяйственных делах, которые он совершил за минувшую неделю

в экономии. Дмитрий, жмурясь и прикрываясь пухлой ладонью от слепящих лучей солнца, равнодушно слушал торопливую речь немца. Потом устало смежил покрасневшие веки, неловко запрокинул на спинку сиденья голову и, всхрапывая, уснул. Кунсфельд с чувством исполненного долга умолк. Несколько минут тупо глядел на безмятежно храпевшего хозяина. Затем, подумав, не спеша снял свою мягкую войлочную шляпу и бережно прикрыл багровое лицо Букреева.

Впереди, высоко на козлах, сидел Афонька. Встречный ветер, сухой и жесткий, упруго бил в грудь, сек лицо, словно резиновой маской сжимал щеки, шумно свистел в ушах. Вытирая рукавом слезящиеся глаза, Афонька чертыхался:

— Вот, проклятый, опять разошелся... все спалит...

Вдруг он почувствовал резкий толчок в спину. Обернулся. Сквозь шум ветра услышал:

— Ехай ошень тихо...

К полудню добрались до Веселого Кукуя. У крайнего двора безлюдного в эту пору хутора их встретила тощая подсосая сука. Она выскользнула из подворотни и настороженно остановилась у забора. Припадая на вытянутые передние ноги, выгибая длинную спину, лениво потянулась, с подвывом зевнула и равнодушно отвернулась от дороги. Но как только приблизилась тачанка, она вдруг сорвалась с места и с визгом бросилась под ноги лошадям. Испуганно всхрапнув, кони шарахнулись, бешено понеслись по улице. Вихляясь из стороны в сторону, тачанка запрыгала по бездорожью.

— Хальт! Черт тебе шкуру драль!.. — вскричал перепуганный немец, больно ударив кулаком в спину кучера.

С трудом удержав лошадей, Афонька обернулся к немцу, глухо бормотнул:

— Господин управляющий, вы меня дюже не пихайте, а то сами перевернетесь с тачанки.

Побледневший до желтизны Кунсфельд несколько минут беззвучно раскрывал и закрывал рот, точно зевая.

— Русский швайн! — взвизгнул он наконец.

— В чем дело? Что случилось? — встрепенулся спросонок Букреев, ошалело вертя головой.

Кунсфельд, взглянув на Дмитрия, еще больше побледнел. Ведь его выкрик «русский швайн» мог оскорбить национальные чувства самого хозяина. Как он мог забыться?.. Немец как-то съежился и скороговоркой пробормотал:

— Ви ехаль сараям, а я свой ногах пошель контору...

Дмитрий не успел еще опомниться, как управляющий

соскочил на ходу с тачанки и затрусил к высокому дому букреевской конторы.

— Ну и черт с тобой! — хрипло засмеялся Букреев.

Афанасий перевел лошадей на шаг и сейчас же услышал, как издалека, от черневших на выгоне сараев, донесся металлический звук: кто-то усиленно оттачивал косу-литовку. Оттуда же слышался невнятный многоголосый галдеж: низкий гудящий мужской говор, звонкие бабьи выкрики, старческий кашель, детский плач и смех.

Дмитрий оживился. Привычным движением руки разгладил взлохмаченные ветром усы, поправил шляпу. Выжидательно косясь в сторону сараев, приказал:

— Ну-ка, парень, прокати мимо толкучки пошибче... Возьми на кнут... Гони вовсю, только смотри, детишек да баб не потопчи, а то отвечать придется... — У него мелькнула веселая мысль: «Эх и поднимется же там сейчас переполох... Светопреставление начнется...»

Афанасий разобрал вожжи, вынул из-под сиденья длинный ямщицкий кнут. Взглянув на картинно развалившегося в тачанке хозяина, враждебно подумал: «Опять, наверное, над людьми зачнет измываться...» Афанасий еще раньше слышал от старого букреевского кучера, что Дмитрию всегда нравилось внезапно, как из-под земли, появляться у сараев на своей тачанке и, проскочив мимо, завернуть во двор, а потом со смехом наблюдать с крыльца дома за толпой взбудораженных людей, бежавших изо всех сил к конторе. Так и сегодня намеревался Букреев начать процедуру найма.

Но на этот раз случилось что-то невероятное. Давно уже ветер рассеял по низкорослой полыни выгона серую тучу пыли, поднятую бешено промчавшейся тачанкой, сопя и отдуваясь, взобрался на крыльцо вспотевший Дмитрий, а к дому все еще никто не бежал.

«Что за черт?.. Неужто меня не узнали?.. А может, кто-нибудь из наших доброжелателей — скажем, Корольковы, Жеребков или Трубецкие — уже успел здесь побывать? Ведь они могут перехватить всех этих работников...» — подумал Букреев, тревожно всматриваясь в толпу. Он уже решил было сам пойти туда, но в это время от толпы отделились несколько человек. У самого крыльца букреевского дома они остановились, недружно обнажили головы, вразброд поздоровались.

Дмитрий насупился.

— Вы кто такие? Что вам угодно? — спросил он, тяжело навалившись грудью на перила крыльца.

Подошедшие переглянулись, о чем-то зашептались. Наконец один из них, тот, что позже других стянул с головы засаленный картуз, решительно выступил вперед, смело заговорил:

— Мы, господин Букреев, пришли к вам узнать: сколько вы будете нанимать людей и по какой цене?

Дмитрий удивленно поднял брови:

— А ты, собственно, кто таков? Почему я тебе должен давать отчет?

Букреев без труда определил, что перед ним стоит не мужик-отходник или местный батрак, а, судя по одежде, манере держаться и разговаривать, горожанин-мастеровой.

— Мы, как видите, все работники. Пришли с вами договориться относительно найма... Народ ждет вашего ответа.

— Что-о? Народ?.. Какой народ?..

— Ну, вот мы и вон те. — Мастеровой кивнул головой на товарищей и широким жестом руки показал на толпившихся у сараев людей.

— Гм-м... А при чем тут те?.. Они кем-то уже наняты?

— Никак нет. Мы все промеж собою договорились работать десятками, стало быть, артелями. Народ нас выбрал старшими, десятниками... Рядиться о найме, цене, работе теперь вы будете только с нами.

У Букреева от изумления полезли на лоб глаза. Этого он не ожидал. Все что угодно бывало здесь: и ругань, и скандалы, и драки. Даже крепким словом мог перекрестить его, Дмитрия, какой-нибудь отчаявшийся голодранец или забулдыга-босяк. Взмах плети — и порядок был бы восстановлен... Но такого безобразия — не ждал.

— А-а... вот как... Артели!.. — багровея, процедил сквозь зубы Букреев. — Теперь, по всей вероятности, здесь командовать будете вы?.. Так, та-ак... А не слишком ли много вы, милостивые государи, на себя взяли? — Букреев повысил голос: — Не выйдет! Я здесь хозяин! И не позволю учинять у меня анархию! Артели!.. Десятники!.. Плевал я на ваши артели и десятки!.. Кто мне нужен, того я и найму. Рядиться и договариваться не буду. Какую цену назначу, такая и ваша... А вы убирайтесь отсюда вон, к чертовой матери! Я сам пойду к сараям.

Букреев решительно протопал, гремя каблуками, по ступенькам лестницы.

Десятники молча расступились перед разъяренным помещиком.

Уже за спиной Дмитрий услышал все тот же сдержанный голос мастерового:

— Братцы, не робейте! Держаться надо дружно, ничего он не сделает...

Афанасий тем временем распряг лошадей, поставил их под навес летней конюшни, бросил в ясли охапку увядшей зеленки и торопливо вышел со двора, направляясь к букреевским сараям. Он был уверен, что там встретит кого-нибудь из старых знакомых, с кем в минувшие годы вместе пришлось скитаться.

Афанасий попал в шумную сутолоку. Все возбужденно о чем-то беседовали, спорили и в то же время не спускали беспокойных глаз с конторы, куда ушли несколько их товарищей. Потолкавшись среди людей, Афанасий понял, что все возбуждены необычной затеей — разбивкой на десятки. Особенно встревожены те переселенцы, которые, не успев еще облюбовать в степи место для постоянного жительства, временно осели здесь, под крышами букреевских сараев, в надежде на случайный заработок на поденщине. Многие из них хотя и определились в артели, земляк к земляку, и выбрали десятников, но все же при найме боялись полностью положиться друг на друга.

— Где это видано было, чтобы чужой человек об тебе чи, скажем, об этом вот парнишке болел бы душой, — угрюмо ворчал тощий, с острыми скулами и трахомно-красными веками мужик, присевший у стены в узкую полоску тени. На руках у него неподвижно лежал мальчик лет шести-семи с желтовато-бледным лицом. Время от времени малыш медленно шевелил сухими, бесцветными губами, пытаясь, видимо, что-то сказать. Мужик, тревожно прислушиваясь к невнятному шепотку мальчика, тяжело вздыхал и, косясь из-под бровей на букреевский дом, рассуждал вслух: — У каждого десятника своя рубаха ближе и к своим лопаткам скорее прилипнет... Нет, сынок, надо бы нам самим туда, к конторе, пойти.

— Вот видишь, Проша, что добрые люди говорят? — укоризненно взглянула молодая бабенка на белобрысого мужика, чинившего лапти.

— Разное люди мелют, не каждого слухай, — равнодушно пробасил тот, безуспешно пытаясь связать концы перетертых лычек на дырявой пятке лаптя.

— Как — разное? А я тебе что толковала? Иди, говорю, сам, так нет — нехай десятник. Может, твои десятники-то сейчас сами уже нанялись, а ты тут ковыряешься.

— Зря ты, бабонька, напраслину несешь на десятников

и с толку сбиваешь своего Прохора, — вмешался в разговор еще молодой, но уже отрастивший жидкую бороденку человек с болезненным румянцем на впалых щеках. — Мы должны веру давать один другому и стоять один за всех и все за одного. Только так можно добиться своего. Посмотрите, как мастеровые в городе делают...

— А ты кто таков? — удивился Прохор. — Ежели ты городской, к примеру, фабричный, так зачем, спрашивается, сюда, в степя, приперся?

— За тем, за чем и ты.

— Ага, видать, такого знатного господина из города-то взашей погнали?

— Верно, погнали, — охотно согласился тот. — Не только погнали, но даже волчий билет всучили...

— Да ну?! — удивилась молодуха. — Вон ты какой гусь?.. Проша, ты подальше от этого нечистого духа!..

— Идут! Идут!.. — громко понеслись с разных сторон взволнованные крики.

Все, как по команде, повернулись к букреевскому дому.

— Гляди, сам сюда прется...

— А десятники-то наши что-то низко головы опустили и тянутся сзади, как побитые собаки...

— Видать, не поладили...

Толпа шумно подалась вперед, волной хлынула навстречу идущим.

Афанасий Чумаков задержался у сараев, ему незачем было спешить к хозяину. Здесь же остался сидеть тощий мужик, бережно держа на онемевших руках больного мальчика. Чуть в стороне, изогнувшись и тяжело опираясь на сучковатый посох, напряженно всматривался куда-то в даль сутулый старик. Его ситцевая рубаха и суровые холщовые портки пестрели разномастными заплатами. На ременных лямках свисал почти до самых колен ветхий, весь в дырах и клочьях, задубевший фартук, некогда скроенный из цельной сыромятной кожи.

Что-то знакомое почудилось Афанасию во всей его согбенной фигуре. Где он мог видеть этого деда? Вот эти сутулые плечи, тяжелые полусогнутые в локтях руки и даже старый кузнечный фартук? Невольно дрогнуло и часто-часто, как после долгого бега, заколотилось сердце. Да, это был он — старый кузнец, суровый учитель безродного подростка.

— Дядя Корнэй!

Старик удивленно повернул голову. Незнакомое, страшно изуродованное лицо поразило Афоньку. Нет, он ошибся. Это не дядя Корней. Тот не был одноглазым, и на бородатом ли-

це его не багровел глубокий шрам, косо рассекавший правую бровь и щеку.

— Кто меня позвал, а?

Голос, этот глухой, хрипловатый голос нельзя было забыть. Так мог говорить только он.

— Дядя Корней, неужто это вы? — почти прошептал потрясенный Афонька, с тревогой всматриваясь в искаженное лицо старика.

Старик клюнул посохом в сухую землю и, прикрываясь левой рукой от солнца, шагнул к Афоньке:

— Ктой-то?

И хотя здоровый глаз его напряженно таращился, Афонька с ужасом подумал, что старик, вероятно, совершенно слеп.

— Дядя Корней, это я... я... Афонька Чумаков.

— Афоня?.. — дрогнувшим голосом спросил старик. — Не узнать тебя, сынок, не узнать... Вон какой ты стал!..

Лицо кузнеца просветлело. Улыбнувшись, он неловко обнял широкие плечи парня.

На мгновение Афонька обрадовался — дядя Корней одним глазом, кажется, видел. Но тут же щемящее чувство до боли сжало сердце, спазмой перехватило горло. По-ребячьи беспомощно всхлипнув, он молча прижался к старику.

— Ну-ну, сынок, не надо... Ты что же это меня оплакиваешь, как в гроб кладешь... — с напускной бодростью прошептал старик, сам не в силах сдержать предательскую дрожь сутулых плеч.

— Дядя Корней, что с вами приключилось, а? Кто так вас порубал?

— Эх, сынок, длинная песня об том рассказывать... Видишь ли, на старости лет я правду-матку захотел пошукать да поглядеть на нее. Вот мне и показали, что аж глаз выскочил... — Кузнец горестно усмехнулся. — Один казачок Войска Донского перекрестил наотмашь плеткою, а в той плетке, видать, свинчатка на конце была заплетена.

— Да за что же он так?

— За что?.. За здорово живешь... За то, чтобы я дюжей спину гнул над наковальней, а жрать не просил, хозяина не беспокоил... да еще чтобы царя-батюшку почитал... — На изуродованном лице старика снова показалась невеселая усмешка. — Но я не обижаюсь на того казачка, он все-таки помог мне кое-что разглядеть. Правда, когда выбитый глаз вытекал, а другой в огне горел, я натурально было ослеп, повязку с обоих глаз месяца два не снимал. Теперь же я одним все вижу, даже кое-что лучше стал различать...

— Не шуткуйте, дядя Корней. Где и за что вас покалечили?

— А я, сынок, не шуткую... Ты слыхал, что в прошлом году в Ростове творилось?.. Ну так вот все это случилось со мною там, на Темернике, в балке...

Афонька невольно вспомнил рассказ Федьки Янюшкина о событиях в Ростове.

— А как вы туда попали?

— Да как же наш брат мастеровой попадает?.. В хуторе Верхне-Соленом я не захотел с голоду подыхать. Может, помнишь, года через четыре, как ты ушел от меня, в наших краях засуха сильная полыхнула? Все посевы спалила, а черная буря совсем доконала... Хуторяне заместо хлеба курай толченый да прошлогоднюю мякину в закрома засыпали. Весной люди стали пухнуть. Вот и махнул я в город на заработки... Больше полгода околачивался на бирже, а потом в мастерские железнодорожные пристроился...

Старик не успел закончить свой рассказ. Букреев с десятниками приблизился к сараям. Толпа, почтительно давая ему дорогу, образовала полукольцо. К кузнецу подбежал один из десятников и, задыхаясь, торопливо проговорил:

— Корней Федотович, вся наша затея прахом пошла. Он отказывается нанимать десятками...

— Надо держаться. Скажи ребятам, чтобы дружней...

— Кто желает работать у меня в экономии — бегом марш вон к тому месту! — повелительно крикнул Букреев, махнув плетью на ближайший сарай.

Толпа загудела, заволновалась. Кое-кто сорвался с места, побежал было, но чей-то злой, накаленный страстной ненавистью голос, как арапником, стеганул по бегущим:

— Стой! Назад!.. Быстро вы забыли уговор!..

Все замерли. Букреев ошалело завертел головой, кого-то выискивая в толпе.

— Кто это крикнул? Кто, я спрашиваю, тут командует?!

Толпа угрюмо молчала.

— Ну хорошо!.. Я вас проучу!.. — сквозь зубы процедил Дмитрий, судорожно сжимая рукоять плети. — Последний раз спрашиваю: кто ко мне пойдет работать?.. Предупреждаю, нанимать буду только по одному!..

Над притихшей толпой тревожно и зло зашуршали шепотки.

— Повторяю: шагом марш — к тому сараю!..

С места никто не тронулся. Дело неожиданно принимало скверный оборот: назревал беспорядок, а быть может, даже бунт. «Не случайно здесь оказались мастеровые. Видать, из

Ростова... — В голове Букреева ворохнулась трусливая мысль: — Не убраться ли поскорей отсюда?.. Надо полицию или казаков вызвать... А то, чего доброго, еще на вилы поднимут». Но он поборол мгновенную слабость.

— Ты почему не хочешь идти ко мне на работу? — вдруг обратился Букреев к мужику, безучастно сидевшему у самой стены сарая с больным мальчиком на руках.

— Я? — встрепенулся тот. — Как так не хочу?.. Баба у меня по дороге померла от тифу, и парнишка вот с голоду помирает... Корки хлеба нету... Как же не работать?.. Работать надо.

— Ну так в чем же дело?.. Я тебя беру на сезонную...

В печальных глазах мужика вспыхнули искорки радости, но сейчас же погасли. Окинув тревожным взглядом стоявших вокруг мужиков, он тихо проговорил:

— Мы, барин, артельные. Мы, жиздринские, сгуртовались все вместе... Силантий вон десятник.

— Артельные! Мне не артель нужна, а ты. Понял? Ступай, тебе говорят, к тому сараю, ну?

Мужик, прижимая к груди мальчика, тяжело и неуверенно приподнялся, смущенно опустив глаза к примятой полыни. На острых скулах выступили пятна.

— Денис, держись! Не будь иудой!.. — послышался чей-то глухой, предостерегающий голос из толпы.

— Я — иуда?! — дернулся Денис, словно его обожгли крапивой. Злоба и отчаяние исказили его лицо. — Брешешь! Сам ты... Да чего вы меня обступили?.. Дайте дорогу! Работу мне надобно!.. Парнишка вон жрать просит, с голоду сдыхает, а где я ему возьму?..

— Не у тебя одного детишки... Держись гурта, один пропадешь!

— Это кто там поучает?! — вскипел Букреев.

— Барин, не озоруй, нанимай всех нас по-хорошему... А то худо будет...

— А-а, вот как? Худо будет?.. Это что за угроза?.. Да я вас к чертовой матери всех отсюда разгоню и сараи спалю!..

— Господин Букреев, вы нас не пугайте. Мы и так пуганые, — смело вышел из толпы уже знакомый Дмитрию десятник-мастеровой. — Зря вы злитесь. Мы ничего противозаконного не делаем. Это ваш брат, хозяин, самоуправствует. Приедет сюда, выберет самых молодых да здоровых работников, наймет их, а остальные тут с голоду подыхают. Вот потому мы и разбились на десятки, будем работать артелями, один другому помогать...

Так в тот день Букреев никого и не нанял, поспешно возвратился домой. Кляня весь сброд у сараев, рассказал о случившемся Прокопию, предложил немедленно вызвать полицию или казачий отряд. Тот внимательно выслушал, молча прошелся по кабинету, раскуривая трубку, и неожиданно расхохотался:

— Ох, Дмитрий, Дмитрий! Беда мне с тобой... Могила тебя исправит. Спрашивается, чего ты взбеленился? Почему тебя испугали эти десятки? Да пусть хоть сотни, тысячи... Нам-то не все ли равно? Мы же от этого почти ничего не теряем. Надо нанять всех. А потом видно будет. Кто не справится с работой, мы без шума — тихо, мирно — удалим из экономии. Понял?.. Сейчас нельзя затевать скандал. Это может подорвать нашу репутацию... Вот так-то, дорогой братец...

На второй день Прокопий поехал к сараям сам. Нанял всех: и тех, кто придерживался десятков, и тех, кто был в одиночку. Даже, по просьбе Афоньки, Прокопий согласился взять полуслепого кузнеца Корнея. Букреев рассудил, что хороший кузнец в хозяйстве нужен.

— Ну хорошо, я возьму этого калеку в экономию, — ответил Прокопий на просьбу парня. — И коль ты говоришь, когда-то у него уму-разуму учился, то сейчас пойдешь к нему помощником. Не будете справляться с работой — обоих выгоню! Понятно?

Афонька охотно принял новое назначение.

«Сам сдохну, а дядю Корнея выручу, спасу от голодной смерти... К молоту и наковальне нам не привыкать, как-нибудь справимся».

ГЛАВА XIV

Осип не сдержал своего слова — не узнал, где сейчас находился Афонька, и не сообщил об этом Насте. Наступила страдная пора, и на него свалилось столько забот, что некогда было даже дохнуть, а не то чтобы искать Чумакова.

Настя каждый день ждала Осипа, но неожиданно весть об Афоньке принес в дом сам Василий Антонович. Он случайно узнал, что его бывший работник нанялся к Букреевым и теперь живет в главной усадьбе. Такое близкое соседство всерьез встревожило старика. Ведь Настя после ухода Афоньки бредила им, была неумолима. Отец в минуты бешенства не раз грозил ей, что выдаст замуж за хуторского Пашку-дурачка или отправит в новочеркасский женский монастырь, если она не выкинет из головы того голодранца.

Но не из пугливого десятка была упрямая Настя. Бледнея, сузив большие, горевшие злым огоньком глаза, она безбоязненно отвечала:

— За Пашку вы все равно не отдадите, зря только пугаете, а в монастырь я и сама пойду хоть сейчас же... Мне теперь выбор делать не приходится.

— Господи, за что ты меня наказал такой беспутной дочкой? За какие грехи?.. — стонал в бессильной злобе Василий Антонович, богомольно поднимая глаза к потолку.

И тут же, не выдержав молитвенного тона, чертыхался и начинал проклинать все на свете, и особенно себя, старого дурака, за то, что сам некогда пригрел этого змееныша — Афоньку. Не мог забыть старик и угрозу батрака, что придет, мол, время и Василий Антонович вынужден будет сам пригласить его в зятья.

«Ну нет, этого ты не дождешься!.. Я так приглашу, что ты забудешь, как тебя звать!..»

Узнав, что Афонька у Букреева, старик решил еще раз вразумить Настю. Позвал дочь в горницу, запер за собой дверь и, понижая голос, угрожающе процедил:

— Ну, с-сукина дочь, опять, наверное, с ним снюхалась?.. Смотри, голову оторву!..

— С кем, батя, снюхалась?..

— Не знаешь с кем?.. Все прикидываешься дурочкой, а потом подарочек в подоле принесешь родителям!.. — выдохнул Василий Антонович, с трудом сдерживая себя. — А все с тем же... голодранцем! Небось уже бегала к Букреевым!..

— Что-о?.. Афоня — у Букреевых?! — радостно ахнула Настя.

Старик даже крякнул от досады.

— Смотри, чертова дочь, последний раз упреждаю: ежели ты с ним и теперь будешь путаться — прокляну и выгоню! Слышь, в одной рубашке выгоню! Нитки рваной не дам!.. Так и знай!..

После короткого, но крутого разговора с отцом Настя целый день не находила себе места. Она металась по дому, как в горячке. Хваталась за какую-нибудь работу, но все валилось у нее из рук.

Алена Петровна, не посвященная в разговор между мужем и дочерью, удивленно поднимала печальные глаза, с тревогой наблюдала за Настей. А с той творилось что-то неладное: то она вдруг расхохочется, запоет какую-нибудь веселую песенку, то загрустит, забьется в угол горницы или присядет у окна и, забывшись, долго глядит в подернутую

синей дымкой степь. Не меняя положения, она тихо, словно кому-то жалуясь, затянет старинную:

Ах, кабы на цветы не морозы,
И зимой бы цветы расцветали;
Ох, кабы на меня не кручина,
Ни о чем-то бы я не тужила...

Грустный, тоскующий девичий голос невольно хватал за сердце Алену Петровну, бередил какую-то давнишнюю, невыплаканную печаль.

— Настя, да ты что, нечистая сила, прости господи, завыла, душу вынаешь...

Не сидела бы я подпершися,
Не глядела бы я в чисто поле...

— Брось, тебе говорят, беду накликать! — уже покрикивала Алена Петровна, утирая фартуком проступившие слезы.

Настя, оборвав песню, всхлипывала и ничком валилась на прибранную, с высоко взбитыми подушками, кровать.

Мать охала, ворчливо бранила сумасбродную девку, беззлобно укоряла:

— Непутевая ты, Настя... Я и не пойму, что только тебе надобно? Живем — дай бог каждому: пить, есть хватает вдоволь; одеваться, обуваться — тоже есть во что... Нечего греха таить, благодаря господу богу добра на наш век хватит... Чего же ты мордуешься? Какого, прости господи, рожна тебе надобно?..

— Чего мне надобно?.. Ничего не надо! Ешьте сами все свое добро! — со злостью кричала Настя, пряча в подушках мокрое от слез лицо.

— А ты не ори, паршивка, на мать! — возмущалась Алена Петровна. — А то вот возьму за волосья, тогда ты у меня поорешь... Ишь моду какую взяла — на мать голосом повышаться!

— Я не повышаюсь... Это вы все на меня кричите да грозите...

— А ты толком говори, что тебе надобно, и не выкидывай своих коленцев.

— Я вам ничего не делаю.

— Как — ничего?.. А по какому такому случаю сумятишься, места себе не найдешь?.. Чего тебе, спрашиваю, надобно? — назойливо липла с расспросами мать.

Настя прикусывала угол измятой подушки и с усилием душила рвавшийся из горла крик.

— Ну чего ты ревешь?.. Ох, Настя, чую я сердцем, о ком ты печалишься... Наверно, все о том же Афоньке?.. И дался же он тебе... Выбрось, доченька, из головы, выбрось, говорю, и забудь его — не гневи отца. Все одно не бывать по-твоему. — Мать вздыхала и вкрадчивым полушепотом урезонивала дочь: — Где ты его теперь найдешь? Он, наверное, уже на край света ушел. Когда он возвернется — бог его знает. Да и ждать нет нужды — не пара он тебе...

«Нет пара!.. Буду ждать!.. Может, я уже дождалась!.. — не отрывая от подушки мокрого лица, беззвучно твердила Настя. — Батя хоть и заказывал, но я все равно повидаю его, и... нехай тогда выгоняет... Я сама уйду!..»

На другой день Настя притихла, стала необычно послушна. К великой радости отца, она почти не выходила со двора. Целый день без устали работала по хозяйству и только вечером присела в горенке поболтать о своих девичьих делах с забежавшей к ней подружкой Сазоновой Улькой.

Когда старики, повечеряв, легли спать, Улька торопливо зашептала:

— Ой, Настенька, ежели бы ты знала, кого я нынче видела... Афоню!.. Когда начал спрашивать про тебя, то весь так и залился краскою, а потом белее вот этой стены стал... Заикается, слова сказать не может... Прямо смех и грех... Жалостно даже на него глядеть...

Настя, слушая подружку, сама становилась белее стены. Но притворный храп отца и сдержанное, короткое дыхание матери за печью насторожили ее. Она лукаво подмигнула Ульке и вдруг, на удивление родителей, громко, беспечно рассмеялась:

— Да ну тебя, тарахтушка! Нужен он мне как прошлогодний снег!..

Но как Настя ни прятала свои подлинные чувства к Афанасию, как покорно ни выполняла материнские указания и наставления, все же не могла обмануть неусыпного бдения отца. Поверив вначале дочери, он вскоре убедился, что она хитрит и задумала что-то такое, от чего, пожалуй, придется на старости лет умываться краской стыда и позора.

Василий Антонович теперь преследовал Настю на каждом шагу. Строго-настрого заказав жене не пускать Ульку в дом, старик велел на ночь стелить ему постель на полу в сенях, у самого порога горницы, в которой спала дочь. В течение всей ночи он ревниво оберегал ее тревожный девичий сон, иногда сам забывался короткой собачьей дремой, но от малейшего ночного шороха вздрагивал всем телом, насто-

роженно поднимал от примятой подушки всклокоченную, влажную от холодного пота голову и долго прислушивался к ночной тишине. Слух улавливал тихое дыхание дочери, но, чтобы удостовериться, что Настя на месте, он медленно, превозмогая усталость, становился на четвереньки, тяжело тянулся к порогу горницы и настойчиво грохал в дверь своим огромным, как кувалда, кулаком.

— Настя, ты спишь? — заботливо окликал он охрипшим, лающим голосом. — А-а... Ну спи, спи... Да ты не кричи, дуреха!.. Я это про между прочим... Спит, думаю, али нет?..

И так почти каждую ночь.

Такого сумасбродства отца Настя уже выдержать не могла. Лопнуло ее терпение. Поняв, что хитростью отца не взять, она решила действовать в открытую, напролом...

В субботу вечером, подоив коров, Настя сбегала к Ульке Сазоновой и упросила ее сходить к Букреевым, найти там Афанасия и передать, чтобы он в воскресенье, как стемнеет, пришел в степь на курган, что недалеко от хуторской мельницы. Эта встреча должна была решить все...

Афонька страшно обрадовался, не стал дожидаться темноты, ушел на курган засветло. Но давно уже погасли на западе оранжевые отсветы вечерней зари, на небе зажглись редкие звезды, а Насти все еще не было.

Хрустнув сушью примятой травы, Афанасий тяжело привалился к крутому скату кургана. Под рукой бесшумно зашевелился куст шелковистого ковыля. Афанасий ласково и бережно, как волосы любимой, разгладил ладонью ковыльную прядь и грустно чему-то улыбнулся.

Ждал он долго, не спуская глаз с еле заметной серой полоски тропы, уходившей к хутору. Но никто не появлялся на этой заветной стежке-дорожке, ничто не нарушало пустынного спокойствия степи. Только над головой, на самой вершине кургана, щетиня сухие былки сизой низкорослой полыни, по-змеиному шипел ветер.

«Совсем темно стало... Видно, не придет, убоится... — в тоске думал парень, перекусывая сухой стебелек полыни. — Знать, отец не пустил... А может, сама передумала? — вдруг больно кольнуло внезапное подозрение. — Наверное, Улька сбрехала для смеху, что Настя насовсем уйдет из дому и будет ждать у этого кургана, а я, дурак, поверил и поперся сюда встречать... — начал терзать себя сомнениями Афонька. — Вон уже ночь, а ее — ни духу ни слуху. Ясное дело — насмешка...»

От этой мысли заныло в груди. И он только сейчас почувствовал, что полынная горечь зажатой в зубах былки,

словно огнем, жжет во рту, колючей сушью сжимает горло. Нестерпимо захотелось пить. Афанасий встал и, скользя по скату кургана, спустился вниз. Поднимая хруст, напрямик зашагал к хутору.

Ночная степь была полна скрытой от человеческого глаза кипучей жизни. Вот под ногами тревожно пискнул какой-то зверек и тут же мгновенно исчез в одной из многочисленных норок. Впереди что-то шарахнулось, и тотчас дробно прошуршал в сухой траве стремительный топот. Через минуту где-то в стороне, за кустом дикого терна, испуганно, по-детски визгливо и жалко вскрикнул молодой зайчишка, видимо попав в хищные зубы матерой лисы. Заглушая эти ночные звуки, вдруг высоко над степью одиноко прозвучал короткий гортанный клекот.

Афанасий, замедлив шаг, оглянулся. Над курганом, борясь с порывами ветра, распластался черный силуэт степного орла. Запоздало свалившись откуда-то из заоблачной выси, он тяжело рухнул на вершину кургана и, балансируя широко раскинутыми крыльями, раза два шагнул по косогору. С трудом найдя точку опоры, остановился. Устало смежив крылья, он как-то жалко сгорбился и одиноко застыл на своем древнем сторожевом посту.

«Вот и я, как этот беркут, блукаю по степи один, ищу в поле ветра», — с грустью подумал Афанасий, шагая к хутору. Поглощенный своими нерадостными мыслями, он уже ничего не слышал и не замечал вокруг. Только откуда-то из низины суходола невольно лез в уши деловитый скрип дергача да несмолкаемый хор кузнечиков.

Подходя к ветряку, Афанасий приостановился. В душе его еще тлела слабая надежда на встречу с Настей, и он решил немного подождать у ветряка. Присел на валявшийся неподалеку от дороги, в зарослях бурьяна и дикой конопли, плоский кусок старого жернова. Закурил. Густая темень плотно окутала хутор, и только лишь где-то на окраине, в прорехе полузакрытого оконца невидимой хатенки, тускло мигал огонек.

Афанасий, обжигая пальцы, докурил цигарку, раздавил на шершавом камне крохотный окурок, огляделся. От ветряка к хутору под уклон уходила чуть заметная полоска накатанной дороги. На выгоне, насколько хватал глаз, — ни души.

Он поднялся. Ждать теперь уже не было никакого смысла. Сюда сейчас, конечно, никто не придет, и Афанасий направился к хутору.

Неожиданно в пустынном проулке от высокой соломенной

загати крайнего двора робко отделилась какая-то темная фигура. Пересекая дорогу, медленно двинулась к Афоньке. Замирая от неясного предчувствия, он приостановился. Неужели Настя? А может быть, просто какая-то баба переходит улицу?..

— Афоня, ты?.. — услышал он вкрадчивый девичий шепот.

В груди точно оборвалось что-то, тревожно и радостно затрепетало сердце.

— Настенька!

— Это не она, это я!

Афанасий ошалело остановился:

— А кто это — я?

— Да я, Улька!.. — Девушка быстро подошла и с досадой в голосе зашептала: — Сколько можно ждать?.. Вон уже полуночные закукарекали, а он...

— Постой, постой!.. Что случилось?.. Где Настя?.. — нетерпеливо перебил Афанасий, тревожно вглядываясь в темноту.

— Да ну вас к лешему!.. Вам любовь крутить да всякие разные свидания устраивать, а мне через это самое попадает как сидоровой козе... — И уже тише добавила: — Дома Настя — вот где! Отец не пустил. Подслушал, вражина старый, как мы сговаривались, и дал нам таких чертей, аж перья с нас летели... Настю с узлом в горнице закрыл (она хотела к тебе насовсем идти и всю свою одежонку связала в узлы), а мне по шее так дал, что я чуть носом двор ихний не запахала... — Улька невесело хихикнула и почему-то смущенно закончила: — Вот я и пришла сюда упредить, чтобы ты зря не ждал.

— А почему ты раньше мне не гукнула?

— Когда же раньше? Я и так давно тебя караулю. Почти засветло сюда приперлась. Прямо даже стыдно от людей. Смотрят на меня и диву, наверное, даются: почему я тут околачиваюсь? Я уже зачала делать вид, что телка шукаю, какого у нас сейчас нету. В каждую застреху заглядывала, у каждого встречного и поперечного пытала о нашем поблудном теленочке. Прямо смех и грех...

— Почему же ты на курган не пришла?

— Ага! Ближний свет. Да и страшновато туда ночью ходить. В бурьянах там на волков нарваться можно.

— А как же Настенька? Тоже бы убоялась? Зачем заказывала мне туда?

— Настенька?.. Не-ет, парень, Настенька бы не убоя-

лась. Она за тобой хоть на край света пойдет, — раздумчиво прошептала Улька.

— Ну так уж и «на край света»?.. — с радостным недоверием отозвался Афанасий.

— Не веришь? Эх, ты!.. Не знаешь, стало быть, Настю! Она мне шепнула, что завтра али послезавтра все равно уйдет из дому, а тебя все-таки повидает, а может, и насовсем останется с тобою.

— Завтра? — обрадовался было Афонька, но сейчас же поник. — Нет, Уля, завтра уже поздно будет... Завтра я с дядей Корнеем отправлюсь кузнечить на дальние зимовники букреевской экономии на все лето. Где она меня повидает? Степя широкие, неоглядные... Там днем с огнем не разыщешь.

— Ничего, ежели надо, то и без огня найдет... Я вот тоже к Букреевым нанялась скотницей-дояркой. Только не знаю, куда пошлют. Может, где-нибудь и мы с тобой повстречаемся.

ГЛАВА XV

Вслед за сенокосом стремительно наступила жатва: ускорил суховей. Жители сел, хуторов и станиц, оставив домовничать стариков и детей, перекочевали в степь, на паи и арендованные делянки. Ожили зимовники, замаячили полевые станы.

Осип Топилин на жатву собрался всей семьей. Еще с вечера он погрузил на арбу весь необходимый инвентарь, положил на неделю харчей, взвалил бочонок с пресной колодезной водой и, бросив в задок арбы охапку сена, здесь же примостился спать. Рано утром усадил на арбу мать и сонных сестренок, взялся за налыгач и выехал со двора. У ворот он остановился и, повернувшись назад, глухо попросил:

— Мамаша, может, вы зараз возьмете налыгач, а как выедем за хутор, я сам зачну погонять. Мне на кобыле надобно смотаться кое-куда по делу.

Мать удивленно посмотрела на Осипа, перевела печальный взгляд на впряженных в ярмо корову и быка, потом — на привязанную сзади лошадь, вздохнула и молча слезла с арбы. Она сразу поняла нехитрую уловку сына, но перечить не стала. Ведь не мог же, в самом деле, молодой казак идти пешком и тянуть по хутору, на глазах у всех, такую упряжку. Нет, эта картина не радовала и мать. Пускай уж проедет верхом, а она как-нибудь управится одна.

— Скачи, сынок, ежели куда надобно, а мы сами потихоньку поедем.

Свернув в проулок, Осип с напускной озабоченностью рысью поехал окольной дорогой к выезду из хутора. У ветряка он подождал подводу. До полдня, не бросая налыгач, брел он по нескончаемо длинной степной дороге. Многие хуторяне перегоняли Осипа не только на лошадях, но даже на шаговитых, хорошо спаренных волах, кидая мимоходом шуточки:

— Гля, казачок, где это ты отхватил такую пару? Прямо рог в рог. Может, поменяем, а?..

— Держи, держи, Осип, подручного быка с дойками, а то заломит борозденного... Ха-ха!..

— Эй, молодой казаче, чего зажурился? Чи волы пристали, чи с дороги сбился?.. Хо-хо!.. Посторонись, хлопчик, дай моим круторогим дорогу...

«Хотя бы скорее добраться до места», — угрюмо думал Осип.

Вдали, на гребне бугра, показался темно-зеленый куст дикого терна. Осип оживился: теперь уже недалеко. За перевалом, у самого подножия пологого ската, начиналась заветная делянка казачьего пая, где Осип много потрудился, а теперь вот едет собирать плоды своего труда. Он мечтательно прижмурил глаза, счастливо улыбнулся, будто сейчас перед ним лежала в пепельной дымке не степь, выжженная солнцем и суховеем, а словно у самых его ног бурлила, переливалась и низко кланялась под ветерком налитая золотом, вызревшая пшеница.

Положив на ярмо руку, медленно, враскачку плелся Осип по дороге, продолжая мысленно любоваться милой его сердцу картиной колосистого поля. Таким он его видел в последний раз, когда после разговора с Яшкой и атаманом прискакал сюда, намереваясь немедленно взяться за жатву. Но слишком мягким, словно наполненным загустевшим молозивом, оказалось тогда зерно. Разжевав и проглотив сладкую кашицу невызревшей пшеницы, Осип решил дня на три-четыре отложить косовицу. Тягостно, мучительно долго тянулись эти дни вынужденного ожидания. Почти каждую ночь видел он во сне тучные поля рудой пшеницы, и вот сейчас, даже наяву, не добравшись до пая, любовался незримой картиной пшеничного раздолья.

— Ой, братка, гляди скорее сюда. Летит, летит!.. — донесся из арбы изумленный крик сестренки.

Осип не успел еще поднять головы, как серая тень скользнула через дорогу и послышался тяжелый взмах чьих-то

больших крыльев. Низко, почти касаясь одиноко торчавшего у дороги татарника, пролетел матерый дудак, блистая на солнце темно-серым оперением крыла. У куста дикого терна он было присел, но из-за бугра вдруг вырвался всадник и, размахивая длинным арапником, бросился к птице. Осип с любопытством стал наблюдать за необычной охотой. Всадник часто нагонял птицу, взмахивал арапником, казалось, вот-вот достанет ее, но всякий раз дудак неуклюже увертывался, тяжело взмывал вверх, делал несколько взмахов саженными крыльями и снова прижимался к земле.

Нетерпеливый охотничий азарт невольно овладел и Осипом. Он не раз слышал рассказы бывалых степняков, что в полдень жаркого летнего дня поднятый на крыло тяжелый дудак быстро теряет силы, и часто случалось, когда верхоконный легко нагонял низко летящую птицу и засекал кнутом или плетью. Не долго думая, Осип поспешно отвязал от арбы повод, вскочил на лошадь и, припадая к гриве, свистнул над головой кнутом. Уже на скаку кинул через плечо:

— Мамаша, возьмите налыгач, я сейчас!..

Дудак, делая низкие спирали, отводил всадников в сторону от дороги, за куст терна. Осип направил кобылу наперерез летящей птице. Увлеченные погоней, два всадника чуть было не столкнулись на гребне бугра.

— Куда ты скачешь?.. Держи правее, а я отсюда!.. — услышал Осип запальчивый крик охотника. — Давай скорее! Режь напрямик! Гони на меня!..

Осип повернул лошадь. Влепил в бока кобылы голые пятки. Подняв над головой терновое кнутовище, как саблю, снова пошел в атаку на крылатого противника. В ушах свистел ветер, лицо секли какие-то невидимые мошки, от режущей боли в глазах набегали слезы.

А дудак, словно испугавшись внезапно прибывшего подкрепления охотнику, шарахнулся, взмыл ввысь, взмахнул огромными крыльями и скоро бесследно растаял в знойном мареве далекого горизонта.

Скакавший впереди охотник резко осадил лошадь, злобно выругался:

— Откуда тебя черт поднес? Один я его обязательно бы угонял и засек!..

Осип, натягивая повод, приостановил кобылу, виновато взглянул на всадника. И тут только оба с изумлением узнали друг друга. Охотничий азарт как рукой сняло. Перед Осипом, опираясь на луку, беспокойно ерзал на кожаной подушке седла Картушин Яшка. Кривая усмешка дергала

конец его лихо закрученного уса. В прижмуренных глазах полыхал злой огонек досады.

— А-а, вон, оказывается, кто подмогнул мне изловить дудака! — с наигранным добродушием и веселостью засмеялся Яшка, расслабленно кособочась на седле. — Выходит, мы с тобой, браток, хотели в степях ветер ситом уловить... Ха-ха!.. Из-за него, проклятого, коня чуть не запалил. Видишь, весь в мыле и боками носит... Понимаешь, верст десять отсюдова я его вспугнул. Гляжу, а он раскрыл клюв и еле-еле крылами махает. Вдарила мне тут дурь в голову — и пустился за ним... Очень уж дичинки захотелось... Ха-ха!..

Осип удивленно пожал плечами. Он ожидал, что Яшка сейчас же начнет требовать долг за потраву, станет угрожать, а может быть, и арапник пустит в ход. Ведь не случайно он оказался в этих краях. Но Яшка почему-то мирно и словоохотливо зубоскалил, ни словом не напоминал о причине своего появления вблизи Осипова пая.

«Видал, куда гнет... Будто кот с мышкою зачал заигрывать, — с тревогой подумал Осип, заметив, как в руках Яшки напряженно вздрагивал и круто извивался, словно рассвирепевший желтобрюх, толстый ременный арапник.— Знаем мы вашего брата. Зазря ты не станешь смешки строить да слова разные о постороннем брехать...»

Осип повернулся в седле, глянул вниз, в лощину, — и обмер...

Там, у самого подножия ската бугра, где на днях низко и покорно кланялась ему в пояс тяжелыми колосьями невызревшая пшеница, теперь страшно щетинилось короткой стерней голое поле. Даже валков и копен нигде не было видно. Что за чертовщина?

— Свят-свят!.. Да что же это такое?.. Кажись, пай мой, а где же хлеб?.. Как во сне получается... — не веря своим глазам, закрестился Осип, удивленно оглядываясь. И когда в конце дальних гонов увидел толпившихся с косами, вилами и граблями людей, видимо собиравшихся уходить, а чуть дальше — бездорожно тянувшиеся куда-то на юго-запад высокие, как скирды, возы свежескошенной пшеницы, заорал: — Братцы!.. Карау-ул!.. Грабеж!.. Обворовали!.. Сто-ой!.. Держите!..

Не помня себя, Осип рванул повод, взмахнул кнутом и хотел было броситься вдогонку уходившим злодеям. Но Яшка, перегнувшись с седла, успел схватить под уздцы кобылу Осипа.

— Постой, не горячись и не ори. Никто тебя не обворо-

вал, и грабежа тут нету... Это мои работники скосили в лощине десятины три, не больше... Должок за потраву...

— Что-о?.. Твои работники?.. А-а, гад, так вот отчего ты начал тут дудаков гонять!..

Рука Осипа, занесенная для удара по лошади, вдруг описала в воздухе круг, и терновое кнутовище с визгом рубануло по голове Яшку. Тот охнул, пошатнулся, выпустил повод. Второй удар пришелся по лицу. На щеке мгновенно вспух кровавый рубец.

— На вот тебе долг!.. Возьми другой!..

Кони шарахнулись, понесли всадников в разные стороны.

Придя в себя, Яшка безобразно выругался, круто повернул коня, поскакал вдогонку. Издали достал концом арапника по спине Осипа. Рубаха лопнула, и между острыми лопатками косо легла черно-багровая лента. Накрест прилипла вторая. Кровавые струйки рыжими пятнами окрасили ситцевую рубаху. От жгучей боли Осип взметнулся, судорожно выпрямился, резко осадил кобылу. Короткий кнут, свистнув в воздухе, вдруг схлестнулся над головой с арапником. Тонкие их концы, словно взбесившиеся змеи, плотно обвили друг друга. Сильный рывок чуть не сдернул парня с лошади. Кнут вылетел из рук. Обезоруженный Осип растерялся. Яшка с сумасшедшей яростью стал полосовать припавшего к холке Осипа. Но тот уже не чувствовал боли. Одно теперь желание руководило им: скорее доскакать к арбе и там найти спасение.

У арбы Осип на полном скаку свалился с лошади. Перед глазами вдруг блеснули острые зубья вил, торчавшие между ребер арбы. Безумная мысль опалила Осипа. Не слыша отчаянного крика матери, визга и плача перепуганных сестренок, он кинулся к возу. Выхватил вилы. Не раздумывая, метнул в налетевшего Яшку. Но тот встречным взмахом арапника успел отвести удар. Скользнув над головой коня, вилы со звоном воткнулись в землю, упруго задрожав коротким держаком.

— А-а... сволочь, убить хотел!.. — зло прохрипел Яшка и, на скаку вырвав вилы из земли, повернул коня к арбе.

— Карау-ул!.. Спаси-ите!.. — одиноко прозвучал в степи надрывный женский вопль.

— Ну берегись, чертово отродье! Я вас всех зараз проучу!

Но, проскакав сажен пять, конь недалеко от арбы вдруг споткнулся, зашатался и, всхрапнув, тяжело рухнул на землю. Яшка вылетел из седла, но сейчас же проворно вскочил.

Опираясь на вилы, налегая на левую ногу, подбежал к бившейся у дороги лошади.

— Но-о!.. — Яшка зло дернул за повод. — Но-но-о!.. Вставай, Буян, поднимайся, дружок!..

Опираясь на дрожащие передние ноги, конь с трудом приподнял грудь над примятой придорожной полынью, попытался встать. Но некованые копыта, скользя по сухой траве, бессильно разъехались в стороны. Удушливо всхрапнув, он снова тяжело повалился на землю.

Побледневший Яшка понял, что конь запалился насмерть и на ноги его уже не поднять. Не выпуская из рук вилы, он суетливо стал расстегивать подпруги.

А Осип метался у арбы в поисках предмета, которым можно было бы защититься. Надо скорее опередить Яшку. Но как? Других вил под руками не было, граблями ничего не сделаешь. Коса лежала где-то на дне арбы, не успеешь вытащить... Что же схватить в руки?.. Ах да, вспомнил. Железная заноза ярма... Кинулся к волам... Господи, помоги успеть...

— Чего ты суетишься, как худой щенок по нужде?.. — вдруг услышал Осип окрик. — Никто тебя зараз трогать не будет!.. Марать вилы не стану!.. Я с тобой иначе посчитаюсь!..

Осип оглянулся. Всхрапывая, билась у дороги лошадь. Яшка торопливо стаскивал с нее седло, с ненавистью косясь на Осипа. Какое-то злое, мстительное решение созрело в голове Яшки. Откинув в сторону седло, он неожиданно широко размахнулся и, присев, глубоко, по самую ручку, всадил острые зубья вил в бок загнанной лошади. Конь рванулся, в смертельной горячке вскочил на ноги, вздыбился и тут же рухнул на пыльную обочину дороги. Как внезапный выстрел, треснул под ним сухой держак вил, торчавших в боку.

— Вот теперь ты ответишь мне еще и за коня! — пригрозил Яшка, тыча нарядной ручкой арапника в издыхавшую лошадь. — Не расплатишься за такого коня всей своей требухой... Будешь, сволочь, век теперь у меня в работниках храп гнуть, так и знай!..

...Угроза Яшки не прошла даром.

На допросе в хуторском правлении Осипа обвинили в том, что он покушался на жизнь Якова Картушина и заколол его лошадь.

— Это верно, я первый кнутом его ударил, — мужественно признался Осип, — но коня я не убивал. Он сам его запорол...

— Позвольте, — изумленно поднял брови молодой щеголеватый следователь, прибывший в хутор по поручению станового пристава проводить дознание. — Как это сам?.. А почему же именно твои вилы оказались в боку лошади?..

— Он сам запорол коня, — упрямо настаивал Осип, смело глядя на следователя.

— Гм-м... любопытно!.. Ну хорошо, допустим даже такую нелепость, что господин Картушин сам заколол своего коня, — криво усмехаясь, щурился следователь. — Но повторяю, как могло случиться, что твои вилы оказались в боку лошади, а?

Осип замялся.

— Он из земли их выдéрнул.

— Откуда?.. Ничего не понимаю! — развел руками следователь и, досадуя, повысил голос: — Ты мне не морочь голову, не ври!

— А я не вру, — упорствовал Осип.

— Как не врешь? — разозлился следователь. — Ведь ты несешь чушь!.. Имей в виду, за ложные показания ты ответишь перед судом.

— Ну и судите, ежели не верите, а я не брешу, — настаивал на своем Осип.— Как получилось? Да очень просто... Когда Яшка начал меня до крови охаживать арапником, я вгорячах швырнул в него вилы... промахнулся... Он схватил их — и ко мне, но тут под ним упал конь, запалился... Ну он и прикончил его вилами, все одно конь сам бы сдох... Теперь на меня все свалил...

— Позволь, позволь... Почему конь запалился?..

— А потому, что дюже шибко за дудаком гонял, потом за мной...

Следователь не выдержал, расхохотался:

— Ну и ну!.. Признаться, давно я уже не слыхивал такой занимательной сказки. — И, насупив брови, раздраженно процедил: — Ты брось прикидываться идиотом и выдумывать небылицы про каких-то дудаков...

Следователь быстро стал записывать показания.

После допроса Осипа домой не отпустили, посадили в каталажку, так как признали виновным в гибели коня и зачинщиком в драке.

Яшка Картушин торжествовал. Вовремя подсунутая взятка сделала свое дело. В знак благодарности он пригласил услужливого следователя еще и на обед. Подвыпивший гость, покровительственно похлопывая по плечу хозяина, пообещал:

— Ты, Яков Харитонович, будь спокоен. Мы его про-

учим. Обвинение предъявим по двум статьям... Тюрьмы ему не миновать...

— Не-ет, господин следователь, я с этим не согласный, — раздумчиво протянул Яков, внимательно рассматривая на свет недопитый стакан водки.

— Почему?.. Ах да, я понимаю... — засуетился следователь. — Вам бы, конечно, хотелось более строгое наказание: скажем, ссылку или каторжные работы... Я, безусловно, сочувствую вам, как потерпевшему... Но, при всем моем к вам уважении, я, к сожалению, должен огорчить вас... Ведь здесь имела место обоюдная драка... Статьи же уложения о наказаниях по данному преступлению не позволяют...

— Да нет, наоборот, я не согласный, говорю, в тюрьму его сажать, — перебил следователя Яков. — Зачем в тюрьму или на каторгу?.. Не надо. Какая, спрашивается, выгода мне с этого? Никакой. Нехай лучше он мне заплатит за коня али отработает... Ну, само собой, для острастки, чтобы не было повадно другим, на сходе перед казаками с десяток горячих можно ему всыпать. На том и конец. Полюбовно закончить надо это дело. Нехай помнит мою доброту...

Надолго, на всю жизнь, запомнил Осип доброту Яшки. В тюрьму его действительно не посадили, но порешили взыскать в пользу Якова стоимость погибшей лошади. К тому же в воскресенье, после обеда, вынесли сидельцы на середину площади из хуторского правления скамью, разложили на ней голоштанного Осипа и принародно высекли розгами. Не так страшна была боль от жгучих розог, оставивших на голом теле багровые полосы кровоподтеков, как мучителен был стыд...

Придерживая руками штаны, вобрав в плечи голову, надвинул на глаза облупившийся козырек старенькой казачьей фуражки, под разноголосые выкрики толпы и бабий плач ушел с майдана опозоренный парень. Неделю жил бирюком, нигде не показывался. Чтобы никого не встречать из хуторян, работал только поздно вечером. Но долго выдержать такого образа жизни Осип не смог. Посоветовавшись с матерью, он однажды ночью ушел из хутора в степь, направляясь на дальний участок экономии Букреева — Трехбратскую падину, где думал найти поденную работу.

ГЛАВА XVI

Трехбратская падина — это целый хутор землянок, многочисленных сараев, конюшен, коровников, кошар и других хозяйственных построек посреди открытой степи, в покатой

ложбине суходола. Здесь обыкновенно зимовали со своими семьями табунщики, чабаны, доярки — все те, кто постоянно работал в экономии. На лето зимовник пополнялся сезонниками. Никакие землянки не могли разместить всех жителей полевого стана. Для сезонников отводился один из пустующих в это время года базов, огороженных высокой стеной — загатой из соломенного и травяного перегноя, сваливались туда арбы две-три прошлогодней соломы или курая — и готово батрацкое пристанище. Не нарядные получались хоромы, но зато от жгучих суховеев затишек желанный найдешь и на ночь можно мягкое логово устроить. В других экономиях и этого нет. Попробуй там взять клок соломы или охапку сена — сразу на штраф нарвешься. А тут прямо раздолье — хоть с головой зарывайся в подстилку, никто ничего не скажет.

— С этого боку на зимовниках Букреева житуха сносная, — сдержанно объясняли бывалые сезонники новичкам, — но одно плоховато: питьевой воды частенько нехватка.

Правда, на зимовнике чернели круглыми провалами два глубочайших колодца с каменными срубами, и находились они почти рядом, а пресной воды все же — кот наплакал. В одном из них хотя и мощно били подземные ключи, но вода была мутная, жесткая, с противным, как в Маныче, горько-соленым привкусом. Никто, кроме верблюдов и овец, не брал ее в рот. В другом — пресная, питьевая, но слишком слабо пульсировала родниковая струя на далеком днище этого колодца, и часто, особенно в жаркую пору, к концу дневного водопоя вытаскивали оттуда тяжелой бадьей вместо воды желтую муть и куски мокрого крупчатого ила. Однако и с этим мирились люди. При нужде можно пососать и мокрого илу — не велика важность, только бы не упустить дня, не потерять поденную копейку. А работы здесь хватит, пожалуй, на все лето: в одну сторону от зимовника раскинулись поля, в другую — бескрайняя степь, сотни, тысячи десятин сенокосных угодий. Работай, покуда есть силенки...

Вот сюда-то по приказанию Букреева и был переведен кузнечить Афанасий Чумаков со своим старым другом и учителем — полуслепым дядей Корнеем. Вначале они побывали на других зимовниках экономии, выполнили срочные заказы, а теперь прибыли на постоянную работу в Трехбратскую падину. Приказчик отвел им землянку, примыкавшую к саманной стене старой кузницы, разрешил брать для нар лучшую солому.

В кузнице почти три года никто не работал, с того момента как здесь произошел несчастный случай. Во время ковки лошадей взбесившийся жеребец-неук вырвался из рук кузнеца Максима Телухина и сильным ударом копыта свалил его на землю. Удар пришелся в лицо. Были раздроблены переносица и надбровная кость. Полдня Максим провалялся в беспамятстве и, не приходя в сознание, умер. Его похоронили тут же, вблизи кузницы. Кто-то из сезонников — земляков кузнеца — поставил у свежего холмика грубо сколоченный крест, сооруженный из оглобель старой арбы...

Приказчик закрыл ржавыми запорами двери кузницы. Саманные стены ее со временем осели, двери перекосились, земляная крыша густо поросла чертополохом. Потом пошли черные слухи, что иногда темной ночью кто-то невидимый проникает в эту опустевшую кузницу и хозяйничает там: то что-то скребет, то гремит железками, то возится с кузнечным мехом. Пошли догадки. Предположили, что туда может попасть, не снимая запоров, только нечистая сила или беспокойная душа погибшего кузнеца.

С той поры ни один кузнец-сезонник не решался открыть запоры двери. С суеверным страхом поглядывали люди на мрачную кузницу и деревянный крест у заросшей бурьяном могилы.

Корней Федотович раньше слышал об этой выморочной кузнице и теперь, впервые взглянув на нее, невольно ощутил неприятный холодок в груди, но виду не показал, а Афоньку подбодрил:

— Ты, сынок, не робей. Мертвецов нам нечего бояться. Почаще надо оглядываться на живых злодеев...

За день Афанасий и Корней Федотович навели маломальский порядок в кузнице, исправили полуразрушенный горн, залатали сыромятными кусками кожи мех, прогрызенный во многих местах мышами, и к вечеру занялись своим новым жильем. Не успели они еще осмотреться в землянке, очистить ее от паутины и мусора, как прибежала к ним рослая полногрудая девка, закутанная по самые глаза стареньким ситцевым платком.

— Здорово дневали! Тут, говорят, кто-то из нашего хутора пришел.

Она минуту постояла у открытой двери, привыкая к полумраку хатенки, и вдруг, радостно вскрикнув, кинулась с порога к Афанасию.

— Афоня, как ты сюда попал? — смеясь и всхлипывая, забормотала девушка. — Надолго?.. Насовсем?.. Вот хорошо!..

Ой, ежели бы ты знал, как я соскучилась... по своим хуторянам... Так соскучилась, так соскучилась!..

— Постой, постой, голубушка, — смущенно улыбнулся Афанасий, не узнавая девушки. — Ну-ка подними голову... Ишь как закуталась, одни глаза блестят... Ты чего нюни распустила?

— Да я уж целый месяц дома не была и так соскучилась, так соскучилась...

— А-а... вон оно что... — протянул Афонька, всматриваясь в лицо хуторянки. — Никак, Ульяна?.. Так и есть — она.

Радость неожиданной встречи, охватившая девушку, невольно передалась и ему. Обнимая широкую спину Ульки, Афанасий ласково, с легкой усмешкой укорил:

— Вот как у вашего брата получается непутево: и смех, и слезы — все вместе. Этак ты мне всю рубаху обмочишь, выжимать придется... Ты давно видала Настеньку?

Улька не успела ответить.

— Гм-м... Кто это тебя, сынок, тут встречает?.. — раздался из темного угла хрипловатый голос старого кузнеца.

От неожиданности Улька вздрогнула:

— Ой, пусти, Афоня, а то люди бог знает что подумают...

— Чего испугалась, чудачка?.. Это же дядя Корней... — И пояснил кузнецу: — А это Улька, Ульяна Сазонова... Из нашего хутора...

— Так, та-ак... Стало быть, Улька... — угрюмо сказал старик и умолк.

Когда же девка, спохватившись, убежала за веником, чтобы помочь новоселам убрать землянку, кузнец недовольно проворчал:

— Ты, я примечаю, балуешь с девками... То ты мне про Настю раньше калякал, а теперь вот Улька со слезами встретила... Ох смотри, парень, до добра девки не доведут...

— Вы, дядя Корней, и в самом деле подумали бог знает что! — засмеялся Афонька. — На хуторе ведь Настя, а это — Улька...

— Вот-вот, я же тебе об том и толкую: там — Настя, а тут — Улька. А на что все это похоже?.. Нет, сынок, по-моему, облюбовал одну девку да и...

— Я же вам говорю, что облюбовал одну Настю, — густо покраснел Афанасий. — Все думки об ней... А Улька — ее подружка. Мне она навроде сестренки...

— Чума вас разберет, — примирительно отмахнулся старик. — А все же, сынок, не каждой девке надо вытирать слезу. Ты ей нынче утер слезу, обнял, пожалел, предположим, как брат родной, а завтра она глаз с тебя спущать не будет. По-

тому ты своей ребячьей лаской сердце ее разбередил. И ежели ты это сделал промежду прочим, из-за жалости, а потом забыл все, то ей еще горше станет житуха, свет будет не мил... Вот такие, брат, штуковины бывают в жизни... Смотри как бы и с Улькой того не получилось...

— Что вы, дядя Корней!.. Этого с Улькой не будет... Мы давно с ней дружим, — возразил Афонька, но сам был несколько смущен и озадачен.

Улька возвратилась в землянку с веником. На ее светловолосой голове был уже не старенький ситцевый платок, которым она куталась по самые глаза, а по-праздничному ярко голубела батистовая косынка. Лицо было открыто. На округлых с крохотными ямочками щеках, чуть тронутых легким румянцем загара, заметны были следы только что стертой жировки. Полные, словно припухшие, губы дрожали в веселой улыбке. Во всем облике Ульяны чувствовалось радостное возбуждение.

«Может, в самом деле дядя Корней прав? — подумал Афанасий, увидев, как Улька стала заметно прихорашиваться. — Да, кажись, он правильно приметил. Сбил я, видать, девку с толку».

Афанасий решил впредь держаться от Ульяны подальше. И когда Ульяна вечером, подоив коров, прибежала пригласить Афоньку пойти к колодцам зимовника, где обыкновенно батрацкая молодежь устраивала после нелегкого трудового дня игрища, он с напускной холодностью отказался, сославшись на усталость и какие-то боли в пояснице...

— Хо, вот старик нашелся! Может, отрубей принести, чтобы спину попарил? — усмехнулась Ульяна, поняв притворство парня, и, обиженно вильнув крутыми бедрами, ушла на прогон одна.

«Опять получилось не так, — с досадой подумал Афанасий, — обиделась девка... — И хотя ему сейчас хотелось вскочить с нар, догнать Ульяну и по-дружески утешить ее, он сдержал себя: — Дядя Корней подумает бог знает что, брехуном обзовет... Нет, я уж лучше самого его спрошу, как мне быть. Нехай что-нибудь присоветует...»

И Афанасий с наивной простотой прямого, бесхитростного человека спрашивал умудренного опытом жизни Корнея Федотовича, внимательно прислушивался к его добрым советам и наставлениям...

Так незаметно старый кузнец стал для Афанасия не только учителем кузнечного ремесла, но и наставником в различных житейских делах. А нужда в этом была немалая, так как жизнь даже здесь, на зимовнике, все чаще и чаще

подставляла ножку неопытному парню, не раз ставила его в тупик.

Как-то в разгар страдного дня, когда сезонники, закончив косовицу сена, работали уже на жатве хлебов, в кузницу, запыхавшись, прибежал сын приказчика Пашка Бурцев. Этот долговязый детина саженного роста был одних лет с Афонькой, но до сих пор в семье приказчика считался мальчиком. Он целыми днями болтался без дела в экономии среди сезонников, иногда по приказанию отца исполнял роль надсмотрщика. Вечерами же, когда парни и девки собирались у колодцев зимовника на игрища, Пашка всегда был тут как тут. Он смело врезался в табун девчат, хватал своими длинными руками первую попавшуюся девку и без долгой подготовки предлагал:

— Выходи, милушка, за меня замуж. Будешь со мною — как рыба с водою... Куплю красные сапожки со скрипом, юбку поплиновую со всякими разными складочками да оборочками, а на шею — стеклянные бусы...

Девка обыкновенно пыталась вырваться из медвежьих объятий скороспелого жениха, и если это ей удавалось, то Пашка без смущения хватал другую. Предложение повторялось с заученной точностью. Девушки, озоруя, открыто смеялись над придурковатым парнем. Наиболее смелые навязчиво предлагали себя в жены, обещая на второй же день свадьбы принести ему наследника или наследницу. Пашка ржал косячным жеребцом, грозил насмешницам:

— Вы меня не проведете... Я знаю, когда бывают детишки... Чего вы скалите зубы? Думаете, я брешу?.. Вот крест святой, в эту осень буду жениться. Отделюсь от бати и свое хозяйство заведу. — И, желая расположить к себе слушателей, сделать им приятное, обещал: — Всех вас в работники возьму не только на сезон, а, может, на весь год...

Но отец Пашки не спешил с женитьбой сына, старался приучить к своему холуйскому делу. Он натаскивал его, как хороший охотник молодого, глуповатого пса. Брал с собою в поле, передавал через него приказания сезонникам, заставлял следить за работой косарей или вязальщиц.

Вот и сейчас, прибежав в кузницу, Пашка, задыхаясь, передал приказ отца:

— Эй вы, ковали! Ну-ка бросайте скорей свою работу и айда со мной к косарям!

Кузнецы словно не слышали окрика Пашки. Афанасий продолжал с широким разворотом через плечо бить десятифунтовым молотом по раскаленному добела куску металла. Веером брызгали шипучие искры. От тяжелых ударов вздра-

гивала под ногами земля, оглушительно звенело в ушах. Корней Федотович успевал между ударами молота ловко повернуть клещами с боку на бок раскаленный шкворень и пристукнуть небольшим молотком то по звонкой наковальне, то по вязкому, податливому металлу. Глядя со стороны, казалось, что эти двое, черные от копоти и дыма, не работают, а с увлечением забавляются какой-то странной игрой.

— Эй вы, черти голопузые! Бросьте, вам говорят, махать своими кувалдами!.. Идите за мною — батя велит!..

Афанасий опустил молот к ногам, медленно приподнял руку к мокрому лбу.

— Куда торопишься? На свадьбу, что ли?

— Какая тебе свадьба!.. Там, у косарей, светопреставление идет. С заморской чертопхайкой — стало быть, лобогрейкой — что-то случилось. Какой-то косогон порвали. Батя из-за этого распалился, как вот та железяка в горне. Всех работников крестит на чем попало, скоро, наверно, и до вас доберется. Надо, говорит, успеть починить косогон, пока сам Букреев сюда не примчался, а то весь табор разгонит и бате достанется... Вся надежда на вас, ковалей. Пойдемте скорее!..

— Сходи, Афоня, один, посмотри, что там стряслось, — спокойно сказал Корней Федотович, снова берясь за молоток и клещи.

Афанасий послушно собрался, взял кое-какой подручный инструмент и вместе с Пашкой вышел из кузницы.

Над степью, раздуваемое горячим ветерком, плавилось накаленное добела небо. Вдали, там, где стояли некошеные хлеба, словно упал и разлился по степи расплавленный кусок желтого солнца. Под ногами жаром дышала земля, сухая, исполосованная глубокими трещинами.

— Ну и духота, — пробурчал Пашка, вытирая рукавом белой полотняной рубахи мокрое от пота лицо.

— Гляди, гляди, народ зачем-то сбегается к косилке! Со всего загона прут! — удивился Афонька.

Пашка хмыкнул, покрутил головой.

— Наверно, батя лютует, вот и бегут поглядеть. Ему только разойтись, а потом всем чертям тошно будет...

И действительно, в густой толпе сезонников, у самой косилки, размахивая плетью, кто-то хрипло орал, сквернословил. Пашка, стараясь шагать в ногу с Афонькой, зачем-то оглянулся, доверительно зашептал:

— Эту самую заморскую штучку первый год заимели Букреевы. На пробу пригнали ее к нам. За три дня она столько положила хлеба, что не управилась бы и сотня са-

мых лучших косарей. Букреев потому и выгоняет половину людей, а ежели захотят, то пущай, говорит, косят за полцены. Народ, конечно, начал злобствовать на эту проклятую машину, но все-таки согласился работать почти за одни харчи... Куда они денутся? Ихнего брата у букреевских сараев опять целые тыщи. Не захотят эти — другие придут. А нынче, как назло, бах она — и сломалась. Косари, видать, обрадовались. Но кому — радость, а кому — слезки. Отец вон чуть не плачет и лютует как бешеный... Обожди, Афоня, да ведь это не батя орет и плетью намахивает, а сам, кажись, Митька Букреев... Так и есть — он!.. Ну и дела-а... Прискакал-таки, вражина, успел. Ой и достанется же бате!.. Идем скорее!..

Еще издали Афонька услышал знакомый крик Букреева и в общем гвалте чей-то угрюмый и злой голос:

— Братцы, смотрите, коваль прется!.. Не подпущай его к косилке!.. Нехай убирается отсюдова!.. Из-за него опять за одни харчи придется спину гнуть...

— Проваливай отсюдова!..

Перед Афонькой вырос белобрысый мужик в изорванной холщовой рубахе, с большим медным крестом на голой волосатой груди.

Афанасий удивленно остановился. Он не сразу понял, почему, закрыв косилку, плотной стеной сгрудились сезонники.

— Пусти, лапоть! Чего раскорячился на дороге? — с важной суровостью выступил вперед Пашка.

Он с силой толкнул в грудь белобрысого мужика. Тот резко качнулся, попятился, расталкивая спиной толпившихся сезонников.

— Чего, дура, толкаешься?

— А ты, морда слепокурая, видишь, женихова родня идет!.. Знай наших и давай дорогу! — дурашливо захохотал Пашка, врезаясь в толпу. — Разойдись, народ, черт на свадьбу идет!.. Шагай, шагай, Афонька, чего рот раскрыл?

— Братцы, не подпущай, не подпущай их к косилке! — снова послышался чей-то злой голос.

— Я тебе, сволочь, не подпущу! Разойдись!.. — крикнул где-то у косилки Дмитрий Букреев и ожесточенно заработал плетью.

— Ну-ну, барин, не балуй!..

— Чего дерешься?

— Разойдись!..

— Не дури, ваше благородие! Слышишь? Словами ори, а рукам волю не давай!

— Да он же шуткует...

— Я тоже шутковать умею... Заместо плети вот этим держаком так пошуткую, что дух перехватит...

— Хозяин, тебе говорят: не махай плетью, а то сдачи получишь!..

— Вон оно что — угроза!.. Да я вас, бунтовщиков, каторжников проклятых, сейчас же разгоню всех, чтобы и духу вашего тут не было! — окончательно вышел из себя Букреев. — Отойдите от косилки! Что я сказал?! Ну!..

— Вот-вот, хоть раз их благородие правду резанул: все мы тут каторжные!..

Толпа загудела, забурлила, но все же расступилась, пропуская к косилке Афоньку.

Тяжело отдуваясь и вытирая влажным платком обильный пот, Букреев приказал Афоньке:

— Быстрее посмотри, что тут случилось с лобогрейкой, и немедленно произведи ремонт.

Афанасий отстранил рукой рыжебородого приказчика, немо и трусливо тянувшегося перед рассвирепевшим Букреевым, и, обжигая пальцы о накаленные на солнце металлические части, стал осматривать косилку. Поломка оказалась пустячной. Поврежденный косогон Афонька мог быстро исправить, но почему-то продолжал возиться у косилки и загадочно молчал.

— Что там?.. — озабоченно осведомился Букреев, тяжело сопя под ухо Афоньки. — Чего, я тебя спрашиваю, тянешь? Почему молчишь?.. Коль не смыслишь в этом деле, так и скажи. Ну?..

Афанасий молча пожал плечами, поднял глаза на Букреева, потом посмотрел на толпившихся вокруг сезонников. Оборванные и грязные, до черноты обожженные знойным солнцем и жгучими ветрами, обозленные и страшные в своей затаенной решимости, они угрюмо молчали, с нескрываемой враждебностью глядя то на взбешенного Букреева, то на растерявшегося кузнеца.

— Ну?.. — зловеще сквозь зубы процедил Букреев, выразительно играя плетью.

Толпа замерла, ожидая ответа. Все понимали, что судьба многих сезонников зависит сейчас от кузнеца. Если Афонька возьмется отремонтировать косилку, то часть из них будет незамедлительно уволена или станет работать за одни харчи. Если же он откажется, то наверняка сегодня сам будет выгнан из экономии.

Что делать? Как быть?.. Эх, жаль, что нет рядом дяди Корнея. Он уж рассудил бы и посоветовал...

Словно разгадав мысли парня, Букреев раздраженно приказал:

— Позвать сюда того черта кривого! Пусть еще он тут поворожит. — И, обращаясь к Афанасию, пригрозил: — А тебе, дармоед, я покажу, кто здесь «заглавный хозяин»!.. Ты у меня поиграешь в молчанку!..

«Да, теперь он сорвет на мне зло за все сразу, ежели я откажусь чинить косилку», — подумал Афонька. Ему стало не по себе.

— За что, барин, гневаешься на коваля? Видишь, парень ума не приложит, что там стряслось. Не у каждого хватит смекалки на эту штуку, — неожиданно заступился кто-то за Афоньку. — Отвези ты ее, ради бога, назад, не баламуть народ. Мы и без лобогрейки управимся...

Афоньке хотелось сказать своему заступнику, что у него, Афоньки, хватит ума и смекалки разобраться в этой заморской «чертопхайке» и он может сам сейчас же все исправить. Задетое ребяческое самолюбие, забота о дяде Корнее, заветные помыслы о Насте и боязнь быть немедленно изгнанным из экономии взяли верх над жалостью к этим вот людям, толпой стоявшим у косилки. Потупив глаза, Афонька неуверенно произнес:

— Может, я сам починю...

— Постой, сынок, дай-ка еще и мне взглянуть...

К косилке, шурша кожаным задубевшим фартуком, поспешно подошел старый кузнец.

Букреев оживился. Хлопнув по голенищу сапога плетью, одобрительно крякнул:

— Вот и хорошо!.. Давно бы так!.. Гони, Пашка, лобогрейку к кузнице, там им сподручнее будет ремонтировать.

В толпе послышались возмущенные возгласы:

— Эх вы, ковали, народ захотели оголодить?..

— Христопродавцы!..

— Не давай, братцы, им косилку!..

— Совесть, совесть где ваша рабочая?..

— Наверно, за голенище Букреева схоронили!..

— Корней, Корней, скоро ты забыл Темерницкую балку!..

— Вы чего, дурачье, глотку рвете? — усмехнулся Корней Федотович, закончив осматривать лобогрейку. — Правильно тут сказал Афоня: починить косилку можно. Не гнать же ее, в самом деле, за границу. — И, повернувшись к Букрееву, он лукаво прищурил глаз: — Но чинить, хозяин, придется долго, а у нас сейчас дел и так много. Прокопий Алексеевич другой работы на все лето надавал. Вот закончится страда,

можно потом осенью, по холодку, и эту трудную работенку провернуть, даже заново откуем косогон... Верно, Афоня? Откуем?..

Афанасий внезапно почувствовал, как пламенем загорелись уши, лицо и шея. Стыдно стало парню за свое малодушие, он поднял голову, прямо взглянул на людей и твердо ответил:

— Верно, дядя Корней, потом откуем.

Надо было посмотреть в это время на Дмитрия Букреева! Словно кто-то невидимый схватил его за кадык и с силой сжал стальными пальцами горло. На багровом, мокром от пота лице выпучились глаза, отвис тяжелый подбородок. Букреев не в силах был выдавить из себя ни одного слова.

— Дивитесь, хлопцы, як хозяина кондрашка хватил! — захохотал кто-то в толпе.

— Погоди трошки, зараз прорвет его...

— Не робейте, ребята!..

— Молодцы, ковали, уважили народу!..

Дмитрий с величайшим усилием поборол приступ лютого бешенства и, задыхаясь, проговорил:

— Хорошо, господа кузнецы. Вам сейчас жарко работать, захотелось осенней прохлады. Ну что ж, мы доставим вам это удовольствие. — И, повернувшись к приказчику, коротко выкрикнул: — Уволь!.. Немедленно!.. Сию же минуту!.. Духу чтоб здесь бунтарского не было!.. — Круто повернувшись на каблуках, Букреев устремился к стоявшей в стороне пролетке.

ГЛАВА XVII

Далеким степным костром догорел где-то в бурьянах неяркий закат, и в гнетущем безмолвии все уснуло вокруг. Только настойчиво верещали полевые сверчки да под легкими порывами суховея, похрустывая, шуршала пересохшая трава.

Оттого что ночь выдалась темная, кобыла, тревожно пофыркивая и настороженно прядая ушами, шла по дороге, как слепая, высоко вскидывая некованые копыта. Осип, положившись на чутье лошади, свободно отпустил повод уздечки: все равно этот шлях приведет к Трехбратской падине.

Вначале Осип был доволен, что ему никто не встретился на пути, не видел его трусливого бегства из родного хутора. Затем одиночество стало его тяготить. Чтобы немного разв-

лечься, отогнать черные мысли, он робко, вполголоса завел старинную казачью песню, тягучую и тоскливую:

Зеленый дубочек на яр похилился,
Молодой казачок, о чем зажурился?..

Но сейчас же пожалел об этом. На голос Осипа где-то поблизости, в лощине, эхом отозвался хриплый, с подвывом, собачий лай, а вслед за ним призывно раздалось:

— Ого-го-о!.. Добр человек, подожди, ради христа, одну минутку!..

Осип умолк, хотел было толкнуть лошадь и рысью проскочить мимо, чтобы избежать нежелательной встречи, но раздумал. Что, собственно, ему прятаться от людей? Убил ли он кого, ограбил или бесчестно обманул? Нет. Совесть его чиста. Кому какое дело, что он едет на заработки к Букреевым...

Осип решительно натянул повод, остановился. Минуты через три лошадь, всхрапнув, шарахнулась в сторону. Из густых зарослей придорожного бурьяна и чернобыла с хрустящим шумом выскочила собака и вслед за ней вывалилась на дорогу черная фигура низкорослого человека, закутанного не то в чекмень, не то в бурку.

— Фу-у!.. Насилу добег... Вот спаси Христос, подождал все-таки, — послышался в темноте задыхающийся старческий говорок. — Прямо беда нынче с людьми стала. Ужо третьего проезжего окликаю. Только зашумлю, а они, как сговорились, ударят по коням — и скорей ходу от меня. Чума их знает, чи за грабителя принимают, чи за беглого бунтовщика... А чего им пужаться чабана?.. Моя герлыга не стреляет, — засмеялся подошедший, воинственно потрясая длинной палкой.— Ну, доброе здоровье, мил человек!..

— Слава богу,— отозвался Осип, присматриваясь к чабану.

— Нет ли у вас, добр человек, табачку на цигарку? Верите, целую неделю без курева, свет не мил... Я уж все перепробовал: и донник, и чебрец, и полынок, и всякую другую пакость. Даже скотиньи кизяки с кураем смешивал... Весь прокоптился, а толку мало...

— Ну коль такая нужда, то найдем малость, дядя Никита, — улыбнулся Осип, доставая кисет.

Он узнал Никиту Ивановича Сазонова.

— Ты меня угадал? Вот здорово!.. — обрадовался чабан.— А ты чей же будешь?

— Я — Осип Топилин.

— Это, кажись, из казачьего хутора?.. Скажи на милость!.. А я сразу и не признал тебя. Ну, сынок, дай, ради бога, скорей курева, а то я, наверно, у ног твоей коняки сейчас же пропаду...

Осип соскочил с лошади, привязал повод к ее передней ноге и пустил у дороги, а сам вместе с Никитой Ивановичем присел на обочине. Закурили. Остаток табаку Осип щедро пересыпал из кисета в ладонь старика.

— Дядя Никита, как это вас сюда занесло? Вы же при церкви в пономарях служили вместе с попом Исаем.

— Э-э, казачок, не спрашивай. Как же заносит?! Попутным ветром... Нанялся вот к Букреевым на лето овец пасть. Сам знаешь, у меня семеро ртов, а у пономаря какой заработок? Батюшка, правда, нет-нет да и пожертвует на какой-нибудь годовой праздник от церковных сборов медный грош али, скажем, кусок пирога. Но и то, ежели матушка, попадья Федулия Силантьевна, не видит. При ней никогда не перепадет. Она, я тебе скажу, дюже скупая да жадная. Может, оттого, что она по роду и племени из духовного звания. С детства привыкла все доходы от прихожан прибирать к рукам. Попробуй потом у нее выманить хоть шерсти клок — ни за что!.. Иной раз сама не жрет, но и другому ни крошки не даст... Ведь что приключилось на пасху! Насобирали разных куличей, яичков крашеных, сала, сюзьмы и всякой другой снеди столько, что некуда девать. Весь погреб под домом битком набили. Куда, спрашивается, им двоим столько? (Сынка-то ихнего заарестовали на спевках и куда-то увезли.) Но веришь, яйца разбитого Федулия Силантьевна не дала, куска черствого от кулича пожалела моим детишкам отломить... И лежит все это добро неделю — ничего, терпимо. Недели же через две душок тяжелый пошел, а потом такая вонь хлынула, что, веришь, человека с ног сшибала... Как-то матушка сама вздумала сходить в погреб. Открыла она тихонько дубовую дверь, зашла в подвал и, не дыша от радости, стала любоваться кучами добра. Потом невзначай хватила через ноздри той самой вони — и вдруг как шибанет ее навзничь! И на грех она угодила своим толстым местом в корзинку с яичками. А баба она, сам знаешь, тушистая, этак пудов на восемь, — все смяла и подавила. И из того гнезда такой тухлый да крутой смрад хлынул, что нашей бедной матушке чуть всю требуху не вывернуло... Когда отец Исай хватился, то она уже без всякой сознательности лежит в корзине и ртом зевает, как утопленница... На второй день вызывает меня батюшка к себе и велит идти к попадье. Захожу это я в опочивальню,

оглядываюсь. Федулия Силантьевна лежит на пуховике вся желтая, как переспелая дыня-болтушка, тяжело дышит, икает, будто с похмелья, и отплевывается в лохань. Взглянула она на меня мутными глазами и жалобным голосом говорит: «Никитушка, возьми, дорогой, себе все добро, что в погребе лежит, нехай детишки полакомятся за наше здоровье...»

Нет, думаю, лопай ты сама теперь это добро. И натурально, отказался.

«Ну, тогда, — просит она, — помоги ты, ради бога, моему Адиоту (это она такую кличку батюшке придумала), помоги, — говорит,— очистить погреб от той пакости. Выкиньте все на свалку собакам». «Нет, — говорю, — матушка, грешно все это выкидывать собакам на свалку, потому оно святой водой побрызгано в великое Христово воскресение. Да и не каждая собака рискнет жрать эту гниль. Собака, говорю, тварь капризная...» «Все равно, — кричит, — куда угодно выкиньте, только скорей, а то из погреба вонь добирается уже сюда, в дом!.. Всех нас задушит!»

Ну, мы с ихним работником за сараем наскоро выкопали яму, все туда свалили, землицей засыпали и даже бугорок смастерили, как на могиле, чтобы вонь не прошла...

Вот опосля этого я и плюнул на свое пономарство и сюда подался овец пасть. Тут хоть к осени на кусок хлеба заработаешь. Да и житуха привольная. Гуляешь себе по степи во все стороны, как ветер. Куда захотел, туда и поворачивай отару. Нету тут ни попа, ни попадьи, даже сам Букреев не сразу в степях найдет тебя...

— Дядя Никита, а где зараз ваша Ульяна Никитишна?— вкрадчиво, с неожиданной робостью спросил Осип, не дослушав чабана.

— Кто? Ульяна Никитишна?.. Улька, что ли?.. Хо-хо!.. Нос у нее не дорос, чтобы ее по батюшке величать... Где же ей быть? Тоже работает у Букреевых, пока коров доит на Трехбратской...

— На Трехбратской? Вот здорово! Вот хорошо! — вдруг обрадовался Осип, порываясь встать.

Ему захотелось немедленно скакать туда, чтобы скорей повидать Ульяну. Он давно уже заприметил и отличил от других эту статную и, как ему казалось, очень красивую и в то же время скромную девушку. Даже несколько раз пытался вечером провожать ее с игрищ домой. Но, застенчивый и робкий в обращении с девушками, он обычно в сторонке, шагах в пяти-шести, молча сопровождал ее до самого двора. Когда же скрипела и закрывалась за ней калитка,

он топтался на месте, курил и, проклиная себя за робость, понуро брел домой.

Иной раз Ульяна приостановится у калитки, украдкой оглянется и, явно что-то выжидая, замешкается, будто не может найти щеколду, но так и не дождется решительного шага от своего несмелого ухажера.

«Вот теперь-то я там уж все скажу ей», — решил Осип, а вслух снова повторил:

— Вот хорошо!..

— А чего тут хорошего? — не понял старик восторга Осипа. — Там тоже не сладко. Руки распухают, пальцы деревенеют, а попробуй плохо выдоить хоть одну корову, так тебя приказчик сейчас же штрафом стеганет. Правда, Ульяна сызмальства к работе приученная. Сказывают, что недавно на зимовник прискакал Митька Букреев. Увидел, как Улька коров доит, и дюже расхвалил ее, даже пообещал на осень перевести в главную усадьбу, чтобы она доила корову, изпод какой он сам каждый день пьет парное молоко. Видал!.. На днях даже косынку батистовую ей подарил...

Осип, не дослушав рассказ Никиты Ивановича, встал, угрюмо сказал:

— Зря это она...

— Что — зря?

— Зря, говорю, барские подачки принимает... За одну работу господа не дюже раздаривают гостинцы...

— Постой, постой! Выходит, Улька, по-твоему, не за работу получает подарки?.. А за что?.. Это к чему же ты клонишь? Куда гнешь?

— Все туда же... — сдержанно буркнул Осип, садясь на лошадь.

— Нет, постой, паршивец, ты толком обскажи! — опираясь на герлыгу, проворно поднялся с земли Сазонов.

— Нечего мне говорить!.. Брось придуриваться, дядя Никита! Будто ничего не понимаешь!.. Все понимаешь! — зло выкрикнул Осип и рубанул плетью лошадь.

Кобыла, рванувшись, с места взяла галопом. Уже издали Осип едва расслышал:

— Нет, брешешь, не таковская у меня Улька! Ишь, с-сукин сын, что выдумал!.. Мало тебя, черт драный, секли на майдане!.. У самого, наверно, еще коросты не засохли, а он туда же... Я вот... тебя-а-а!..

Топот копыт и свист ветра в ушах заглушили отдаленный крик старика. Но первые обидные слова, кинутые наугад в темноту, без промаха достигли цели и больно ранили легко уязвимое сердце оскорбленного парня.

— Ну, знать, и сюда, в степя, дошли слухи об моем проклятом позорище... Эх, жизня, будь она проклята!.. — зло выругался Осип, вытирая рукавом слезы, выступившие не то от резкого ветра, не то от горькой обиды... Желание ехать на зимовник к Букреевым пропало, и Осип, натянув повод, перевел кобылу на шаг, затем остановился. Надо было подумать, что делать дальше. Стоит ли ехать туда, где его могут вот так же незаслуженно обидеть?! Однако как он ни мучился в раздумье, не смог найти более правильного решения. Злобясь на себя, Осип чертыхнулся, толкнул кобылу и снова направился в Трехбратскую падину.

На востоке, у самого горизонта, тонко стал розоветь край неба. И там, где светлый разлив зари омыл небосвод, незаметно таяли, исчезали редкие побледневшие звезды, точно в раннюю оттепель пушистые снежинки, запоздало упавшие на темно-голубую гладь отсыревшего льда.

Осип поднял голову, удивился: «Вот уже и рассвет... А вон, кажись, и зимовник... Надо было прибыть пораньше, когда все спят...»

Не желая встретить кого-либо из знакомых, он свернул с дороги, спешился, стреножил кобылу и пустил в суходол, а сам направился в обход, к дальним базам и коровникам, откуда можно легко добраться незамеченным до конторы приказчика. Но чего он не хотел и даже боялся, то и случилось. Первой, кого он повстречал у база, была Сазонова Улька. Она успела, вероятно, уже подоить коров и сейчас куда-то спешила с кувшином парного молока. Увидав Осипа, Улька искренне обрадовалась:

— И ты к нам?.. Вот хорошо!.. Ну, здорово живешь! — Она дружески подала растерявшемуся парню по-мужски крупную, влажную и липкую от молока руку. — А у нас тут заваруха пошла!.. Все взбунтовались!.. Работу побросали!.. Даже мы коров перестали доить, телят подпустим — и айда за сараи!..

Оглянувшись, Ульяна почти вплотную приблизилась к Осипу, доверительно зашептала:

— Что тут творится — уму непостижимо!.. Сезонники схватили и заарестовали самого хозяина Митьку Букреева!.. Сидит он теперь в овчарне и ничего не жрет. Не дай бог с голоду подохнет! Тогда из-за него беды не оберешься... Вот я и бегу молоком парным его поить... Только от меня и берет...

Хихикнув, Улька поправила на голове батистовую косынку, одернула на полной груди кофточку, заторопилась:

— Ну, я побегу... Еще повидаемся...

Осип с тоской посмотрел ей вслед, враждебно пробормотал:

— Иди, иди, стерва продажная... Может, барских гостинцев получишь.

ГЛАВА XVIII

Размолвка между Прокопием Букреевым и Аполлинарией Викторовной произошла неожиданно и имела тяжелые последствия. Как-то Букреев, объезжая дальние участки экономии, задержался и прибыл в центральную усадьбу поздно ночью. В такое время в доме обыкновенно его никто не ждал и все погружалось в сон. На этот раз в гостиной ярко горели огни. Прокопий удивился. Предполагая, что в доме какие-нибудь нежданные гости, он поспешно сбросил с себя пыльник, торопливо переоделся в просторный домашний костюм и, осторожно, мягко ступая по ковровой дорожке, направился в гостиную. Ему захотелось войти внезапно, надеясь, что этим он вызовет в компании приятное оживление.

Сохраняя на обветренных, сухих губах улыбку, Прокопий бесшумно приблизился к двери и хотел было рывком открыть ее и застыть на пороге. Он заранее знал, как радостно ахнет при этом компания, как по-молодому взвизгнет Аполлинария, словно девочка, бросится к нему на шею, прижмется к его широкой груди, прильнет своими нежными, волнующе жадными губами к шершавой загорелой щеке, пахнущей солнцем, степными травами и дорожной пылью. А потом, мило капризничая, будет всем жаловаться на своего «степного медведя». Ведь он часто оставляет ее одну, забывая, какой мучительной скуке подвергается она в этой «берлоге», какую душевную пустоту испытывает в одиночестве. Лукаво улыбаясь, она скажет потом, что женское сердце не любит пустоты...

За дверью вдруг раздался чуть внятный звук гитары. Чей-то мужской бас тихо взял низкую ноту, и почти тотчас же зазвенел смех жены.

«Никак, попович?.. Развлекает... — с досадой подумал Прокопий, ожидая встретить среди гостей молодого сына попа Исая. — Дурит баба... Как только гости, так обязательно за ним посылает...»

Усталым движением руки он открыл дверь, шагнул через порог—и сейчас же в изумлении остановился. В глаза бросились стол, накрытый на две персоны, недопитые бокалы янтарного вина, несколько разномастных фигурных бутылок с яркими нерусскими этикетками и внизу, у точеной ножки

стола, небрежно брошенные женские туфли. В дальнем углу комнаты, на широченной кавказской тахте, покрытой персидским ковром, полулежала напуганная Аполлинария Викторовна. У ее ног, в неловкой позе, окаменел с гитарой в руке смущенный попович.

«Все понятно... На руках унес...» — догадался Прокопий, поспешно расстегивая ворот рубахи. Ему вдруг стало душно.

— Ой! Копа!.. Как ты неожиданно вошел... — защебетала жена, проворно вскакивая с тахты. — Почему ты задержался?.. Я уж думала, что ты останешься ночевать где-нибудь на участке... Посмотри, Копа, кто к нам пожаловал... Ты помнишь, перед пасхой, по глупости местных невежд, арестовали Романа Исаевича и увезли в Новочеркасск?.. Смешно сказать, ему предъявили обвинение, будто он с певчими в великий пост злонамеренно разучивал в церковной караулке запрещенные песни... Глупости, он просто прослушал несколько простонародных песен, чтобы разбить хор на голоса... Ну там, конечно, разобрались и отпустили... Он только сегодня возвратился и... прямо к нам... Ты ему очень нужен... Мы так ждали, так ждали тебя!..

Прокопий, будто не слыша торопливого лепета жены, с застывшей улыбкой, неприятно исказившей его побледневшее лицо, поклонился гостю, молча прошел к столу, поднял опрокинутый стул, толкнул ногой валявшуюся туфельку и тяжело опустился на сиденье.

— Та-ак, значит, ждали... Ну что ж, выпьем... за встречу... — чужим, охрипшим голосом предложил Прокопий, потянувшись к бутылке.

Гость, несколько оправившись от конфуза, принял предложение, сел за стол.

— Видите ли, Прокопий Алексеевич, я к вам по весьма деликатному делу... Находясь на днях в жандармском управлении...

— Аполлинария, а ты почему не садишься? — Не слушая поповича, Прокопий мрачно взглянул на жену, поспешно приводившую в порядок свое измятое шелковое платье и растрепавшуюся прическу.

— Я, Копа, уже выпила за встречу...

— Все равно садись! — приказал Прокопий и поднял бокал.

Аполлинария Викторовна покорно села. Выпили. Помолчали.

— Я слушаю вас, милостивый сударь... Какие у вас ко мне дела?

— Собственно, дел у меня никаких нет, а маленькая

просьба... Я должен представить в жандармское управление письменное подтверждение от высокочтимых господ-соседей о моем благопристойном поведении в Степном Куте. Это избавит меня от дальнейшего пребывания здесь... Могу ли я рассчитывать на вас?..

— А-а, вон как? — протянул Прокопий и невольно смутился.

Он не знал, что ему ответить. Не так давно с Букреевым вел разговор агент жандармского управления, пытаясь выяснить, каково поведение административно высланного под опеку родителей поповича. Вначале Прокопий возмутился бестактностью агента, который посмел обратиться к нему с таким вопросом, и отказался вести разговор на подобную тему.

— Вы меня извините, господин Букреев, но я действую в интересах вашего же благополучия, — упрямо, с профессиональной настойчивостью добивался агент. — Ведь ходят слухи, что неблагонадежный часто вхож в ваш дом и чуть ли не является другом семьи...

Очередная бестактность агента взорвала Букреева. Однако он тут же спохватился, сдержал себя и, помедлив, спокойно, но крайне враждебно дал резко отрицательный отзыв, выразив при этом желание убрать куда-нибудь подальше этого субъекта, так как родители на него, видимо, не могут оказать благотворного влияния. Агент пообещал вскоре выполнить просьбу Прокопия.

Теперь же этот «друг семьи» соизволил обратиться с просьбой дать ему положительный отзыв о его поведении... Это уж слишком!..

— Видите ли, милостивый государь, полицейской службой я не занимаюсь, доносов в жандармское управление не пишу... Да и, к сожалению, я до сих пор не имел счастья знать, за какие заслуги вы оказались в наших местах...

Поповича покоробил тон Букреева. Подыскивая достойный ответ, он некоторое время угрюмо молчал.

— За какие заслуги? — раздраженно переспросил Роман и вдруг громко, с мрачной торжественностью произнес: — За принадлежность к партии эсеров, социалистов-революционеров!.. Ясно теперь вам?..

Букреев недобро улыбнулся:

— Ну и что же вы совершили, господин социалист?..

— Вы хотите знать, во имя чего мы боремся?

— Нет, я кое-что знаю... Читал на днях некоторые прокламации Донского комитета социал-демократов...

— О нет!.. Вы не путайте социал-демократов с нами! —

с полемическим задором воскликнул попович. — Они, как вам известно, делают ставку на худоконную лошадку, на фабричный сброд, на так называемых пролетариев... Мы же опору ищем здесь, в деревне, у русского мужика!.. И победную революцию совершим только мы, вот этими руками!..

— Не слишком ли слабы эти руки, господин социалист? — усомнился Прокопий, презрительно взглянув на его тонкие пальцы, нервно сжимавшие длинную ножку хрустального бокала.

— Напрасно вы беспокоитесь за наши руки, господин либеральный помещик!.. — в тон Букрееву ответил попович и, чуть помедлив, загадочно добавил: — Когда надо было, они не дрогнули перед опасностью!..

Не ожидая приглашения, Роман сам наполнил себе бокал и тут же мгновенно осушил.

— Вы хотите доказательств?.. Пожалуйста!.. Вот свидетель силы нашей карающей руки!..

Пьяно качнувшись, он вдруг стремительно поднялся из-за стола, резко отбросил полу пиджака. На тонком поясном ремешке блеснул серебряной оправой кинжал кавказской отделки. Рисуясь, попович вздрагивающей рукой коснулся нарядных ножен, клятвенно прошептал:

Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный!..

Букреев скривился.

— Вы не смейтесь!.. — обиделся попович. — Скоро, да-да, скоро настанет тот день, когда простой мужик возрожденной России будет, если хотите, целовать, как святыню, вот эти, именно эти наши руки, обагренные кровью врага, так как мы и только мы откроем всему человечеству врата социальной справедливости!..

«Глупая романтика!» — подумал Букреев, с презрением глядя на расходившегося поповича. Его раздражало, что захмелевшая Аполлинария, как девчонка-гимназистка, с восхищением слушала этого новоявленного героя-социалиста, завороженно глядя на его театрально-воинственную позу.

Букрееву противно было наблюдать все это, ему захотелось взять пьяного гостя за шиворот и вытолкнуть за дверь. Встав, он резко сказал поповичу:

— Ну-с, господин социалист, я, к сожалению, ничем полезным быть вам не смогу. А посему — будьте здоровы, счастливого пути. — Повернувшись к жене, озабоченно напомнил: — Полина, наш гость, кажется, с дороги и, видимо, изрядно утомился...

Когда разобиженный попович, хлопнув дверью, ушел домой, Аполлинария Викторовна захандрила. Она вдруг расплакалась, начала жаловаться на головную боль и на перебои сердца, потом потребовала еще вина. Окончательно захмелев, она приказала отнести ее в спальню. Там, капризничая, заставила мужа раздеть ее и уложить в постель. Путаясь в кружевах, бесчисленных лентах и шелковых тесемках, Прокопий долго не мог расшнуровать и снять пышное, но уже примятое платье.

— Фу какой ты медведь!.. Скорей!.. — раздраженно требовала Аполлинария, брезгливо отталкивая неловкие и грубые руки мужа. И, желая чем-либо досадить ему, она с рассчитанной жестокостью бросила в лицо насмешку: — Не можешь, так хоть Ромку позови... У него, пожалуй, быстрей получилось бы...

— Что?.. Как ты сказала?.. Он раздевал тебя, что ли?..

— Ха-ха-ха!.. — притворно захохотала Аполлинария Викторовна, трусливым зверьком выглядывая из-под одеяла на угрожающе помрачневшего мужа. — Вот опять придираешься к слову... Я сказала — получилось бы... Понимаешь — бы!.. бы!.. Даже глупо!.. К мальчишке ревнуешь... Да-да, глупо и глупо!.. Теперь я понимаю, ты и отказал ему в просьбе в отместку мне... потому что ревнуешь!..

— Ну знаешь ли... это уж слишком!.. — процедил сквозь зубы Прокопий, с ненавистью и любовью глядя на притихшую под одеялом жену.

Он немного постоял у кровати, борясь с мстительным желанием грубо, по-мужицки, оскорбить эту легкомысленную и вместе с тем любимую женщину. Скрипнув зубами, он повернулся и молча вышел из спальни.

После этого Прокопий закрылся в своем кабинете, приказал горничной принести туда из подвала ящик засургученных бутылок с донским вином давнего розлива и, не закусывая, стал пить. К утру в беспамятстве свалился на диван. Проснувшись, снова пил. И так несколько дней. На стук в дверь никому не отвечал, не желал никого видеть. За неделю он оброс грязновато-желтой щетиной, обрюзг.

В комнатах воцарилась жуткая тишина, все ходили на цыпочках, разговаривали вполголоса, словно в доме лежал покойник...

На восьмые сутки запоя Прокопий, очнувшись от тяжкого сна, долго лежал на диване, бездумно блуждая отупевшим взором по живописным фрескам потолка. И как раз в эту минуту он услышал во дворе лай собаки, топот лошади, шум, крик и возню около крыльца дома.

— Да пропусти, черт тебя возьми!.. Там бунт!.. Бунт в экономии!.. Понял?! — зло кричал кто-то у самой двери.

— Сказано тебе: нельзя — значит, нельзя!.. Не велено никого пущать... Барин хворый... Вот и все... — степенно отозвался чей-то голос. — И ты тут дюже не разоряйся, не ори, а то живо...

— Да пойми ты, дед, — понизил голос кричавший, — у нас на Трехбратской падине бунт! Понимаешь, бунт!.. Все сезонники взбунтовались и...

— Все одно нельзя... И без барина вода освятится... Не пущу! Не толкай, паршивец! Не толкай, тебе говорят!.. Куда без разрешениев прешь нахрапом?..

— Да ты чего раскорячился в дверях и бороду распустил по ветру, как кобылий хвост?.. Пусти!.. О таком деле в один момент доложить надо!..

— Кто там шумит? — слабым голосом простонал Прокопий.

До его сознания медленно доходил смысл услышанного. Наконец понял — всполошился. Вскочил с дивана. От быстрого движения закружилась голова и к горлу подкатил противный ком. Качнувшись, он схватился за косяк двери, глухо застонал. Тут же, у двери, его стошнило. Обессиленный Прокопий снова свалился на диван.

За дверью притихло было, но потом опять поднялась возня.

— Кто там? — простонал Прокопий.

Он действительно почувствовал себя страшно больным.

— Я!.. Я, Пашка Бурцев... из Трехбратской... Бунт у нас, а дед Глоба никого к вам не пущает...

— Пропустить!.. — коротко приказал Букреев, устало закрыв глаза.

Минуту полежал в каком-то полузабытьи и, когда приподнял опухшие веки, увидел перед собой по-военному вытянувшегося толстомордого парня, отменно изукрашенного многочисленными багрово-синими кровоподтеками и ссадинами.

— Что случилось у вас?..

— Все взбунтовались, ваше благородие!.. Требуют обратно возвернуть ковалей... А ваш братец Митрий Алексеевич отказываются... Такая заваруха пошла... Схватили нас, заарестовали, в овчарню посадили. А я ночью продрал крышу, вылез потихоньку, поймал в косяке кобылу — и скорей сюда...

— Постой-постой!.. Ничего не понимаю! — перебил Пашку

Прокопий. — Ты мне толком и по порядку расскажи, что случилось. Садись сюда.

Пашка послушно сел на край дивана, размазывая рукавом рубахи на потном лице грязь и запекшуюся кровь, облизал распухшие губы и стал рассказывать уже более спокойно:

— Все получилось из-за проклятой косилки. Косогон там какой-то порвался. Ковали отказались чинить. Барин Митрий Алексеевич разозлился и повелел насовсем выгнать их из экономии. Мужики за них горой, просят оставить... Барин — ни в какую... Тут сезонники и взбаламутились. Поначалу шумели, кричали благим матом, а потом сговорились, бросили работу, сложили в костры вилы, грабли, косы, сами же под копны в холодок залегли...

— Дмитрий, Дмитрий-то что сделал? — привстал на диване Прокопий, окончательно трезвея.

— Митрий?.. Да что Митрий?.. Как он ни лютовал, ничего не мог поделать. Лежат, черти драные, мирно под копнами — вот и все. Никакой зацепки. Тогда барин приказал закрыть колодезь, воду никому, окромя скоту, не давать. Батя посадил на цепь у сруба колодезей волкодавов, а мне повелел выгнать из зимовника ковалей... Я им кричу: «Проваливайте отсюда!» Они только зубы скалят, на смех меня берут. Разозлился я, сгреб деда Корнея за грудки, он упирается. Ну тут я вцепился ему в бороду и попер от зимовника на дорогу. Глядь — ко мне Афонька бегом, рванул за шиворот, а я его наотмашь. Он опять меня по загривку. Я круть назад, оглобли в руки — и к нему... Смотрю, работники кинулись на подмогу к ковалям, а батя с барином — ко мне... Тут Афонька словчился да как саданул меня между глаз, я и копыта в сторону, сажен пять летел, стерню всю спиной разгладил. Вишь, какой бутон расцвел... Гы-гы! — дурашливо хмыкнул Пашка, бережно ощупывая пальцами багровую шишку на лбу. — Но я тоже в долгу не остался...

— Брось молоть ерунду! Дальше-то что было?! — вскричал Букреев, вскакивая с дивана.

— Дальше?.. Ну, дальше нам скрутили назад руки — и в овчарню. Барин лежит на соломе, дергается, рычит на всех и от злости слезами обливается... Ночью, слышу, зовет меня. Я тихонько подполз к нему. Он повелел перегрызть у него на руках веревку, а потом развязал меня и приказал продрать соломенную крышу — и скорей к вам, чтобы выручали... Сам он убоялся со мною уходить. Мужики, говорит, поймают — на месте прикончат...

— Так, все ясно!.. Эх, Дмитрий, Дмитрий!.. Дурак!.. Воды! Ведро воды! Полотенце!.. — крикнул Букреев в дверь, рывком сбрасывая с плеч измятый халат. — Эй, дед Глоба, прикажи немедленно запрягать лошадей! Живо!..

Окатив себя с головы до ног холодной колодезной водой, Прокопий, возбужденный и посвежевший, но со страшными следами многодневного запоя, мчался на линейке по пыльной степной дороге к месту тревожных событий. На предложение Пашки взять с собою полицейских или казаков Букреев только усмехнулся и небрежно махнул рукой.

К полудню Прокопий Букреев подъезжал к зимовнику. Взмыленные лошади тяжело носили боками, часто спотыкались на ровном, на ходу покачивались как пьяные, а Прокопий все хрипел вознице:

— Гони! Гони!.. Кнута дай!..

Кучер тревожно оглядывался на хозяина, отчаянно гнал лошадей. Его пугал жалкий, болезненный вид Букреева. Та бодрость, с которой он тронулся в путь, бесследно исчезла. Долгая езда, знойное солнце и еще не выбродивший хмель сделали свое пагубное дело: Прокопий ослаб и совершенно раскис. Омерзительные спазмы тошноты почти всю дорогу терзали его, в голове шумело. Букреев стонал, встряхивал всклокоченной головой.

Кучер, видя страдания хозяина, несколько раз пытался перевести лошадей на шаг, чтобы не так трясло, но Прокопий возмущенно кричал:

— Чего стал?! Гони! Гони без остановки!

Сзади пролетки верхом рысил Пашка. Он тоже приморился. Надо было сделать привал, передохнуть немного, но где там... Букрееву теперь не до отдыха. Ему-то хорошо на линейке покачиваться, а тут каково без седла трястись на этой вислоухой худобе, которую Пашка вчера ночью сумел изловить в косяке, бродившем неподалеку от зимовника! Благо, что скоро конец. Вон уже вдали завиднелись постройки. Кажется, и сам Букреев заметил: приподнял голову, тянет, как дудак, шею. Может быть, он увидал вон того мужика на дороге, что идет навстречу? Надо бы узнать от него, что там, на зимовнике, сейчас делается. Живы ли батя и Митька?..

Букреев что-то сказал кучеру и показал на одинокую фигуру пешехода. Возница придержал лошадей, поехал шагом. Но каково было изумление Пашки, когда пролетка, поравнявшись с мужиком, вдруг рванулась и понеслась вперед, подняв густые клубы дорожной пыли.

Минут через пять Пашка нагнал пролетку и долго смотрел

на Букреева и никак не мог понять, что с ним творится. А с Прокопием действительно происходило что-то странное: он тер кулаками глаза, удивленно оглядывался назад, несвязно бормотал:

— Боже, я с ума схожу... Может, белая горячка?.. Он повсюду преследует меня... Даже в этом оборванце-мужике мне мерещится его лицо... Михалыч, ты обратил внимание, кто сейчас с нами повстречался?..

— Да, никак, сынок отца Исая обратно возвертаются, — спокойно ответил кучер.

— Кто?.. — еще больше удивился Прокопий.

— Сынок, говорю, отца Исая пошли. Я ведь позавчера их подвозил сюда, барыня приказали... Чудит парень... — Возница осуждающе покрутил головой. — Выехали мы с ним в степя, он достал узелок, оделся вон в тот мужицкий убор, а свой схоронил в терновом кусту... Теперь, видите, пешком возвертаются... Дойдут, наверно, до того куста, переоденутся и опять человеком станут...

— А ты что же, старый черт, молчал? Почему мне не доложил?

— Они пригрозили, чтобы я помалкивал, и барыня наказывали молчать. Окромя того, вы хворые лежали...

— Сволочи!.. Зачем все-таки этот социалист ко мне на зимовник ездил?..

— Не могу знать...

— Всюду, везде предательство! Никому нельзя верить!.. — беспомощно простонал Прокопий. — Пашка, ну-ка скачи вперед, разузнай там все хорошенько и встречай меня... В случае чего... дай знать!.. Понял? Гони!..

ГЛАВА XIX

На Трехбратской падине шла молчаливая борьба. Сезонники поставили условия, что если Дмитрий Букреев согласится снова взять на работу кузнецов и других уволенных им работников, будет впредь выплачивать всем заработок по цене, ранее объявленной при найме, и угонит из зимовника косилку, то они немедленно приступят к жатве, а его, Букреева, и приказчика Бурцева освободят из овчарни. На это предложение Дмитрий ответил презрительным молчанием. Сезонники теряли терпение, волновались. Вокруг овчарни густой толпой стояла стража из добровольцев, вооруженных вилами, косами-литовками, оглоблями и держаками. Дело осложнялось тем, что Букреев отказался принимать пищу. В землянке, где жили кузнецы, собрались десятники, начали

судить-рядить. Решили перевести Букреева из овчарни в конюшню—там запоры надежнее, развязать руки, поставить воду и дать двойную порцию обеда из кухни сезонников. Но и это не помогло. Ни к чему он не притронулся и продолжал упорно молчать, тянуть, что-то выжидать.

Узнав от Афоньки о поведении Букреева, Ульяна пошутила:

— Эх вы, не знаете, как надо кормить. Я его в один момент заставлю пить парное молоко, как послушного теленка. Может, тогда он и подобреет, и развяжет язык...

Сезонники сначала посмеялись, но потом подумали об этом и всерьез. «А и вправду, не подослать ли ее с молоком к хозяину. Авось он клюнет на эту удочку», — прижмурил свой единственный глаз Корней Федотович, вызвал к себе Ульку. Когда говорил с ней, та вспыхивала, возмущенно отказывалась:

— Да что вы, дядя Корней! Я пошутковала, а вы бог знает что выдумали. Пропади он пропадом, идол проклятый. Людей мучает, вон и вас чуть не убили, а его молочком поить!..

— Ты не горячись, дочка, так надо. Народу лучше будет, ежели мы его уломаем.

— Уля, зря ты отказываешься. Дядя Корней не будет плохое советовать, — поддержал старого кузнеца Афанасий.

Подоив коров, девушка с кувшином молока направилась в конюшню. Делая вид, что пробралась сюда украдкой, Улька достала из-под фартука кувшин и сунула его в руки Букреева. Тот удивленно взглянул на смущенную девушку, благодарно улыбнулся и жадно припал сухими, спекшимися губами к краю глиняного кувшина. Отдышавшись и обсосав сладкие от молока усы, он прошептал:

— Ну, девка, я тебя никогда не забуду. Спасибо тебе... Только никому не говори об этом...

Во второй раз он также выпил почти целый кувшин молока, поблагодарил Ульку, но к остальным работникам не подобрел и язык не развязал. Неизвестно, чем бы кончилась эта затея с кормлением Букреева, если бы Улька наотрез не отказалась нести молоко:

— Я больше не пойду... Нехай лучше тетка Степанида несет.

— Это почему же? — удивленно поднял брови Корней Федотович.

— А потому, что он руки распущает...

— Как это — распущает?

— Очень просто. Вылакает весь кувшин, морду еще не

оботрет от молока, а сам хватает за пальцы и слюнявит всю руку.

— Хо-хо!.. Вот чудачка! — рассмеялся кузнец. — То ведь он благодарит тебя. У господ завсегда такое благородное обращение с девками да и с бабами, какие дамами прозываются, — ручку целовать...

— Да, благородное... А вон кофточку всю измял на грудях — тоже по-благородному? — Улька покраснела, отвернулась от старика.

— А-а... коль так, то больше не ходи. Мы его, мерзавца, иначе попробуем поить...

Вдруг сзади кто-то громко рассмеялся. Улька оглянулась и удивленно раскрыла глаза. Перед нею стоял густо обросший черной бородкой Роман Исаевич — сын хуторского попа. Улька ахнула, закрыла лицо руками, выскочила из землянки. Откуда он, проклятый попович, появился? Надо же было ей при нем ляпнуть про кофточку...

Но поповичу было не до Ульки. После недавней встречи с Прокопием Букреевым, который так унизительно отказал ему в просьбе, разыграв благородство и неподкупность, Роман был серьезно обижен и оскорблен. Когда же на днях он узнал, что жандармское управление отклонило его ходатайство о досрочном освобождении из административной ссылки и не последнюю роль, оказывается, сыграл при этом отрицательный отзыв Прокопия, Роман нетерпеливо стал ждать случая расквитаться. События, возникшие на Трехбратской падине, могли дать такую возможность. Не долго думая, он, переодетый в затасканную одежду сезонника, прибыл на зимовник. Никем не опознанный, потолкался среди работников, послушал их горячие разноречивые споры, разобрался в происходящих событиях и пришел к выводу, что надо встретиться и кое о чем поговорить с кузнецом Корнеем Федотовичем, который, как видно, пользуется здесь особой популярностью и оказывает влияние на взбунтовавшихся сезонников.

Попович зашел в многолюдную землянку к кузнецам. Тут как раз происходил разговор Корнея Федотовича с Ульяной. Послушав рассказ Ульки, он громко расхохотался и, проводив веселым взглядом смутившуюся девушку, помрачнел, подошел к кузнецу.

— Эх, старина, смешно и горько смотреть на все это. Кому, спрашивается, это нужно?.. — Попович покосился на толпившихся в землянке сезонников, тихо предложил: — Давай, Корней Федотович, выйдем на минутку. Мне надо наедине с тобой поговорить о весьма важном деле...

Кузнец удивленно приподнял правую, косо рассеченную бровь, прищурил глаз:

— А ты кто такой?..

— Сейчас все объясню... Прошу на минутку...

Корней Федотович пожал плечами и, не сказав больше ни слова, вышел из землянки.

— Я думаю, вот здесь нам не помешают... — Попович заглянул в пустующую кузницу, поманил старика длинным и тонким пальцем.

Кузнецу невольно бросилась в глаза эта белая, нерабочая рука с аккуратно заостренными розовыми ногтями. Нехорошее подозрение закралось в сердце Корнея Федотовича. Таких рук у сезонников не бывает. И не прикроешь их сейчас ничем: ни серым слоем пыли и грязи, ни длинным рукавом мужицкой полотняной рубахи, ни спрячешь их и в глубоких карманах старых, заплатанных брюк — выдадут... Кто он таков и откуда? Что ему тут нужно? Почему он прячется для разговора в темную, с давно погасшим горном кузницу?.. Наверное, провокатор-сыщик или бродяга из барчуков, который решил позабавить себя игрой в бунт.

«Ну, подлая душа, мы с тобой сейчас потолкуем», — озлобленно подумал кузнец и спросил в упор:

— Из охранки?..

— О нет!.. Глубокое заблуждение!.. Такой мерзостью не занимаюсь... Кто я?.. Как вам сказать?.. Я — сын священника из Степного Кута, но по убеждениям — социалист-революционер!.. А кратко говоря — эсер!

— А-а, вон кто... Ну это дело другое... — сразу подобрел Корней Федотович.

Он еще раньше наслушался от Афанасия восторженных рассказов о неблагонадежном поповиче, о его внезапном аресте перед пасхой за какую-то смелую дерзость. В глазах Афоньки он был героем, и старый кузнец резко изменил свое мнение об этом молодом человеке. Особенно покорило Корнея Федотовича то, что попович принадлежал к группе смелых людей — революционеров, и к тому же социалистов.

О социалистах старый кузнец узнал еще в прошлом году в Ростове, где он работал в кузнечном цехе Главных мастерских Владикавказской железной дороги. Туда часто каким-то чудом проникали вот такие же молодые люди, называвшие себя социалистами, тайно от начальства собирали в обеденный перерыв небольшие группы рабочих и смело рассказывали о той правде, за которую не раз полиция хватала этих смельчаков и увозила в тюрьму. Вот тут-то, в мастерских, Корней Федотович впервые услышал и о царе такое, чему

вначале даже и не поверил. Когда же мастерские, а затем весь Ростов всколыхнула стачка, то кузнец уже многое понимал. А страстные речи все тех же смелых социал-демократов на Темернике окончательно открыли кузнецу глаза. Особенно запомнились выступления юного революционера в очках, энергичного и смелого. Несмотря на молодость, его почему-то все, кто знал близко, почтительно называли Сергеем Ивановичем. Именно ему больше всего обязан Корней Федотович своим прозрением.

— За чем добрым вы к нам пожаловали? — приветливо улыбнулся Корней Федотович, переходя на уважительное «вы».

Попович смахнул рукавом с наковальни пыль и неловко уселся.

— На днях я возвратился из Ростова. А тут как раз к нам в хутор дошли слухи о вашей забастовке. Не мог, конечно, я оставаться равнодушным. Решил немедленно прибыть сюда. Быть может, пригожусь...

— Добро пожаловать... Сердечно мы будем благодарны, ежели вы нам подмогнете уговорить Митьку... — искренне обрадовался кузнец. — Значит, говорите, были в Ростове?.. Ну как там поживает Сергей Иванович?

— Какой Сергей Иванович?

— Да ваш же брат революционер, что заглавный у ростовских социалистов. В прошлом году на Темернике очень душевно с народом толковал...

— А-а, видимо, Гусев?.. Комитетчик социал-демократов?..

— Вот-вот, из Донкома... Многих он на путь истинный наставил...

Попович усмехнулся:

— Нет, старина, я вижу, плохо ты осведомлен о ростовских комитетчиках. Подлинным героем, если хотите знать, в прошлом году был Иван Брагин. Слыхал что-либо о нем? Нет?.. Жаль... Это он отдал себя на растерзание жандармскому полковнику Артемьеву, чтобы больше не стреляли в народ... Но за этот героический поступок, можно сказать, подвиг комитетчики его же и осудили. Да и вообще сейчас у социал-демократов идет полный разброд. На днях получено из Лондона сообщение, что у них на съезде произошел раскол. Распалась партия на большевиков и меньшевиков... Всю кашу, говорят, заварил их лидер Ульянов. Плеханов оказался в меньшинстве... От Донкома там сейчас находятся Гусев и Локерман. Один из них — кажется, Гусев — примкнул к большевикам, другой — к меньшевикам. Что, спра-

шивается, от них можно ждать?.. Ну да нам нет дела до них. Всю тяжесть борьбы теперь возьмем на себя мы — эсеры!..

Корней Федотович насторожился.

— Я теперь и не знаю, что к чему, — искренне признался кузнец. — Столько наговорил, что сразу и не разберешься... Давайте лучше потолкуем о деле. Может, сейчас вы сходите в конюшню к Митьке Букрееву и уломаете его? Нехай соглашается на наши требования...

— Вот этого-то я и не хочу делать... Почему?.. — Попович соскочил с наковальни, вплотную подошел к кузнецу: — А потому, что ваша так называемая забастовка ни к чему не приведет. Я уверен: скоро сюда нагрянут казаки или полиция, разгонят эту толпу, освободят Букреева — вот и делу конец...

— Что же вы нам присоветуете?

— Я предлагаю действовать более решительно и смело... — Попович воровато оглянулся на дверь и почти прошептал: — Необходимо уничтожить Букреева!.. Нет-нет, вначале его надо выпустить, и пусть он убирается восвояси. Но мы сделаем на дороге, где-нибудь в зарослях бурьяна, засаду и... прикончим!.. Действовать будут отдельные смельчаки, а не толпа. Ведь, как говорится, стадо баранов никогда не станет сильнее и опаснее одного дерзкого волка... Небольшая группа отважных смельчаков может сделать во много раз больше, чем все ваши сезонники... Я беру на себя это дело. У меня есть кое-кто на примете...

— Постой-постой, ты и в самом деле сбил меня с толку... — растерянно запротестовал Корней Федотович, опять переходя на «ты». — В прошлом году в Ростове, в Камышевахской балке, нам все время толковали, что гуртом и батьку бить сподручно. Мы и начали скопом орудовать. И сам знаешь, здорово получалось. Недели две кто хозяиновал тогда в городе?.. Мы — народ!.. Ни атаманы, ни жандармы, ни казаки с солдатами — никто нам ничего не мог сделать, пока мы гуртом один другого под локоть поддерживали... А ты тут советуешь в одиночку с Букреевым разделаться... Что нам даст, ежели ты со своими дружками где-то на дороге прикончишь Митьку?.. Вот тогда его браток Прокопий скорей вызовет полицию и казаков, чтобы с нами расправиться. Не морочь нам голову, господин хороший...

Раздосадованный попович как ни старался уговорить упрямого кузнеца, так ничего и не добился. Уходя из кузни, он все еще не терял надежды воспользоваться беспорядками в экономии и хоть чем-нибудь напакостить ненавистным Букреевым...

Уже через час толпа озлобленных сезонников, которых умело подстрекал Роман, обступила конюшню, где сидел под замком Дмитрий, и начала настойчиво греметь в дверь, вызывать хозяина на разговор.

— Эй, барин, чего в молчанку играешь?! — надрывно и зло заорал кто-то в толпе, у самой двери конюшни. — Пойми ты, дурья голова, ежели будешь строптивиться, никто работать не будет и весь хлеб твой пропадет на корню!..

Дмитрий вначале молчал. Но в конце концов не выдержал, выругался и, задыхаясь от ярости, пригрозил:

— Я вам, хамье, этого не прощу!.. Вот скоро приведет сюда Пашка полицию с казаками, тогда вы, подлецы, иначе заговорите со мной. Всех вас, сволочей, немедленно разгоню к чертовой матери, гроша ломаного не дам, а косовицу проведу машиной-лобогрейкой...

Угроза Букреева взорвала толпу. В раскаленное небо взметнулся над Трехбратской падиной крик сотен возмущенных людей.

Корней Федотович, продолжая еще мысленно спорить с поповичем, механически наводил привычный порядок в запущенной за эти дни кузнице. Поднявшийся у конюшни галдеж сезонников он услышал, лишь когда за стеной раздались топот бегущих ног и громкие выкрики:

— Дядя Корней! Дядя Корней!.. Да где он запропастился?!

— Я тут! — отозвался Корней Федотович, поспешно выбираясь на свет. — Что стряслось?

К кузнице подбежал запыхавшийся Афонька:

— Дядя Корней, скорее идите к конюшне... Митьку надо выпустить... Зачнем качать!..

— Что-о?.. Качать?.. — изумился кузнец. — За какие блага ему такая честь?..

— Какие там блага... Митька полицию вызвал и грозит всех нас разогнать отсюда... Косовицу, говорит, закончу машиной. — Афонька перевел дыхание, вытер рукавом мокрый лоб, невесело усмехнулся: — А нашей чести он не дюже возрадуется. Машины-то уж... тю-тю... нету! В щепки разнесли!.. Поначалу схватили ее, выкатили на дорогу и хотели куда-нибудь угнать и схоронить. Но тут подвернулся Роман Исаевич и присоветовал изничтожить ее. Сам первый рубанул кинжалом приводной ремень. Ну мы за ним и кинулись орудовать. Всю разнесли по мелким частям, расшвыряли в бурьянах, а колеса спровадили в старый колодезь...

— Ах, злодей, на что подбил дураков!.. — возмутился Корней Федотович. — Где же сейчас попович, сукин сын?!

— Попович?.. Там, у конюшни... За что это вы так па него? — удивился Афонька. — Он же за нас горой!..

— Э-э, сынок, загубит он все дело... Что вы теперь придумали над Митькой вытворять?.. Опять, наверно, попович присоветовал?..

— Да, он!.. Нет, убивать Митьку до смерти не будем. Просто «покачаем» немного: подкинем, стало быть, вверх, а сами — в разные стороны. Он и запляшет спиной по земле. Потом еще и еще раз... Опосля этого смело можно отпускать домой. Он сам скоро дубу даст... К нам же — никакой прицепки. Мы ж его не били...

— Вот, лиходей, что придумал!.. — всплеснул руками старый кузнец. — Заместо сурьезного дела вишь чем начал заниматься... Идем скорей к ребятам!.. Мне надо его повидать!..

Среди взбунтовавшихся сезонников поповича не оказалось.

— Так я и знал! Ушел, подлец!.. — зло выругался Корней Федотович. — Взбаламутил народ, а сам — хвост между ног. Погляди его, Афанасий!..

Афонька выскочил за сараи и, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрел вокруг. Поповича нигде не было.

ГЛАВА XX

Паника возникла внезапно. Кто-то, увидав неожиданно появившегося на зимовнике верхоконного Пашку, испуганно закричал:

— Братцы, полиция!.. Казаки!.. Пашка привел!.. Спасайся, кто может!..

Толпа, бушевавшая вокруг конюшни, где сидел взаперти Дмитрий Букреев, вдруг шарахнулась, разноголосо взвыла и бросилась врассыпную. Многие попрятались здесь же, в зимовнике, в сараях, конюшнях, коровниках, овчарнях и других хозяйственных постройках, а наиболее резвые, главным образом молодежь, надеясь на свои быстрые ноги, — кинулись в степь, скрылись в зарослях бурьяна и за скирдами сена.

Не успел еще Прокопий Букреев прибыть на зимовник, а Трехбратская падина уже опустела, словно вымерла. Лишь около кузницы толпилось десятка два-три мужиков, вооруженных вилами, косами-литовками и кольями, выломанными из стропил сараев. Несколько человек озабоченно взвешивали в своих руках тяжелые куски заржавевшего металла, подобранного около кузницы.

Впереди всех неподвижно стоял сутулый и кряжистый, как старый степной вяз, Корней Федотович. Он держал за спиной увесистый шкворень. Позади старика топтался Афонька, нетерпеливо перекладывая из руки в руку длинную ручку десятифунтового молота. Здесь же горбился, как молодой ястребок перед полетом, Топилин Осип. Он нервно теребил плеть.

Все угрюмо молчали, напряженно ждали встречи с усмирителями. Вот наконец за бугорком вспыхнули серые клубы пыли — и на дороге показалась пролетка Букреева.

— Братцы, не дадим себя в обиду!.. Один — за всех, и все — за одного!.. — глухо напомнил старый кузнец, крепко сжимая в своей загрубевшей ладони шкворень.

Сезонники молча двинулись к нему, плотной толпой перегородили дорогу.

Афанасий, вскинув на плечо молот, шагнул вперед, бережно, но решительно отодвинул назад Корнея Федотовича.

— Дядя Корней, вы будете мне мешать, сдайте назад, а то еще нечаянно зацеплю вот этой кувалдой...

По толпе прокатились одобрительный гомон и сдержанный смешок.

— Ну, этот парень, ежели махнет, полсотни положит насмерть!..

— Да, бог не обнес силенкой!.. Ты видал, как в драке он хватил Пашку?.. Сажен пять кубарем летел...

Осип, услышав разговор о драке, невольно вспомнил свою первую встречу с Афонькой. Смущенно улыбнувшись, он отчаянным жестом сдвинул на затылок старенькую фуражку с выцветшим красным околышем, взмахнул плетью и шагнул вслед за дружком. Рядом с Афонькой он, низкорослый и худенький, казался беспомощным подростком. Но отвага парня покорила всех. И кто-то с легкой усмешкой доброжелательно пошутил:

— Смотрите, братцы, ведь с нами донской казачок, нечего теперь нам бояться... Нехай налетают...

Тревога оказалась напрасной. Прокопий подкатил к зимовнику один, никакой полиции и казаков из местной команды с ним не было. Он всегда был противником какихлибо обострений, потому и отправился сюда один, что верил в свою «бескровную» победу.

Остановив на почтительном расстоянии пролетку, Букреев медленно, разбитой походкой больного человека приблизился к толпе. Не здороваясь, окинув всех спокойным, безразличным взглядом опухших глаз, устало присел на валявшийся у кузницы перевернутый передок старой арбы,

Облизывая сухим языком запекшиеся губы, он тихо приказал:

— Пашка, сбегай к колодцу, принеси воды, во рту все пересохло... Сил нет... —И, ни к кому не обращаясь, пояснил: — Немного приболел...

Пока Пашка бегал к колодцу, Прокопий молча разглядывал угрюмую толпу. Холодная родниковая вода немного оживила Букреева, и он уже твердо, но по-прежнему тихим голосом раздумчиво заговорил:

— Я знаю все. Сожалеть и огорчаться нет никакого смысла. Осуждать вас также не намерен. Вы защищали свои права как умели, в меру своего разума. Пусть бог будет вам судья...

— А при чем тут бог? Во всем виноватый ваш братец!.. — выкрикнул кто-то из толпы.

Его поддержали другие, зашумели, загомонили.

Прокопий терпеливо выждал, пока все снова утихнут, продолжал:

— Я уже сказал: выяснять, кто прав, а кто виноват, — не буду... Меня это сейчас совершенно не интересует. В такую страдную пору день — год кормит... А вы взгляните, что делается вокруг... — Прокопий медленно провел трясущейся рукой полукруг, показывая на золотые разливы несжатых полей. — Вот они, тысячи драгоценных пудов, политые горьким потом, на глазах уплывают сейчас из ваших рук, уходят от голодных ртов ваших жен и детей, отцов и матерей... — Взволнованный голос Букреева вдруг осекся, и на дряблом, опухшем его лице появилась слезливая гримаса.

— Хлопцы, дывиться, як бедолага лье крокодилячи слезы об наших жинках и детях!.. — громко, с притворным сочувствием вздохнул кто-то.

Раздался сдержанный смешок.

Прокопий сконфуженно отвернулся от толпы, минуту посидел молча и уже спокойно, деловитым тоном закончил:

— Ждать больше нельзя. Надо немедленно приступать к работе... При найме каждый из вас слышал мои условия. Возражений тогда, как помню, никаких не было. Я поэтому оставляю в силе мои условия... Если же у вас что-либо новое, прошу сейчас заявить мне.

В толпе многоголосо зашумели:

— Возверните уволенных!..

— Зачем косилку сюда пригнали?.. Мы и без нее управимся!..

— А кто расценку за косовицу снизил? Сам бог, что ли?..

— Правильно, работаем надурняк, за одни харчи!..

— Воды питьевой не хватает...

— Приказчик штрафами замучил!..

Все эти выкрики слились в один общий галдеж, в котором ничего нельзя было разобрать. Болезненно морщась, Букреев поднял руку, показал, что ничего не понимает.

Когда немного притих гвалт, Корней Федотович вышел вперед и неторопливо передал все те требования, которые еще раньше сезонники предъявили Дмитрию Букрееву.

Прокопий о них уже знал из рассказов Пашки и, подумав, решил удовлетворить их. Но сейчас надо было помедлить, чтобы сезонники могли оценить значение его ответа.

— Хорошо... Ваши пожелания я принимаю, — медленно процедил сквозь зубы Букреев. — За эти дни... за дни вашего заблуждения, я оплачиваю всем сезонникам по среднесуточной цене поденщиков... Только я требую: приведите сейчас же ко мне брата Дмитрия, освободите приказчика и немедленно приступайте к работе...

О разбитой косилке Прокопий узнал от приказчика несколько позже. Больших усилий стоило ему сдержать себя. Задыхаясь от злобы, он с величайшим трудом выдохнул:

— Негодяи!.. Это из-за вас, дураков!.. Сам знаешь, во что она мне обошлась... Ну да ладно: потеряв голову, по волосам не плачут... Надо спасать урожай... За неделю-две они все уберут, а это окупит и косилку... А там видно будет. Только впредь надо быть умнее...

Во время обеденного перерыва полтавчанин Степан Кондратенко, пряча под чумацкими усами усмешку, разъяснял своим землякам:

— О, бачили, хлопцы, яки у нас гарни дела!.. Це мы тилькы пробувалы, та и то насмерть перетрухнул наш хозяин. А ось буде гирше лыхо, мы не таку забастовку зробымо!..

Вечером того же дня на зимовнике, как в годовой праздник, было торжественно и весело: на базу, у семейных очажков-времянок, велись оживленные беседы о минувших событиях, а у колодцев и на прогоне, за сараями, звенели песни.

Осип давно заметил в кругу хоровода Ульку-певунью, но проклятая робость по-прежнему не давала подойти к ней. Помог Афонька. Он отозвал Ульяну в сторону и предложил втроем прогуляться по залитому голубым лунным светом суходолу. Она охотно согласилась. Но когда они приблизились к ближайшим скирдам с длинными лиловыми тенями, Афонька, вдруг как бы что-то вспомнив неотложное, торопливо попрощался и побежал к зимовнику. Ульяна легко разгадала нехитрую уловку парня, но ничего не сказала. И тут

впервые Осип с неожиданной храбростью обнял Ульяну и тихо спросил:

— Уля, ты на меня не серчаешь?

— За что? — удивилась девушка.

— Знаешь, нехорошо я о тебе подумал. Дядя Никита сам виноват. Наговорил бог знает что...

— Батя наговорил? А что же он наговорил?..

— Да так, пустяки... Афонька потом все мне обсказал... Я теперь знаю, что ты ни в чем не виноватая и дюже хорошая... Может, и нету другой такой на всем белом свете...

— Ой ли?! А ты шукал?.. — лукаво усомнилась Ульяна. И вдруг, сорвавшись с места, метнулась в суходол. — Ну, так шукай!.. Может, найдешь!.. — крикнула она издали и счастливо засмеялась.

— Нет, девка, ты теперь от меня никуда не уйдешь!.. — радостно выдохнул Осип и решительно бросился в погоню.

ГЛАВА XXI

Когда знойное лето дышит жгучими суховеями, поднимая к небу черные тучи пыли, на сальских просторах то там, то здесь часто вспыхивают степные пожары. Расстилая по земле сизый дымок, они пожирают все, что способно гореть. Безжалостная стихия, веками властвовавшая в степи, приучила людей к осторожности: каждый расчищенный ток или одиноко поставленный скирд всегда тщательно, без огрехов, опахивался, чтобы огонь, подгоняемый ветром, не мог перекинуться через земляную преграду. И не раз случалось так, что в каком-нибудь широком суходоле зловеще чернеет обуглившаяся земля, пахнет едкой гарью недавних пожарищ, а тут же, окаймленные бархатным пояском пахоты, величаво высятся не тронутые огнем шапки порыжевших скирдов.

Однако в последнее время полосы перепаханной земли почему-то не стали спасать ни хлеба, ни сенокосы коннозаводчиков. Языки пламени яростно набрасываются не только на ближайшие скирды и полевые станы, но и на различные хозяйственные постройки даже центральных усадеб помещичьих экономий. Огонь не знал теперь преград. Только на участках букреевской экономии (к удивлению и зависти соседей-коннозаводчиков) он не приносил еще серьезного ущерба.

— Ты, Прокопий Алексеевич, никак, в рубашке родился, — не раз говаривал Букрееву станичный атаман Тарас Харламов. — Меня уже замучил ваш брат коннозаводчик:

то дай казачью команду разогнать бунтовщиков-«лапотников», то пошли полицейских арестовать зачинщиков-смутьянов из «пиджаков», то направь пожарников в экономию... Только вот ты пока еще держишься, обходишься без меня, не дай бог сглазить...

— Не беспокойся, меня не сглазишь, — посмеивался Прокопий. — Раньше обходился сам и впредь буду выкручиваться...

— Слыхал такое?.. Сам!.. — вмешивался в разговор Дмитрий Букреев. — Для нашего почтенного либерала выше всего — популярность. Если хотите знать, ради этого он согласен даже на избиение бунтовщиками родного брата... Ведь не наказали никого из тех мерзавцев, что издевались надо мной в Трехбратской падине, четверо суток держали в вонючей овчарне голодного... Зато господину либералу в «Приазовском крае» взахлеб расточали любезности. Это безобразие!..

— Но ведь кончилось все благополучно.

— Как — благополучно?.. А какой убыток нам нанесли!.. Неужели и тут ты думаешь им простить?.. Нет!.. Шалишь, господин либерал! Я как-никак тоже в пае состою вместе с вашей милостью... Посмотрим, что ты будешь делать при расчете сезонников...

— Что бы я ни делал, только прошу тебя: не вмешивайся. Расчет с сезонниками я проведу сам. Можешь не сомневаться — в убытке мы не останемся...

Однако поздней осенью, когда были закончены почти все полевые работы и подошел срок увольнения сезонников, Прокопия неожиданно и срочно вызвал к себе станичный атаман. Предстояло оформить очень выгодную торговую сделку. Управлению войска Донского требовалась большая партия строевых лошадей. Дружок-атаман, обойдя других коннозаводчиков, первому сообщил об этом Прокопию. Но Букреев знал, что не так-то легко и быстро можно договориться с опытными, знающими толк в лошадях офицерами, прибывшими в составе закупочной комиссии. Надо будет много убить времени, пустить в ход взятку и магарыч. Поэтому, отправляясь в станицу, Прокопий вынужден был поручить брату произвести полный расчет с сезонниками. При этом он строго наказал ему:

— Дмитрий, будь благоразумен. Не допускай крайностей...

Дмитрий презрительно улыбнулся, но ничего не сказал. Увольнение начал с сезонников Трехбратской падины. Сам он туда не поехал, а вызвал к себе приказчика Бурцева и

приказал: при расчете удержать с каждого работника одну треть в счет разбитой косилки и убытков, понесенных хозяевами в дни забастовки. С зачинщиков беспорядков удержать половину. За усердие приказчик будет щедро вознагражден...

На следующий день с утра началась процедура расчета и увольнения сезонников. Около саманной конторки приказчика толпились почти все работники зимовника, но в дверь заходили по одному. На пороге стояли и регулировали движение два дюжих бородатых мужика-старовера. Они первые получили расчет без единого вычета и теперь преданно служили приказчику. Как только кто-либо из сезонников начинал скандалить, они молча брали его под руки и выталкивали из конторы.

— Да это же грабеж средь белого дня!..

— Не ори, баламут, проходи дальше!..

— Глядите, люди добрые, что он, стерва, дал!..

— За что штрафуешь?.. Я к вашей косилке и пальцем не притрагивался...

— Чего стал?.. Проходи!..

— Прокопий сулил полностью выплатить!.. В свой карман, шкура, кладешь наши кровные!..

— Пусти, дай дорогу!.. Надо и другим помянуть святым словом нечистого духа!..

Вокруг конторки шумели, кричали, ругались, кляли хозяина и приказчика, но за расчетом тянулись дружно.

— Братцы, давайте откажемся получать!.. Заставим хозяина платить сполна!.. А ежели что — тряхнем его за шиворот!.. — раздался в толпе чей-то голос.

Но его как будто никто не слышал. Каждому хотелось скорее зажать в натруженной ладони то, ради чего он шел сюда, целыми месяцами недоедал и недосыпал, трудился, обливаясь горько-соленым потом. Ведь там, в давно покинутых семьях, нетерпеливо ждут кормильцев голодные рты.

И кто знает, возможно, так и завершился бы этот безобразный расчет. Сезонники, получив жалкие гроши, отвели бы душу в ругани, прокляли бы приказчика, хозяина и все, на чем держится свет, а потом бы ушли из экономии.

Но случилось иначе.

Старый кузнец Корней Федотович Булатов, получавший расчет вместе со всеми сезонниками, хотя он и был нанят Прокопием на постоянную работу, пытался урезонить всех, чтобы они не брали сейчас эти нищенские подачки. Но его никто не поддержал. Тогда старик чертыхнулся и, расталкивая локтями работников, пробрался к двери конторки.

Приказчик, взглянув на одноглазого кузнеца, ухмыльнулся:

— Я слыхал, слыхал, как ты надрывал горло, других отговаривал, а теперь и сам приперся получать... Не удалось, стало быть, людей сбить с толку?..

Приказчик долго щелкал счетами, потом, порывшись в кассе, высыпал на угол стола горсть загремевшей мелочи.

— На, получай свое золото и нынче же убирайся отсюда! Чтоб тут и духу твоего не было!..

Корней Федотович молча сгреб в заскорузлую ладонь кучу медяков, побрякал ими, взвесил на вытянутой руке и вдруг, размахнувшись, с силой швырнул в приказчика.

— На, собака, жри сам!.. Ты что нам милостыню суешь, как старцам в престольный день? Давай всем сполна!..

Приказчик с необычным проворством увернулся от удара, панически закричал:

— Убрать!.. В шею! В шею! Вон отсюдова бунтовщика!..

Мужики-староверы услужливо схватили кузнеца и поволокли к двери.

Приказчик же, вобрав голову в плечи, бросился на четвереньках торопливо собирать на земляном полу раскатившиеся медяки.

У двери поднялась возня, в толпе угрожающе закричали:

— Не трожьте коваля!..

— На кого, холуйские морды, руки поднимаете?! На своего же брата!..

Староверы, вытолкнув из конторки кузнеца, поспешно закрыли дверь.

Тайный замысел Корнея Федотовича оправдался: то, что не могли сделать одни слова, сделал этот решительный поступок. Очередные сезонники не зашли в контору и наотрез отказались получать расчет, их поддержали другие:

— Эй, хозяйский холуй, ты, видать, позабыл, как летом сидел в овчарне?.. Смотри, а то мы живо тебя стреножим — да в кошару!..

Приказчик трусливо стал оправдываться через дверь:

— А при чем тут я?.. Букреев так приказал рассчитывать...

— Брешешь! Самоуправствуешь!..

— Сказано, Букреев приказал...

— Давай сюда Букреева!..

— Некого сейчас посылать за ним... Вы же знаете: Пашка уехал в станицу на сборный пункт...

В толпе долго шумели, кричали, переругивались с приказчиком.

— Братцы, а чего мы ситом ветер ловим... Пошли сами к Букреевым и там гуртом с ними рассчитаемся за все сразу, а? — предложил кто-то.

Сезонникам понравилась эта мысль. Пошумев, они возбужденной толпой отправились в главную усадьбу Букреевых.

Бурцев облегченно вздохнул, перекрестился, но тут же подумал: надо немедленно предупредить Дмитрия, чтобы не захватили его врасплох. А как это сделать?.. Послать действительно было некого. Пашка вместе с Афонькой и другими пятью парнями призывного возраста дня три назад был вызван в станицу на призывной сборный участок... Придется теперь ехать самому. Не раздумывая долго, он запряг в пролетку лучшего хозяйского рысака и бездорожно, чтобы обойти стороной сезонников, помчался к Букреевым.

Дмитрий, узнав о случившемся, не на шутку испугался. Бурцеву приказал сейчас же скакать в станицу к Прокопию, а сам бросился за помощью к атаману в хутор Степной Кут, чтобы встретить сезонников не голыми руками...

Приказчик прибыл в станицу поздно вечером. Прокопия у атамана не оказалось, он куда-то ушел, но куда — никто не мог сказать. Заглянув в знакомые дома, где иногда бывал Букреев, Бурцев и там его не обнаружил. До глубокой ночи плутал по станице приказчик в поисках Букреева, но так нигде его и не нашел. Заскочив мимоходом в распивочную лавчонку местного купца Лагутина, он услышал там, что кто-то видел, как Букреев перед вечером выехал из станицы с какими-то офицерами интендантской службы. Поняв, что Прокопия до утра не найти, Бурцев махнул рукой и поспешил к своим дальним родственникам, где должен был находиться сын Пашка. Надо было узнать, как обстоят его дела с призывом в армию. Пашка с восторгом рассказал, что сегодня в церкви призывники принимали присягу и что на завтра назначена врачебная комиссия. К тому же ходят слухи, что будут отбирать самых здоровых парней в царскую гвардию для несения службы при дворе его императорского величества.

— Батя, а могут меня туда призвать?.. Вот хорошо было бы! Нагляделся бы там вдоволь на царя-батюшку!.. Ежели, говорят, кому придется нести караул в самих хоромах царских, у дверей, стало быть, опочивальни, то можно даже и без штанов его увидать... Го-го!.. Вот здорово!.. Царь — и без штанов!.. Нет, сурьезно, я всеми статьями в гвардию подхожу. Вон какой выбухал — целая саженя от пяток до макушки...

Отец покосился на своего дурашливого сына, вздохнул и ничего не сказал. Но зато не выдержала хозяйка-родственница, присутствовавшая при разговоре. Она собрала в узелок морщинистые губы, горестно покачала головой и с грубоватой прямотой бесхитростной женщины сказала:

— Эх, Паша, в народе говорят: «Велика фигура, да дура». Куда тебе в гвардию?.. К царю-батюшке берут и умом покрепче твоего, да и личностью пригожего...

— Ну знаешь, сватьюшка, ты не дюже охаивай Пашку, — обиделся за сына отец. — Я не говорю, что он раскрасавец и ума у него палата, но царю-батюшке может послужить не хуже других...

Подумав, Бурцев чему-то улыбнулся и, повернувшись к Пашке, спросил:

— Ты, сынок, знаешь, где разместились те офицеры, какие завтра будут отбирать вашего брата в гвардию?.. Ага, хорошо!.. Я сейчас махну туда и потолкую кое с кем, а потом поглядим, кто годен в гвардию, а кто нет...

Наутро в прокуренной прихожей станичного правления призывники раздевались по очереди и, закрываясь руками, смущенно топтались у порога соседней комнаты, где разместилась врачебная комиссия.

Пашка Бурцев в прихожую попал одним из первых и успел уже раздеться догола, когда туда зашел Афонька Чумаков. Длинный, с узкими плечами и плоской грудью, Пашка стоял у двери, как сторожевой журавль, поджав голенастую ногу, ожидая вызова. Увидав Афанасия, он заулыбался. Оглянувшись, вкрадчиво приблизился к Афоньке, хвастливо прошептал на ухо:

— А я, брат, в гвардию иду!..

— Разве ты уже там побывал? — Афонька кивнул на плотно закрытую дверь соседней комнаты.

— Нет, не был... Но батя вчера вечером отвалил одному заглавному офицеру целую пачку «катеринок», чтобы меня в гвардию записали.

— А ежели тут забракуют?

— Не-ет, тут дело тоже надежное. Я ж тебе говорю: батя нынче всю ночь орудовал, кое-кого за свой счет от брюха поил...

В прихожую, вызванивая шпорами и грузно раскачиваясь, ввалился тучный, с мощным животом и двойным подбородком полковник. Не останавливаясь, направился к двери соседней комнаты. Вслед за ним, придерживая рукой саблю, иноходью протрусил долговязый военный окружной пристав.

Из двери неожиданно выскочил писарь. Отдавая правой рукой честь, он левой растолкал толпившихся призывников, услужливо открыл дверь и, вытянувшись у косяка, пропустил мимо себя офицеров. Беззвучно повернувшись на носках сапог, он тенью проследовал за ними.

— Вот это служака!.. — восхищенно отозвался кто-то о писаре.

— Скоро и ты таким будешь, вышколят...

— А полковник! Каков полковник!..

— Да-а, этого ни один строевой дончак не выдержит...

— Говорят, он — заглавный, из нашего брата будет в гвардию отбирать.

— Да ну?!

— Видал, как пристав вокруг него суетится...

— Бурцев Павел! — выкрикнул из двери писарь.

Пашка вздрогнул и торопливо скрылся за дверью. Минут через пять вызвали и Афанасия.

В ближнем углу, расслабленно опустив длинные руки, смущенно переминался с ноги на ногу Пашка. Перед ним стоял молодой, но уже полысевший врач. Тыча черной трубкой в грудь Пашки и постукивая по угловатым плечам, он отрицательно тряс головой и что-то тихо говорил стоявшему рядом офицеру с помятым лицом.

— Ты что остановился у двери? Пройди сюда! — вдруг услышал Афанасий строгий окрик.

Он оглянулся. В глубине комнаты, у стола, толпились несколько человек в белых халатах. Там же, чуть в сторонке, восседал в кресле тучный полковник.

К Афанасию стремительно подкатился маленький, толстый, с пухлыми багровыми щеками, пожилой врач, одетый во все белое.

— Обратите внимание, господа, на этого геркулеса! — восхищенно воскликнул он, с наивным удивлением рассматривая обнаженного Афоньку. — Мне надо послушать у тебя легкие, сердце... О нет, я этак ничего с тобою не сделаю... Ты, милок, стань, что ли, на колени...

Сгорая от стыда и неловкости, Афанасий послушно грохнулся на колени перед врачом.

— Вот спасибо, уважил старика,— улыбнулся тот.— Внимание, дыши глубже, еще... А это что за рубец на ключице?.. Как?.. Лошадь ударила?.. Гм-м... Срослась, однако, хорошо... Не беспокоит?.. Ну и великолепно! Вставай! Прекрасный будет гвардеец!..

— Ба, да это вон кто!.. — неожиданно воскликнул военный пристав, узнав в обнаженном парне старого знакомо-

го. — Ну-ка, повернись сюда. Та-ак, он самый... Хорош гвардеец, нечего сказать! — Пристав настороженно скосил в сторону полковника глаза, чуть слышно прошептал: — Не-ет, я этого не допущу. — И громко: — Ваше высокоблагородие, этого субъекта брать в гвардию нельзя! Он неблагонадежен!..

— Позвольте, какой же он неблагонадежный? — удивленно возразил станичный атаман, также узнав парня, которого он в прошлом году допрашивал по нелепому делу с приставом. — Нельзя же принимать всурьез тот смехотворный случай...

И атаман, лукаво улыбаясь, стал что-то шептать на ухо полковнику. Тот удивленно поднял брови, взглянул на пристава, затем на Афоньку, недоверчиво воскликнул:

— Не может быть!.. А кто она?..

— Дочь богатого хуторянина. Очень красивая девка!..

— Гм-м... Забавно!.. Ну-ка, молодец, подойди сюда!

Афонька неуверенно подошел к полковнику.

— Вон ты какой!.. — промычал полковник, как строевую лошадь, рассматривая парня. Затем, насмешливо взглянув на побагровевшего от смущения пристава, поинтересовался: — У вас, Никанор Петрович, оказывается, было с ним столкновение на интимной почве?

— Так точно!.. — с готовностью отозвался пристав. — Это получилось в прошлом году. Я по приказанию его высокопревосходительства наказного атамана прибыл...— начал было подробно излагать суть дела пристав, но, заметив насмешливую улыбку полковника и сдержанный смешок станичного атамана, стремительно закруглился: — Одним словом, в гвардию его посылать нельзя!..

— А я вот иного мнения, — возразил полковник и, снисходительно играя низкими нотками аристократического баска, улыбчиво продолжал: — Это будет преступлением, господа, если мы такой великолепный уникум, редкостный экземпляр русской силы, красоты и, если хотите, величия запрячем в серую шинель какого-нибудь линейного полка...

— Совершенно верно, ваше высокоблагородие, — подхватил врач, суетливо вертясь около обнаженного Афоньки. — Вы обратите внимание, господа, на его рост, грудь, плечи, торс, да и вообще на всю фигуру!..

— Однако мне кажется, он несколько неуклюж, — заметил кто-то из толпившихся сзади офицеров, — да и слишком велики даже для него вот эти ручищи...

— Ну и что же из того? — оживился полковник. — Зачем ему нужна гармония Аполлона Бельведерского?.. Ведь

это же, как говорят европейцы, русский медведь. Он бесподобен в своем роде!.. Нет-нет, господа, мы не должны лишать такого парня гвардейского мундира, а его императорское величество и весь придворный мир возможности любоваться этим живым воплощением могущества нашей великой нации!.. Итак, молодец, мы тебя определим в гвардейский полк! Понял?.. А сейчас ступай одевайся...

И как только за Афонькой захлопнулась дверь, полковник чуть наклонился в сторону пристава, беззлобно пошутил:

— А вам, Никанор Петрович, посоветую не быть слишком внимательным к степным красавицам... Не тот у нас с вами возраст... Где уж нам соперничать с такими вот молодцами...

Пристав побагровел, недоуменно посмотрел на полковника, зло пошевелил усами, но смолчал. Не мог же он ответить какой-либо дерзостью на добродушную шутку сановитого его высокоблагородия. Тут можно обжечься. И пристав, помолчав, принял шутку, оглушив всех громовым раскатом пропитого баритона:

— Ха-ха-ха!.. Был такой грех!.. Да ладно уж... Пускай и он послужит нашему царю-батюшке... Там его образумят!..

ГЛАВА XXII

Увидел отец Исай через цветное стекло веранды сидельца хуторского правления — и замер. Ждал затаив дыхание, гадал: пройдет мимо или завернет во двор. Боялся, как бы вместе с сидельцем не пришла в дом черная весть о сыне. Сколько уже раз недобрым вестником был этот престарелый, но еще бравый на вид казак-бобыль Евграфий Прилукин, часто промышлявший тем, что отбывал за других, состоятельных казаков повинность при хуторском правлении.

Звякнула калитка — у отца Исая екнуло сердце и померкло в глазах.

— Что с тобой?.. На тебе лица нет... — удивилась Федулия Силантьевна, подливая в стакан черного кофе загустевших сливок.

Отец Исай отодвинул недопитую чашку, привычно размахивая широким рукавом рясы, перекрестился и молча уставился на дверь.

На крыльце послышался торопливый топот, скрипнула и чуть приоткрылась дверь.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас!..

— Аминь! — хрипло отозвался отец Исай.

На пороге появился сиделец. Придерживая левой рукой старую казачью шашку, правой поспешно сорвал с головы фуражку, сунул под мышку и набожно перекрестился на икону, висевшую в углу веранды.

— Батюшка, господин атаман велел незамедлительно доставить вас в правление.

— Зачем?.. Что там стряслось?..

— Не могу знать... Прискакал как угорелый Митька Букреев, соскочил на ходу с тачанки — и опрометью к атаману. Там что-то пошумели, а потом кликнули меня. Скорей, говорят, доставь сюда живого али мертвого попа-батюшку...

Федулия Силантьевна побледнела и мелко закрестила свою мощную грудь. Отец Исай окаменел: наверное, снова случилась какая-то беда с сыном. Ведь он ушел из хутора самовольно после скандала с Букреевыми, и вот уже второй месяц о нем — ни звука. Доходили слухи, что он нелегально проживает где-то в Ростове и, видимо, снова связался со злодеями-бунтовщиками. На днях в Ростове, говорят, опять начались беспорядки... Неужели он снова что-нибудь натворил?..

Осунувшийся, подавленный мрачным предчувствием, предстал отец Исай перед атаманом и Дмитрием Букреевым.

— Вот что, батя, выручай, — обратился к попу атаман.— Угомони, ради христа, букреевских работников. Разбоем зараз идут из Трехбратской падины на главную усадьбу. С часу на час должны появиться. Надо с иконами, крестами и всякими разными молитвами встретить их и отговорить, чтобы они не бунтовали, а мирно расходились по домам...

У отца Исая отлегло от сердца. «Слава тебе господи, минула меня на сей раз горькая чаша», — обрадовался поп, думая о сыне.

— Ты, батюшка, не сомневайся, — начал убеждать атаман отца Исая, приняв его молчание за нерешительность.— Ежели что — казаками поддержим. В обиду не дадим... Можно, конешно, и без вас бы обойтись, да казаков зараз по хутору не собрать. Но человек пять со всей выкладкой выставим... Ну, батюшка, с богом, а?..

— Да я с дорогой душой, — заговорил повеселевший поп, — но где мне сейчас взять мирян, с коими должен разбойников встретить?..

— Это мы в один момент сварганим. И глазом не моргнешь, как к церкви приплюхают и старики домоседы, и старухи убогие, и, может, даже бабы с детишками. Такое войско недолго собрать...

Вначале Дмитрий Букреев с недоверием отнесся к предложению атамана и упрямо настаивал дать ему вооруженных казаков. Когда же наконец понял, что казаков неоткуда взять, а поп Исай охотно согласился усмирить взбунтовавшихся сезонников, Дмитрий махнул рукой. Коль нет казаков, то пусть хоть поп со своей паствой потрудится, может быть, задержит этих разбойников на дороге, пока не подоспеет из станицы Прокопий с надежным подкреплением.

Дмитрий решил издали следить за событиями. Дорога, по которой должны пройти сезонники из Трехбратской падины в главную усадьбу, пролегала вблизи хутора, в двух-трех верстах на северо-восток. Можно было хорошо наблюдать за ней прямо с тачанки, выехав на окраину хутора. Но лучший обзор — с церковной колокольни: верст на пять-шесть вокруг все было как на ладони. По совету атамана Букреев взобрался на колокольню, приказав кучеру на всякий случай неотлучно держать тачанку около ограды.

Вскоре атаману и отцу Исаю удалось собрать человек тридцать стариков и старух. Взяли из церкви иконы, хоругви, кресты с распятием Христа и отправились за хутор. Поп, размахивая потухшим кадилом, хрипло запел какую-то молитву, за ним, недружно, но старательно, затянули остальные. Видно было, как толпа на перекрестке дорог остановилась. Началось, вероятно, молебствие.

Букреев знал, что поп Исай сейчас начнет тянуть, хитрить, чтобы не уйти дальше той дороги. Он никому из прихожан не сказал о подлинной причине этого крестного хода. Просто посоветовал выйти в степь, помолиться богу, чтобы он послал погожую осень, снежную и теплую зиму, чтобы не оголял «астраханец» землю и не выветривались озимые, чтобы на следующее лето порадовал всех богатый урожай.

Люди, став на колени у развилки дорог, надрывно пели молитвы, истово крестились на восток, клали в пыльный подорожник земные поклоны, еще и еще раз исступленно просили милости у бога-спасителя. В молитвенном экстазе никто и не заметил, как издали по дороге зловеще приближалась к ним в лучах заходящего солнца оранжевая туча пыли.

Букреев, увидев толпу сезонников, хотел было ударить в колокол — дать сигнал попу, но передумал: можно было вызвать переполох у хуторян. Стал выжидать. И велико было изумление Букреева, когда он увидал, как грозная лавина сезонников приостановилась перед маленькой кучкой

молящихся хуторян, окружила ее и, обнажив головы, замерла. Многие сезонники пали на колени и стали креститься.

А поп Исай, почувствовав власть над толпой, страшно обрадовался и сызнова начал молебен. В конце богослужения он обратился к сезонникам с проповедью:

— Дети мои, рабы божьи!.. Зрю я, что недоброе дело вы затеяли... Это он, антихрист, супостат окаянный, толкнул вас на грехи тяжкие. Зачем, спрашивается, вам нужны те несчастные гроши да алтыны, кои вы хотите силой вырвать у хозяина? Впрок они вам не пойдут. Эти деньги вы потратите зря: одни пропьют в кабаках, другие начнут покупать своим молодым женам или полюбовницам жакетки и сапоги со звездочками...

— Ты, батя, в мирские дела не вмешивайся! — зло крикнул кто-то из толпы. — От таких заработков не дюже к полюбовницам потянет...

— Чего орешь? Дай отцу святому слово праведное сказать. Может, тебя дурака, и не потянет на скоромное, а греховные думки от букреевских заработков все равно заведутся... — не то серьезно, не то в насмешку отозвался кто-то на выкрик сезонника.

Со всех сторон на них зашумели, зашикали.

Отец Исай несколько растерялся и уже неуверенно продолжал:

— Вот я и говорю вам: мирские дела — это тлен и суета, и они будут мешать вам войти в царство небесное...

— Ого, батя, загнул!..

— Выходит, в жакетках да сапогах нельзя войти в царство небесное, а в лохмотьях, голопузым да телешом — можно?..

— Значит, мы все в раю будем, а Букреевы — в преисподней!

— Го-го! Здорово!

В толпе поднялись галдеж, смех, ругань... Перекричать всех попу уже не удалось. Он понял, что ту магическую власть, которую имел над толпой вначале, безвозвратно потерял.

Ничто теперь не могло удержать сезонников здесь, на выгоне, у перекрестка дорог. И они, рассыпавшись, бездорожно направились к усадьбе Букреевых.

А в это время Дмитрий, чуть не свалившись в открытый проем колокольни, панически заорал кучеру:

— Эй, ты!.. Давай скорей к паперти тачанку!.. Живо!.. — и, спотыкаясь о кучи насохшего на ступеньках голубиного помета, гулко загрохотал вниз по крутой лестнице.

Нет, таким Прокопия Бурцев еще никогда не видал. Обыкновенно подчеркнуто сдержанный, чуть насмешливый, он всегда был в обращении с другими предупредителен. Если же кто-либо его раздражал и злил, он презрительно щурил глаза, менялся в лице, но голоса не повышал, а спокойно возражал или учтиво доказывал свою правоту.

Сейчас же как будто подменили его. Даже Дмитрий в порыве гнева не доходил до таких крайностей.

— Хам! Дурак! Что ты натворил вместе с моим идиотом братцем! — орал Прокопий. — Ты еще оправдываешься!.. Молчать!..

Приказчик вздрогнул и пьяно пошатнулся: что-то обожгло его щеку и резко рвануло назад голову. Не поняв, что с ним случилось, он испуганно попятился к двери.

Прокопия несколько смутила первая в жизни пощечина, которую он нанес приказчику. Скрывая смущение, Букреев площадно выругался и уже тише продолжал:

— На кой черт, спрашивается, вам нужны были эти удержания и вычеты?! Жалкие гроши!.. Взбунтовать народ, в то время когда в Ростове снова затеваются беспорядки — это надо быть действительно тупоголовыми идиотами!.. Это значит найти копейку, а потерять рубль. Вспомни прошлогодние события!.. Стоило только там мастеровым взбунтоваться, как у нас словно эхо откликнулось. Почти все экономии захватило... А летом сколько сил мне стоило успокоить сезонников на Трехбратской и выручить из беды вас, дураков!.. А теперь снова обрадовали... Удержали, вычли копейки! Да сейчас, может быть, там, в главной усадьбе, уже все пылает в огне... — Букреев, сжимая кулаки, шагнул к Бурцеву: — Почему только сейчас об этом мне доложил?..

— Ночью не мог разыскать, — чуть слышно выдохнул приказчик, плотно прижимаясь сутулой спиной к косяку двери.

— «Не мог разыскать»! — с презрением и злостью повторил Букреев. — Даже на это у тебя не хватило ни ума, ни сноровки.. Я же — не иголка!.. Пропьянствовал, подлец!.. От тебя еще и теперь несет, как от винной бочки... — Прокопий с брезгливостью отвернулся от приказчика и минут пять молча метался по комнате. — Где лошади?.. Ступай садись. Я сейчас оденусь и выйду... Что?.. Попросить у атамана казаков или полицию?.. Дур-рак!.. Ступай!..

Не объяснив причину своего внезапного отъезда, Прокопий попрощался с гостеприимным хозяином, выскочил из

дому, сел в пролетку и приказал скорее гнать, не жалеть лошадей.

Перед выездом из станицы Бурцев виновато попросил Букреева:

— Позвольте на минутку заскочить вон в тот домик... Сынка Пашку с собою захватить... В гвардию его берут... Сейчас на три дня отпустили домой... Собрать надо...

— В гвардию?.. Гм... Ну ладно, бери, только скорей!.. — нетерпеливо скривился Прокопий.

Быстрая езда, свежий осенний ветерок, бьющий в лицо, величаво спокойная степь, раскинувшаяся перед глазами, несколько остудили горевшего от нервного возбуждения Букреева. И все же он с тревогой смотрел вдаль, где, замирая сердцем, боялся увидеть зловещее облако дыма далеких пожарищ. Но как он ни вглядывался, небо до самого горизонта было чистое, прозрачное, усеянное серебристыми паутинками запоздалого бабьего лета.

«Может быть, все и обойдется», — с надеждой подумал Прокопий, осторожно снимая прилипшую к лицу паутинку.

За бугром, где дорога круто забирала вправо, обходя небольшой овражек, они нагнали идущего налегке, с небольшим оклунком за спиной и сапогами, перекинутыми через плечо, не то сезонника, не то мужика-переселенца. Сойдя на обочину дороги и не оглядываясь, он приостановился, чтобы пропустить мчавшуюся в клубах пыли пролетку.

— Ого-го-о!.. Афоня!.. — вдруг закричал Пашка, привставая на сиденье. — Ваше благородие, это Афонька Чумаков. Его тоже берут в гвардию... Может, захватим с собою?..

Бурцев резко повернулся назад, ткнул концом кнутовища в бок Пашку, строго приказал:

— Сиди, придурь, помалкивай!..

— Нет, постой, почему же не взять?.. — вмешался Букреев. Он уже снова был сдержан и расчетливо добр. — Место есть... Зови!..

Когда Афонька уселся рядом с Пашкой, Прокопий поинтересовался:

— Тебя, говорят, в гвардию берут?

— Так точно!..

— А я думал, что ты сейчас там, с ними... Громишь мою усадьбу.

Афонька недоуменно взглянул на серьезное, даже строгое, без единого намека на улыбку лицо Букреева, молча пожал плечами. Он ничего не знал, что творилось сейчас в экономии, и принял слова Прокопия за шутку..

— А мы зазря никого громить не будем,

— Это верно, — подтвердил Букреев, враждебно взглянув на приказчика.

— Ты как же все-таки попал в гвардию? Кто за тебя хлопотал? — осмелился подать свой голос старший Бурцев, пытаясь перевести разговор на другое.

— Никто не хлопотал... Пристав даже был супротив, но господин полковник за меня заступился. Фигурностью я очень подошел под гвардию... Царю, говорит, надо показать, нехай полюбуется русским мужиком... — с бесхитростной простотой объяснил Афанасий.

Прокопий невесело улыбнулся и ничего не сказал.

Не доезжая версты четыре до хутора Степной Кут, повстречали верхоконного. Прокопий остановил пролетку, отвел на обочину дороги хуторянина и подробно расспросил, что происходит в экономии. Тот оказался в курсе всех событий и охотно отвечал Букрееву.

Сезонники из Трехбратской падины действительно прибыли в главную усадьбу. К ним присоединились все остальные работники. Но никто из бунтовщиков не стал бесчинствовать. Их чем-то утихомирила сама барыня Аполлинария Викторовна. Все они теперь расположились цыганским табором в имении и терпеливо ждут возвращения хозяина.

Дмитрий же, говорят, не рискнул оставаться в усадьбе и сейчас отсиживается у хуторского атамана, ждет Прокопия.

Это сообщение несколько успокоило Букреева, но и озадачило. Снова придется ловчить, чтобы мирно разрешить этот конфликт... А как лучше сделать?..

Напряженно размышляя, Прокопий приказал не гнать лошадей, так как надо было принять решение сейчас, в дороге. Потом будет поздно... Он от Бурцева знал, что верховодят сезонниками по-прежнему одноглазый кузнец и десятники. Надо, стало быть, начинать с того, чтобы вырвать людей из-под их влияния...

И тут дурацкая фраза Пашки, произнесенная за спиной Прокопия, утвердила его хитрый замысел:

— Слышь, Афоня, на проводах и гульнем же мы!.. Всех гостей перепоим, а сами в станицу на карачках поползем... Го-го!.. Верно?..

— Меня некому провожать, — угрюмо отозвался Афонька. — Я вот только кое с кем повидаюсь на хуторе, заскочу на зимовник попрощаться с дядей Корнеем, да и махну опять в станицу: нехай отправляют в полк.

— Стойте, гвардейцы!.. — вмешался Прокопий, словно ожидавший этого разговора. — А ведь и впрямь надо сде-

лать вам проводы. Не каждый день такой случай бывает, да и не каждого берут в гвардию... Ты, парень, хорошим работником у меня был. Я и устрою тебе проводы. Бочку вина поставлю. Закатим пир на весь мир!.. Всех пригласим. Ты своего старого дружка одноглазого зови... Пусть все знают, что за Букреевым ничего не пропадет...

Весть о том, что бывший работник Василия Фирсова Чумаков Афонька идет в гвардию и что сам Букреев устраивает проводы гвардейцам, быстро облетела хутор. И когда Афанасий перед вечером пришел в гости к Сазоновым, то там уже знали об этом и Никита Иванович восторженно встретил дорогого гостя. Не давая сесть, он раза три обошел вокруг смущенного парня, словно видел его первый раз, зачем-то попытался дотянуться рукой до плеча, но не достал; отступил шаг назад, удивленно потряс бороденкой и восхищенно воскликнул:

— Сподобил же бог такого богатыря! Ну как на картинке!.. Слышь, мать, глянь сюда. Всеми статьями, говорю, вышел парень, даром что не казачьего звания... Ведь шутка ли — до самого царя-батюшки достиг: во дворцах разных и белокаменных палатах гвардейскую службу будет несть! А?.. Каков орел?! — Никита Иванович метнул ликующий взгляд на Афанасия, потом на Марфу Даниловну, хлопотавшую у печки, и вдруг, передернув плечами, фыркнул от смеха: — А Васька, Васька-то Фирсов в дураках остался!.. Молодец, Афоня, нос ты ему утер!.. Помнишь, Марфа, как он на нас орал: «За кого пришли сватать?! За голодранца! Вон из моего дома!» Ха-ха! Вот дурак! Теперь, наверно, кусать будет локоть, да не тут-то было — попробуй достань!.. За такого парня теперь любая девка пойдет! Верно, Марфа?

— Ну понес без колес! — насмешливо отозвалась Марфа Даниловна. — Любая девка и тогда и теперь пошла бы с дорогой душой за Афоню, да вот беда — богачи и теперь слухать не хотят о таком бедном женихе, как Афоня...

Афанасий побледнел, с трудом выдохнул:

— Пить... Напиться бы...

Не успела Марфа Даниловна окликнуть кого-нибудь из детишек, чтобы принесли воды, как из-за печи стремительно вырвалась целая стайка девчушек, одетых в пестрые лохмотья, и с разноголосым криком и смехом бросилась наперегонки в чулан за водой. Одна из девочек, видимо самая проворная, опередила всех и, расплескивая воду, с низким поклоном подала Афанасию кружку.

— Спасибочко...

— Богу святому, — степенно, как и полагается в таких случаях, ответила девочка и снова метнулась за печь, откуда любопытными зверьками уже выглядывали остроглазые сестренки.

Афанасий жадно опорожнил кружку и, словно охмелев, повел взглядом по хате:

— А Ульяна ваша на зимовнике?..

— Улька? — отозвалась Марфа Даниловна. — Нет, сейчас дома. Бросила, шалопутная, коров букреевских и вместе с сезонниками сюда пожаловала. Тоже бунтарем заделалась. Отец хотел было кнутом проучить, да не далась...

— А где ее можно повидать?..

Марфа Даниловна догадалась, зачем нужна ему Улька, посоветовала:

— Ты, Афоня, подожди немного. Улька к соседям побегла, скоро вернется и все тебе подробно об Настеньке расскажет... Ты присядь на лавку. Чего стоишь? В ногах правды нету... А я пока на скору руку блинчиков настряпаю...

Как только Марфа Даниловна ушла к печке и озабоченно загремела горшками, Никита Иванович оживился. Ему не терпелось поделиться своими новостями. Чтобы сразу привлечь внимание гостя, он начал с самого главного:

— Слышь, Афоня, а я, брат, опять ближе к богу стал — в пономари пошел...

— Что такое? — не понял Афанасий.

— Обратно, говорю, в церкви пономарить начал. Их преподобие отец благочинный на днях у Букреевых был в гостях и к нам заглянул в церкву. Я ему и доложил, кто я таков. Он самолично благословил меня и ручку даже свою пухленькую дал поцеловать... Понял?

Афонька, кáжется, и сейчас не понял, думая о своем, но на вопрос ответил кивком головы. Это подбодрило старика.

— Ну, окромя того, я и караульщиком в церкви пристроился. Надо как-то перебиваться, вон тех цыганят голопузых, что за печкою сидят, чем-то кормить. А то в чабанах букреевских мне дюже не повезло. Весь свой заработок обратно хозяину отдал, да еще задолжался... А получилось все из-за проклятых волков. Погнал это я перед вечером через чащобу бурьяна отару на водопой. Откуда ни возьмись — два матерых волка. Один из них черк козла-вожака, кинул себе на хребтину и поволок в балку... Овца же, глупая тварь, заместо того чтобы шарахнуться назад, услыхала крик вожака и опрометью за ним... А в балочке-то целый волчий выводок поджидал. Они и набросились на отару. До

десятка овец попортили и двух с собою унесли... Вот я и заработал. В одних портках домой возвернулся. Детишкам заместо гостинцев овечьих орешков в кармане принес для забавы... — Никита Иванович невесело хихикнул и виновато покосился на Марфу Даниловну. — Видать, я бога прогневил, когда на святой неделе от пономарства отказался и к Букреевым ушел... Ну теперь дело поправилось. Отец Исай простил мой грех, а я в долгу не остаюсь. В аккурат за десятерых все делаю: и в кадилу угольки с ладаном положу и раздую, и рясу подам, и ризу помогу на плечи воздеть, и сбегаю на колокольню — в колокола вдарю, и в перерыве между заутреней и обедней старушонкам убогим акафист нараспев почитаю...

— О, расхвастался! — с досадой перебила Марфа Даниловна. — Поповским прихвостнем стал и рад до смерти!..

— Цыц! Замолкни, нечистая сила!.. Опять свое!.. — обиделся Никита Иванович. — Я вот возьму портянку и заткну твою глотку, как печную трубу, чтобы через нее нечистый дух не дудел всякую пакость!..

— Ой храбрый какой нашелся!..

Вспыхнувшая перебранка грозила перерасти в семейный скандал, но в это время в двери появилась Ульяна. В хате тотчас все затихло. Афонька привстал с лавки и шагнул навстречу девушке.

— Уля, я давно тебя жду. Мне надо на прощание повидать Настеньку. Как это сделать?.. Может, ты покличешь ее сюда?.. — обратился с просьбой Афанасий, забыв поздороваться.

— Перво-наперво — здорово!.. — усмехнулась Ульяна. — Ну что ж, я тайком сбегаю к ним, покличу. Может, как и вырвется... Только отец теперь с нее глаз не сводит... Ведь что он нынче сделал! Как только услыхал, что ты прибыл в хутор, так и начал опять тиранить Настеньку. Запретил выходить из дому, а сам, вражина, тайком послал гонца в Новый Егорлык за богатым женихом, какой недавно приезжал к ним свататься. Хочет скорее выдать ее замуж, чтобы она об тебе перестала думать... Да ты сиди, сиди. Я сейчас к ней сбегаю...

ГЛАВА XXIV

Прокопий Букреев был восхищен, горд и до слез растроган. Кто мог подумать, что такое крохотное, хрупкое, милое создание совершит этот мужественный и, пожалуй, единственно правильный в той обстановке поступок! Она спасла все: и усадьбу, и букреевскую репутацию, и свою жизнь!..

Дмитрий оказался подлецом и трусом. Испугавшись толпы сезонников, бросил усадьбу и беззащитную женщину, бежал в хутор и там спасался до прибытия Прокопия. По рассказам очевидцев, она, как легендарная Жанна д'Арк, смело вышла навстречу разъяренной толпе сезонников и властным жестом своей маленькой руки остановила разбой.

Но вообще-то Прокопий в своем разгоряченном воображении многое преувеличивал.

Букреевская Жанна д'Арк — Аполлинария Викторовна как только увидела в окно приближающуюся к усадьбе огромную толпу, страшно перепугалась. Расплакавшись, стала метаться по комнатам, кого-то звать на помощь, искать места, где можно было спрятаться. По совету горничной, она забралась в деревянную пристройку дома, в которой обыкновенно хранился старый хлам: сломанные диваны, стулья и другая ненужная рухлядь.

Через тонкие стены дощатой пристройки было слышно все, что творилось снаружи. Вот к дому приближается гудящий гомон многочисленной толпы. Во дворе — надрывный лай собак, у дома — предательский шепот прислуги. Вдруг в тесовые ворота — дробный грохот ударов. Крики, ругань, смех...

— Эй, хозяева, открывайте ворота, женихова родня приехала!

— Сейчас тебя с хлебом-солью встретят!..

— Держи карман шире!..

Снова грохот ударов в ворота. Через минуту звякнула цепь, скрипнула калитка. Кто-то вышел со двора.

— Чего стучите? — Голос деда Глобы. — Хозяевов никого нету.

— А где они?..

— Прокопий в станице, а Митрий куда-то ускакал... Может, за казаками помчался, чтобы вас, дураков, усмирить...

— Ого, вон как?!

— А ты, дед, не дурачь!..

— Холуем заделался!..

— Открывай ворота, мы сами будем хозяйничать!..

— Не трожь!.. Не толкай, паршивец!.. — Гневный голос деда Глобы. — Я тут остался заместо главного и не велю вам разбоем при мне усадьбу громить, потому я за нее, может, головою буду ответствовать!..

— Отойди, цепной кобель!..

Шум, возня, крики...

Ужас сковал Аполлинарию Викторовну. С минуты на минуту разъяренная толпа ворвется сюда и все уничтожит.

Гибель неизбежна!.. О боже, что делать?! Отчаяние — плохой советчик, но иногда может вдруг толкнуть на безрассудно смелый поступок. Это как раз и случилось с Аполлинарией Викторовной. Не помня себя, она разбросала рваные подушки, которыми была укрыта, выскочила из пристройки и метнулась к высокому крыльцу дома.

— Господа мужички, выслушайте меня!.. — вдруг прозвучал девически звонкий, призывный голос.

Все в изумлении увидели на балконе растрепанную, густо усыпанную пухом маленькую женщину. Сумасшедший блеск глаз, поднятая вперед и вверх маленькая энергичная рука властно приковали к себе всех. Толпа притихла.

— Я здесь хозяйка!.. Эй, Глоба, открыть ворота!..

Через минуту звякнул и загремел засов. Толпа шумно хлынула в распахнутые ворота.

— Я знаю, зачем вы сюда пришли!.. Случилось недоразумение!.. Все ваши просьбы будут удовлетворены!..

— Вон ты какая!.. — восхищенно и недоверчиво проронил кто-то в притихшей толпе.

— Прошу только подождать мужа. Он должен скоро возвратиться из станицы. Эй, девки, все вечернее молоко отдать на ужин!.. На ночлег можно располагаться здесь, в усадьбе. Сена на скотном дворе хватит. Ложитесь и отдыхайте!..

— Братцы, ура хозяйке!.. Ура-а!..

Многоголосый рев, хохот, веселые выкрики и свист оглушили перепуганную Аполлинарию Викторовну. Что было дальше — она почти не помнит. Толпа отхлынула на задний двор. Оставшись одна в доме, здоровая и невредимая, Аполлинария Викторовна наконец пришла в себя. Но тут же внезапно бросил ее в постель тяжелый истерический припадок. Она плакала и смеялась, исступленно о чем-то молилась и кого-то проклинала, рвала на себе ворот халата, а через минуту как ни в чем не бывало свободно и легко дышала полной грудью, весело смеялась и вдруг снова рыдала. Только глубокой ночью Аполлинария Викторовна кое-как успокоилась, но все равно до утра не сомкнула глаз. А тут еще дед Глоба омрачил ее настроение. Он донес, что сезонники после ужина не легли спать, а вооружились кто чем мог — вилами, косами, лопатами и просто палками, выставили караул, сделали засаду и залегли в усадьбе, как в крепости.

— Почему? — удивилась Аполлинария Викторовна. — Они что, мне не поверили?..

— Да как вам сказать?.. Поверить они поверили, только говорят, на бога надейся, а сам не плошай... Митрия-то

Алексеевича дома нету. Где он, спрашивается? Может, за казаками али полицией поскакал... Потому кривой кузнец и присоветовал людям не шибко глубоко зарываться головой в солому. Надо, говорит, одним глазом спать, другим — курей бачить. Вилы же али палки заместо жен при себе под боком держать. Так будет надежней...

— Вон как? — прошептала Аполлинария Викторовна, чувствуя, как все тело осыпает противный озноб. — Что же теперь делать?..

— Да ничего, — успокоил Глоба. — Ложитесь в постель и спите себе, а я там покараулю. В случае чего — гукну...

Преданность Глобы растрогала хозяйку, но не успокоила. Весь остаток ночи она тревожно ждала сигнала от старика, чутко прислушиваясь к малейшему шороху в доме.

На заре, после третьих петухов, как выстрел, гулко грохнула входная дверь в доме. Аполлинария Викторовна вздрогнула, проворно вскочила с постели и замерла у кровати. Гремя и шаркая опорками, торопливо вошел запыхавшийся дед Глоба:

— Барыня, беда!.. Все наши работники тоже взбунтовались и схлестнулись с сезонниками. Никто ничего не хочет делать. Даже бабы отказались доить коров. Нехай, говорят, барыня сама под корову садится да доит...

— Господи, какая черная неблагодарность!..

Осунувшаяся, заметно постаревшая за ночь Аполлинария Викторовна не выдержала нового испытания, зло и беспомощно разрыдалась.

— Может быть, действительно казаков надо вызвать, а?..

— Нет, барыня, казаков не надо... — глухо буркнул Глоба, отводя в сторону помрачневший взгляд. — Зачем злить народ? Можно мирно, по-хорошему договориться... Ежели пойти войной на мужика, то худо будет и вам, и всем другим... Ить может что получиться, пока казаки усмирят, — вся ваша усадьба полымем возьмется...

— Да-да, ты, пожалуй, прав... О господи, что же мне делать?! — в отчаянии простонала Аполлинария Викторовна, с хрустом заламывая маленькие пальцы рук.

Ответа от старика она не получила и только сейчас со всей остротой почувствовала, какая огромная тяжесть свалилась на ее хрупкие плечи в этот решающий момент. Самое страшное, что она осталась совсем одна среди злых и жестоких людей. Никто теперь ее не пожалеет, не оборонит от грозящей беды. До сердечной боли стало жалко себя. И она, проклиная в душе всех: и мужа, который оставил ее одну, и Дмитрия, трусливо сбежавшего из усадьбы, и этих

ненавистных ей мужиков, — поклялась жестоко отомстить за себя.

Прокопий возвратился из станицы к полудню. В усадьбе он застал мирно ожидавших сезонников. Когда же он узнал обо всем, что случилось и как отважно вела себя Аполлинария Викторовна, был поражен:

— Да это действительно настоящая Жанна д'Арк! Она спасла все!..

Прокопий растроганно обнимал жену-героиню, с умилением целовал глаза, губы и маленькие пальцы мужественных рук...

Умело и ловко разрешил Прокопий конфликт с сезонниками. Прежде всего он пригласил их на проводы Афанасия Чумакова, пообещав после того самолично произвести с ними полный расчет, никого не обидеть...

По старым казачьим традициям, проводы идущего в полк новобранца всегда сопровождались церковным молебствием, праздничным торжеством и пьяным разгулом.

Афанасий не был казаком, и никто ему, конечно, не собирался устраивать традиционных проводов. Вот почему все хуторяне были удивлены, а Дмитрий раздосадован и даже взбешен, когда Прокопий объявил о своих намерениях. Однако младший Букреев настоял на своем. Он приказал поставить прямо на церковной площади столы, выкатить из подвала огромную бочку вина и угощать всех, кто прибудет на проводы.

По-праздничному торжественно, как на пасху, ударили колокола хуторской церкви. Первыми на площадь пришли сезонники из Трехбратской падины. За ними гуртом отправились и остальные работники главной усадьбы. И только уж потом вразнобой потянулись хуторяне.

После молебна, когда народ вышел из церкви, Букреев коротким движением руки подал сигнал. Из сорокаведерной бочки выбили чоп. Ароматное шипучее вино разливали ведрами, ставили на столы, черпали ковшами и кружками. Пили стоя, не закусывая.

У церковной ограды визгливо пиликала гармоника. У самой паперти ревел хор пьяных голосов:

Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья...

На площади, в кругу подвыпивших парней, недвижно, словно на часах у полкового знамени, прямился Афанасий, невольно приковывая к себе любопытные взгляды хуторских девчат.

Около бочки вертелся второй новобранец — Пашка Бурцев. Захмелев, он совершенно позабыл о своем важном положении на этих проводах и добровольно изъявил желание разливать из бочки вино. Зачерпывая шипучего, Пашка крестил плескавшийся ковш и набожно орал:

— Господи, благослови, а ты, душа, лови, язык, подхватывай да дальше закатывай!.. Давай навались у кого деньги завелись!..

— Какие тебе деньги?.. Твой родитель, будь он трижды клятый, себе прикарманил... А барин надурняк теперь нас угощает...

— Да ну?.. Тогда пей, не жалей!.. Со страхом божьим и верою приступите... — протяжно, нараспев, подражая попу Исаю, тянул в нос Пашка, кого-то выискивая мутными глазами в толпе. — Приобщается раб божий... ты!.. — И совал в руки счастливца наполненный ковш. — Аминь!..

Вокруг хохотали, отплевываясь от богохульной молитвы Пашки, но дружно тянулись за ковшом.

— А-а... дед Корней!.. Милости прошу... — вихляясь в притворном почтении, приветствовал Пашка кузнеца, зачерпывая из бочки вино.

— Ну, спаси Христос... Надо хоть на старости лет попробовать барских напитков... — перекрестился кузнец, окуная в ковш желтые, прокуренные усы. — Да-а... вот это, брат, винцо!.. Истинный бог, как святое причастие... — блаженно улыбался Корней Федотович, вытирая жесткой, негнущейся ладонью мокрые и липкие от вина усы и бороду.

— На еще, дед, пей да помни доброту Букреева...

— А мы, сынок, все помним... — лукаво прищурил глаз кузнец, возвращая пустой ковш.

Вскоре откуда-то на столах появились глиняные кувшины, наполненные вонючим самогоном.

— Это от меня, братцы!.. Я угощаю!.. — хрипло прокричал старый Бурцев, плутовато косясь на стоявшего в стороне Прокопия Букреева. — За моего Пашку-гвардейца пейте!..

Для крепости стали мешать вино с самогоном. Хмелея, горланили песни. В дикой пляске вытаптывали затравевшую площадь.

В самый разгар пьяного веселья к Афанасию подскочила Улька Сазонова:

— Афоня, родной, все пропало!.. Отец Настю побил и запер на замок в амбаре... Криком кричит... Она хотела к тебе...

Улька еще что-то шептала, но нахлынувшая толпа оттеснила ее.

— Ура-а!.. Качать гвардейцев!..— надрывно прокричал кто-то в толпе, покрывая несусветный гул пьяных голосов.

Толкаясь, давя друг друга, скопом бросились к Афоньке и Пашке опьяневшие хуторяне и сезонники.

Афанасий рвался из рук:

— Братцы, ради бога, пустите!.. Я скоро возвернусь!

В общем гвалте пьяной толпы никто не слышал его. Афонька понял, что сейчас ничего не сможет сделать. Махнув рукой, в злобной тоске выпил кем-то услужливо предложенный ковш шипучего вина и почти сейчас же снова увидал в своих руках глиняную кружку, плескавшуюся через края вонючим самогоном. Пил он с тупым безразличием. С каждой минутой чувствовал, как тяжелело все тело, словно наливалось свинцом. Никла голова, меркли в его тоскующих глазах яркие блики солнечного дня...

Перед вечером табуном проводили гвардейцев за хутор. На выгоне, у ветряка, по старому обычаю, кто-то дал прощальный трехкратный залп из охотничьих ружей. Какой-то мальчишка выпустил из-за пазухи пару голубей.

Афанасий, храня в охмелевших глазах душевную боль и тоску, почти не замечал бушевавшего вокруг него пьяного веселья. Среди толпившихся девчат он по-прежнему не находил той, ради которой пришел сюда, на хутор, и согласился на эти дурацкие проводы.

Кто-то из стариков, кажется дядя Корней, подталкивая Афанасия в спину, наставительно прошептал:

— Прощайся, сынок, с миром да и ступай себе с богом в станицу... Эх, сынок, боком нам выйдут эти проводы... Обойдет нас Букреев, споил народ. Теперь с ними ничего не сварганишь... Разбрелись все... Ну, прощайся и ступай...

Афанасий послушно, с пьяным безразличием стянул с головы картуз, перекрестился на восток, поклонился в пояс на все четыре стороны и дрогнувшим от волнения голосом попросил:

— Простите, люди добрые, ежели кого чем обидел... Может, я уже никогда больше не буду тут топтать полынь-травушку... Возвертаться сюда мне, пожалуй, не к чему, да и не к кому... Богатеям нужны только мой горб да вот эти грабли...— Афанасий с ожесточением выбросил свои огромные ладони с широко расставленными пальцами, потряс ими и добавил:— Вот и все мое добро... Работник я таковский, а жених никудышный... Сватов им надо других, с достатком и при хозяйстве...

— А-а, вон какая песня... — протянул кто-то не то сочувственно, не то разочарованно.

Не зная, что еще сказать провожающим, Афанасий опустил воспаленные глаза, скороговоркой бормотнул:

— Ну, пока прощевайте... Не поминайте лихом...

Круто повернувшись, он медленно, не поднимая головы, побрел к ветряку, где ждала его букреевская пролетка. С усилием оторвав от истоптанного, запыленного подорожника затуманенный взор, Афанасий увидел, как высоко над головой, на торчмя поставленном крыле ветряка, прощально помахивая, с хлопаньем полоскался на ветру оборванный конец парусины. За ветряком, у голого перевала, выжженного солнцем, серая полоса дороги круто поворачивала на северо-восток и, прячась в побуревших зарослях бурьяна, незримо уходила в степь. Из-за бугра, спотыкаясь, рвался к хутору приуставший к вечеру суховей, запаленно дыша солоноватым жаром прикаспийских пустынь и полынной горечью сальских степей.

Афанасий, медленно поднимаясь на пригорок, слышал, как за спиной перекипала в сутолоке пьяного веселья разноголосая толпа. Но, заглушая все, шелестел в ушах тревожный шепот Ульки: «Афоня, родной, все пропало!..»

В охмелевшей голове парня несвязно возникали угрюмые мысли: «Вот, зверюга, загубит девку... Эх, хоть бы одним глазком взглянуть на нее... А разве взять, обернуться да и махнуть к ним!.. Высвободить ее, а потом и айда на все четыре стороны вместе с нею... Никому не отдам, да и сам живьем не сдамся!..»

И вдруг, прерывая эту путаницу мыслей Афанасия, сзади, в сумятице прощальных выкриков провожающих, раздался чей-то горячий, накаленный страстью и отчаянием вопль, и вслед за ним прозвучал страшно знакомый голос:

— Афоня!.. Подожди!..

Афанасий удивленно оглянулся.

Через расступившуюся толпу, вытянув вперед руки и запрокинув голову, бежала к нему девушка. Смятение и радость огненным румянцем жгли ее щеки; ветер рвал, как язык белого пламени, сбившуюся на затылок косынку, густым дымом взвихривал разметавшиеся по плечам черные пряди волос...

Афонька ахнул, не веря своим глазам:

— Она! Настенька!

Сил у Насти хватило только на то, чтобы добежать, броситься к Афоньке и чуть слышно выдохнуть:

— Ушла!.. Насовсем!..

Ноги у нее вдруг подкосились, и она медленно стала оседать и валиться на бок. Афанасий подхватил ее, легонько приподнял и бережно понес на вытянутых руках. Для него, как в причудливом сне, все исчезло вокруг, растаяло в оранжевом сиянии лучей заходящего солнца. Осталась в этом сказочном мире только она одна, да еще вот эта длинная и черная тень распятого ветряка, косым крестом перечеркнувшая им дорогу.

ГЛАВА XXV

Проснулся Корней Федотович Булатов под утро. Долго не мог понять, где он находится. В густой темноте отовсюду слышались разноголосый храп, сонное бормотание, приглушенные стоны, возня, почесывание...

Корней Федотович, не меняя положения, пошарил рукой вокруг себя — шелест прелой соломенной подстилки, чьи-то распростертые тела.

«Где я очутился?.. Кто тут спит?.. Ах да, кажись, опять букреевские сараи, а это — вповалку сезонники», — догадался старик. И хотя еще не выветрилась хмельная одурь из головы и до тошноты ломило виски, он наконец вспомнил все и злобно выругался.

— Никак, наш атаман проснулся? — раздался чей-то хриплый спросонья голос. — Кого это ты, Федотыч, лихим словом крестишь?..

— Всех... — угрюмо отозвался кузнец. — А перво-наперво — себя, старого дурака...

— За какие грехи?..

— Чего зря пытаешь?.. Будто сам не ведаешь?.. — раздраженно буркнул старик и умолк.

За саманными стенами сарая натужно шумит порывистый ветер, тоскливо, с подвывом, тянет высокую ноту в оголенных ребрах стропил, шуршит слежавшейся полугнилой соломой на провалившейся крыше. Откуда-то издали, видимо от соседнего сарая, доносится одинокое, по-детски беспомощное и жалкое рыдание сыча-вещуна.

Корнею Федотовичу стало не по себе. И так тяжело на душе, а тут еще эта проклятая птица накликает беду. Хотя, кажется, горшей беды, какая уже постигла его и всех этих людей, теперь и ждать нечего. С ранней весны и до поздней осени, как каторжные, гнули они спину на букреевской земле, ели, как говорят, вприглядку, спали вповалку, светлого, праздничного дня не видели — и вот чем все это кончилось: снова без куска хлеба, без копейки в кармане, без работы и пристанища. А в этих вонючих сараях теперь

им делать нечего. Кто, спрашивается, на зиму глядя тут их наймет?.. Возвращаться же домой, где тебя давным-давно нетерпеливо ждут голодные рты, — не с чем. Все, что заработали, с легкой руки Прокопия Букреева до копейки пропили...

Больше всего мучило Корнея Федотовича сознание того, что основным виновником этого несчастья стал он, старый бирюк. Дернул же черт его заварить кашу — повести сезонников в главную усадьбу Букреевых! Но кто мог предвидеть, что на пути обездоленных работников встанут, как в недоброй сказке, все небесные и земные злые силы: то поп со своими молебнами и проповедями, поколебавшими некоторые набожные души; то красивая барынька, неожиданно усмирившая своей мнимой добротой самых отчаянных молодых дурней; то, наконец, сам Прокопий, доконавший всех хитро подстроенной попойкой.

Букреев оказался опаснее других. Он не только расстроил ряды сезонников, но и обобрал их до нитки. Во время проводов гвардейцев, как только Афонька Чумаков, попрощавшись, скрылся вместе с провожающей его девушкой за хуторским ветряком, кто-то крикнул, что Прокопий в церковной караулке дает всем работникам полный перерасчет. Пьяная толпа табуном ринулась назад. Букреев действительно вместе с Бурцевым выдавал деньги без всяких удержаний и даже каждого благодарил за работу, приятельски пожимая натруженную руку. Счастливые и веселые сезонники выскакивали из караулки и на радостях кидались к винным палаточным лавчонкам, невесть откуда появившимся у церковной ограды. Проворные приказчики шуточками и прибаутками встречали и зазывали ошалевших людей, хватали с прилавка бутылки, ловким ударом ладони в дно с треском вышибали пробки и щедро угощали водкой-казенкой и низкосортным виноградным вином.

Пили почти всю ночь. Многие не выдерживали и падали на землю там, где их заставало пьяное беспамятство, и мгновенно засыпали. Наиболее выносливые и крепкие уползли на ночлег в караулку, а кое-кто, набожно крестясь и сквернословя, разместился прямо на паперти.

Утром, не придя еще в себя, начали опохмеляться — и снова пьяный разгул.

Когда опустели карманы сезонников, винные лавки закрылись и мрачное веселье прекратилось. По приказанию хуторского атамана сидельцы и усиленный наряд из местных казаков отогнали от церкви пьяную толпу. Кто-то пу-

стил слух, что Букреев будет угощать всех у своих сараев, около хутора Веселый Кукуй.

И вот теперь они здесь.

Обидно и больно было сознавать Корнею Федотовичу, что он, старый поводырь, к которому раньше многие внимательно прислушивались и доверчиво шли за ним, оказался бессильным удержать людей от неверного шага. Да и что он один мог сделать? Ведь пытался же вначале остепенить загулявших, но было поздно. Никто его не слушал, не понимал. С досады и горя сам напился, окончательно потерявшись в сутолоке бесшабашного разгула...

Как тяжело было сегодняшнее пробуждение! И видать, не один Корней Федотович мучился в это мрачное утро. В предрассветной мгле под навесом сараев все чаще и чаще стали слышаться угрюмые голоса просыпавшихся сезонников. И когда совсем рассвело, где-то в дальнем углу, всполошив всех, громко раздалось безумное бормотание:

— Висит!.. Гляньте, качается, как на релях... Брось, не балуй!.. За что ты там вцепился?.. Слезай!.. А ноги, ноги-то какие холодные...

И вдруг дикий, раздирающий душу крик:

— Карау-ул!.. Прошка повесился!

Похороны состоялись в тот же день пополудни. Поп наотрез отказался служить панихиду и запретил хоронить самоубийцу на хуторском кладбище. Могилу вырыли здесь же, за глухой стеной сарая. Досок нигде не могли достать, да и купить их было не на что. Хоронили без гроба. На дно свежевырытой ямы постлали соломы и ею же присыпали окоченевшее тело, а потом завалили сухими комьями земли. Креста у могилы не поставили — не положено, только кто-то выворотил из фундамента букреевского дома-конторы огромный кусок дикого известкового камня, приволок его и тяжелым гнетом придавил серый могильный холмик.

— Вот и все, отмаялся человек... — тихо проговорил немолодой подслеповатый мужик, тяжело вздыхая, но не решаясь перекреститься.

Угрюмая толпа, обнажив головы, молча стояла вокруг.

На пустыре уныло шумел суховей. За почерневшими соломенными крышами сараев, в пустынной степи, затопляя далекие берега горизонта, бурунами плескалось марево. Вблизи толпы вдруг вспыхнул серый костер вихря и тут же внезапно осел, густо засыпав сором людей и эту страшную могилу.

Все они пришли проститься с покойником, но никто не

смел оплакивать такую смерть, никто не решался молиться по загубленной душе.

— Ох, люди добрые, ежели бы вы знали, как он кручинился... — по-прежнему тихо продолжал тот же мужик, тупо уставившись в землю. — Рядом со мною лежал... всю ночь криком кричал, горькими слезами плакал... Соломой себя душил, рот затыкал, чтобы другие его смертного воя не слыхали... Видишь ли, дьявол, говорит, его попутал, пропил он весь свой заработок дотла, а дома баба хворая и пятеро детишек один другого меньше с голоду подыхают... Вот он и не мог простить свой грех — казнил себя...

— Эх, а мы-то хороши!.. Как собаку али нехристя какого, закопали под букреевским тыном!.. — зло выругался кто-то в толпе. — Жил человек — маялся, день и ночь на богатеев проклятых гнул горб, а помер — два аршина земли на кладбище лиходеи пожалели дать...

— Нехай на себя руки не накладывает!.. Грех его там хоронить!.. — возразил здоровый белобрысый сезонник, опираясь на лопату. — Разве от этой казни бабе его с детишками легче стало?!

— Да оно так-то так, — раздумчиво протянул подслеповатый мужик, — но дюже винить его тоже нельзя. Букреев, сукин сын, виноват во всем. С хорошей жизни не полезешь в петлю...

— Нет, постой, мил человек, ты не то говоришь, — вмешался в спор Корней Федотович. — Ежели виноватый Букреев, то души Букреева, а не себя... Разве тебе, да и всем нам, сейчас дюже сладко, а?.. Все мы дали промах... И я хоть старик, пожил немало и горя хватил, пожалуй, не меньше любого из вас, но на себя петлю накидывать не собираюсь... До Букреевых нам теперь надо добраться и припомнить им все сразу!..

Никто не стал спорить со стариком, и трудно было понять, соглашаются они или нет. Возможно, на этом бы все и закончилось. Люди, потолкавшись около одинокой могилы, поспорили, покручинились, а потом молча разошлись бы кто куда, готовые заново искать свое лихое батрацкое счастье. Но случилось иначе.

Неожиданно у сараев появились человек пять работников из центральной усадьбы Букреевых. Еще издали, завидев толпившихся у могилы сезонников, они начали что-то кричать, размахивать руками, звать к себе.

Корней Федотович вначале не обратил на них внимания. Мало ли что взбредет в голову пропившимся мужикам. Видать, Букреев выгнал их из экономии, они и пожаловали

сюда. Что, спрашивается, могут сейчас сказать хорошего? Известно, кроме обиды и злости, у них ничего нет за душой. А этого добра и так у каждого хоть отбавляй.

Но каково было изумление старика, когда он увидел, как угрюмые и молчаливые сезонники, придавленные этой нелепой смертью товарища, вдруг взбаламутились, услышав от прибывших что-то нетерпимое. Возмущенные крики, злые угрозы и отборная брань — все смешалось в единый разноголосый галдеж. Нельзя было ничего понять.

Через головы Корней Федотович увидал, как белобрысый сезонник, подняв лопату и угрожающе потрясая ею, что-то дико заорал. Потом бросился к ближайшему букреевскому сараю. За ним кинулись другие.

— Что там стряслось?! — хрипло крикнул кузнец, но его никто не услышал.

Расталкивая локтями толпившихся, Корней Федотович стал пробиваться вперед.

А в это время белобрысый сезонник, подбежав к сараю, размахнулся и начал, как топором, обезумело рубить лопатой осевший угол саманной стены. Рядом кто-то низкорослый, подпрыгнув, зачем-то вырвал из застрехи сарая клок почерневшей сухой соломы и поспешно присел. Другой сезонник на ходу достал из широкого кармана холщовых порток кисет, выхватил оттуда кресало, высек шипучие искры и торопливо поднес задымившийся трут к пучку соломы. Вокруг них мгновенно сгрудились и дружно начали раздувать тлевший огонек.

И пока Корней Федотович пробивался вперед, голубые язычки пламени стремительно побежали по соломенному карнизу сарая. А через минуту огромный столб огня и дыма смерчем взметнулся в небо. Вслед за этим жарко полыхнули остальные сараи.

— Ребята! В контору!.. В букреевскую контору подкиньте огоньку!.. — командовал кто-то в толпе.

— Хлопцы! Давай к куреню Букреева!..

Лавина сезонников табуном устремилась к стоявшему вблизи большому деревянному дому, обнесенному, как острог, высоким глухим забором.

Корней Федотович оказался у стены сарая, где орудовал лопатой белобрысый мужик.

— Тихон, а Тихон, черта тебе в душу дать, что тут стряслось?! — прокричал кузнец, с досадой дернув за рукав мужика.

— А?.. Ты что, дед Корней?..

— Я спрашиваю: чего взбунтовались?.. Что приключилось?..

Мужик перестал размахивать лопатой — и как обухом старика по голове:

— Беда, дед!.. Афоньку... Твоего Афоньку после проводов казаки в станице схватили... Заарестовали!..

— За что? — выдохнул Корней Федотович.

Но тот, не отвечая на вопрос, оглушил еще раз:

— А девку его... как ее?.. Ну, да ту, какая провожала Афоньку, Букреев ночью загубил!

— Чего ты мелешь?! — побледнел старик.

— Не веришь, так вон тех спроси... — обиделся белобрысый мужик, махнул головой куда-то в сторону. — Они брешут, тогда и я брешу...

У Корнея Федотовича перехватило дыхание. Несколько минут стоял он с закрытыми глазами, тяжело опираясь о стену сарая.

— Ну, дед, посторонись... мешаешь!.. — сердито буркнул белобрысый. — А то лопатой зацеплю...

Старик открыл глаза, отшатнулся назад. Перед ним высилась толстая саманная стена, покрытая копотью и снизу изрубленная лопатой. Крыши сарая уже не было, только на вытоптанной земле, засыпанной легким соломенным пеплом, дотлевали куски обуглившихся стропил.

— Ты чего, дурень, со стеною возишься? — хрипло и зло выдавил Корней Федотович.

— Надо свалить!.. Букреев, гад, на них потом другие стропила поставит... А я под корень...

— А-а, разве так-то... — одобрительно проворчал старик. — Ну давай подмогну...

Возились они долго. Когда наконец лопатой подсекли снизу, а потом налегли плечами и вместе ухнули, стена, покачнувшись, тяжело рухнула, развалилась на крупные куски, источенные мышами, подняв смрадные клубы золы и пыли.

— Э-э, да она, брат, трухлявая была!..

Сзади вдруг кто-то громко под самое ухо заорал:

— Эй вы, кроты слепые, бросайте в земле ковыряться!.. Айда Афоньку выручать!.. Расквитаемся с Букреевыми за все сразу!..

ГЛАВА XXVI

В доме Букреевых были убеждены, что конфликт с сезонниками разрешен удачно и все неприятности позади. В главной усадьбе экономии снова установились прежние

тишина и покой. На следующий день после проводов гвардейцев Прокопий поспешил в станицу завершать сделку по продаже войсковому управлению большой партии строевых лошадей, а Дмитрий выехал к станичному атаману по каким-то своим личным делам.

Снова в усадьбе осталась одна Аполлинария Викторовна. Скучая, она бродила по пустым комнатам дома, не находя себе места, часто курила, иногда брала гитару и с легкой грустью напевала мелодии старинных, сладко щемящих душу романсов. Потом зачем-то приказала зажечь все люстры, уселась с ногами на тахту и, взяв несколько аккордов, заиграла любимый полонез Ромки... И опять Аполлинарией Викторовной невольно овладело чувство тревоги за судьбу поповича. Как он неосмотрительно и даже легкомысленно поступил, самовольно покинув место своего изгнания! Разве она не пыталась облегчить ему жизнь и добиться законного освобождения?..

В комнату вошла горничная и доложила, что Афонька Чумаков просит разрешения обратиться к барыне.

— Кто?.. Чумаков?.. — удивилась Аполлинария Викторовна. — Почему он здесь? Ведь вчера ему устроили проводы и отвезли в станицу...

— Он возвернулся. За девку пришел хлопотать, какая за ним из дому ушла насовсем, — объяснила горничная. — Просит, чтобы вы ее в наймички взяли. В станице, говорит, ее никто не нанял...

— Постой, постой... Как ушла насовсем?..

Горничная, хихикнув в кулак, подробно рассказала о проводах.

— Гм-м... Любопытно... Зови!..

Когда Афонька вошел в комнату, Аполлинария Викторовна откинула в сторону гитару, опустила ноги на ковер, предупредила:

— Я знаю, с какой просьбой ты пришел... Но я не позволю приводить в наш дом каких-то распутных беглых девок!..

Афонька побледнел:

— Напрасно вы, барыня, так нехорошо говорите об Настеньке. Она... честная...

— Знаем мы этих честных!.. — фыркнула Аполлинария Викторовна, поперхнувшись табачным дымом. — Порядочная девушка не убежит из дому и не будет бросаться при всем народе на шею первому попавшемуся парню... — Она взглянула на стоявшего у двери Афоньку, лукаво добавила: — Хотя, может быть, и красавцу...

— Я не первый попавшийся... — буркнул Афонька и сейчас же умолк. Он задыхался от ярости. Но и теперь у него хватило сил сдержать себя. Зная, что дальнейшая судьба Насти во многом будет зависеть от этой вот капризной хозяйки, он угрюмо опустил глаза.

— Ну и что же?..

— Я не попавшийся... а она, говорю, не беглая... Мы с нею давно полюбили друг друга... Мы поженимся... Вот отслужу в Питере действительную, возвернусь — обвенчаемся... Она будет ждать хоть сто лет... А теперь, ради христа, нехай у вас поживет в наймичках, она работящая... все умеет делать.

— Постой, постой!.. Как ты сказал?.. Хоть сто лет тебя будет ждать?.. А ты?.. Тоже?.. О, вот это любовь! Прямо Ромео и Джульетта! — Аполлинария Викторовна невесело усмехнулась, прикрыла шелковой полой цветастого халата оголившиеся розовые колени, машинально взяла гитару, обняла ее и как-то сразу притихла. Она долго сидела, медленно покачиваясь, думая о чем-то своем. Ей, видимо, стало жалко себя, свою загубленную любовь. Затем, не меняя позы, нащупала струны, легонько тронула их и тихо, почти шепотом, словно твердя молитву или заклинание, запела:

Вернись, я все прощу:
Упреки, подозренья,
Мучительную боль
Невыплаканных слез...

Афонька удивленно посмотрел на Аполлинарию Викторовну. В печальных глазах ее копились слезы, а на маленьком, детски округлом лице блуждала чуть уловимая горькая усмешка, резко обозначились под легким слоем пудры паутинки морщин. На точеной, тонкой, как у подростка, шее, почти у самой мочки крохотного уха, слабо пульсировала голубая жилка. Афанасий впервые видел такой жалкой и, казалось, беспомощной эту властную помещицу, снискавшую себе недобрую славу во всей округе.

Вдруг, будто очнувшись от тяжелого сна, Аполлинария Викторовна порывисто вздохнула, отбросила гитару, недоуменно взглянула на Афанасия:

— Ты что хотел?..

Афанасий не успел ответить.

— Ах, да... Ну хорошо, я возьму твою Настю в дом, — неожиданно согласилась Аполлинария Викторовна.— Пусть утром приходит в усадьбу, я распоряжусь...

— Да она тут, в людской сидит, ждет... — обрадовался Афонька.— Может, покликать ее сюда?

— Нет, не надо, сейчас уже поздно, — устало ответила хозяйка. — Передай, пусть занимает в людской себе угол. Там, кажется, есть свободная кровать, на которой спала прежняя скотница. — Чему-то улыбнувшись, зевая и потягиваясь, она как бы про себя тягуче пробормотала: — Джульетта... Вот сюрприз будет Дмитрию...

Во дворе Афоньку встретил дед Глоба:

— Ну что, сынок?

— Насилу согласилась взять Настеньку в скотницы. Жить будет тут, в людской...

— В скотницы к нам?.. Зря ты ее тут определил. Лучше бы куда-нибудь на зимовник устроил, — насупился дед Глоба.

— Это почему же так-то?..

— Да как тебе сказать... От греха подальше... — замялся старик. — Не везет нам на скотниц. Часто хозяин, Митька, меняет их. На днях вот отвез на хутор Веселый Кукуй, к сараям, и бросил там молодую девчушку, сиротку Ленку Наумову. Забрюхатела... — Дед Глоба настороженно оглянулся, зло прошептал: — Сказывают, от самого же Митьки...

— Настя не таковская, — буркнул Афонька и, натыкаясь в темноте на какие-то предметы, ощупью прошел в людскую.

Там, за большой русской печью, разделявшей людскую на две половины, мигала на шестке маленькая коптилка. По саманным, давно не беленным стенам и низкому потолку с кривыми и грубо отесанными балками прыгали уродливые тени. В густом полумраке прихожей, на лавке у стола, одиноко сутулилась женская фигура. Низко склонив голову, положив одну руку на стол, а другую бессильно уронив на колени, она, жалкая и беспомощная, недвижно застыла в каком-то полузабытьи.

Афанасий с трудом узнал Настю́. От стука двери она вздрогнула, вскочила с лавки.

— Ой, ктой-то?

— Я — коза яра, полбока драна, а полбока нет. Тупу-тупу ножками, заколю тебя рожками... — нараспев ответил Афонька словами с детства знакомой сказки. Шутливо бодая головой, он неловко обнял девичьи плечи: — Ты чего это в труса играешь?..

— Ой, Афоня, где же ты так долго пропадал? — не то всхлипнула, не то тихо засмеялась Настя, прижимаясь к груди парня.

Афонька почувствовал, как все тело Насти судорожно напрягается и часто вздрагивает, словно объятое лихорадочным ознобом.

— Э-э... постой, девка, да ты, никак, нюни распустила?..

— Нет, нет, Афоня, это я так... — прошептала Настя и, припав к плечу и пряча мокрое от слез лицо, вдруг громко разрыдалась.

Афанасий растерялся:

— Кто тебя, моя степная пташечка, разобидел, а?..

Настя, сдерживая рыдание, улыбаясь сквозь слезы, тихо сказала:

— Никто меня не разобидел... Я сама себя обидела...

Афанасий молча погладил рассыпавшиеся по спине девушки волосы, потом бережно усадил на лавку, виновато опустился перед ней на колени и робко обнял ее ноги.

— Не кричи, Настенька, не надо... Может, ты домой захотела?..

— Нет-нет! Что ты! — испугалась Настя. — Я больше не буду... Ты, Афоня, не гляди на наши девичьи слезы. Они у нас и от горя, и от радости... Вот я уже и не плачу... — Она торопливо вытерла глаза, мокрыми ладонями сжала щеки Афанасия и, чуть склонившись вперед, приблизив к нему свое заплаканное лицо, улыбнулась: — Видишь?..

Афанасий ничего не успел ответить. Зажмурившись, Настя вдруг обвила его шею горячими руками и крепко поцеловала в губы. В хате на миг стало тихо-тихо. Даже послышалось из-за печи легкое шипение и мелкий треск беспрерывно мигавшей коптилки...

Но вот Настя коротко, как после сладкого сна, порывисто вздохнула, отшатнулась назад и, потупив взор, повернулась к черному окну. Затем легонько, чтобы не обидеть Афанасия, отстранила его руки и характерным девичьим жестом одернула чуть примятый подол юбки.

— Не надо, Афоня, встань и сядь вот сюда, — попросила Настя.

Афонька приподнялся и послушно сел рядом на лавку. Молча переглянувшись, они беспричинно рассмеялись и снова обнялись.

— Афоня, когда я с тобой, мне ничего-ничего не боязно, а вот как осталась одна в хате и раздумалась, меня такая оторопь взяла, хоть волком вой, криком кричи...

— Это почему же?

— Не знаю... Ведь так долго надо быть без тебя... одной, совсем одной...

— Мы же, Настенька, об этом толковали... Возвернусь — обженимся... Ты же сама говорила, что будешь ждать... — с легким укором заметил Афонька.

— Да я не об том. Я и теперь не отказываюсь... Вот ты уедешь на службу герой героем, слава добрая про тебя пойдет, а я кем тут останусь?.. Ни девка, ни баба...

— Зачем ты так говоришь! — возмущенно перебил Афонька. — Ты была честной девкой и такой же останешься... Я же тебя ни к чему не приневоливаю...

— Да ты опять же не об том... Может, я не боюсь ни капельки твоего приневоливания... — Настя смущенно улыбнулась, отведя в сторону ставшие черными в сумерках глаза. — Откуда людям знать об этом?! Вот уже видели, как я убегла из дому и повисла при всем честном народе у тебя на шее, а потом ушла в степя на ночь глядя... Что, по-твоему, теперь они могут думать обо мне?.. Да и батя теперь уже вернулся домой, хватился, а меня и след простыл. Сейчас, наверно, скачет где-нибудь с арапником, разыскивает беглянку...

— Как же тебя оборонить?.. — мучился в раздумье Афанасий.

— Не знаю, — замялась Настя. Минуту помолчала, потом тихо заговорила: — Батю я не боюсь, да и на брехни и всякие сплетни я наплевала. Но лучше бы нам с тобой все-таки перевенчаться в церкви, а потом и уезжай себе... Я уж знала бы, что теперь законная... Никакой черт тогда не будет страшен. А?..

— Настюша, дорогая моя, я же тебе об этом раньше толковал! — обрадовался Афонька, привлекая к себе девушку.— Ежели ты теперь сама согласная, то мы сейчас же мотнемся к попу, и он нас в один момент обкрутит.

— Подожди... — легонько отстранилась она, сдерживая улыбку. — А где же эта церква и какой батюшка возьмется нас обвенчать?..

— А у нас на хуторе нельзя, что ли?.. Там же дядя Никита пономарем при церкви состоит. Мы с ним как-нибудь уломаем попа Исая. Стоит только поставить бутылку казенки — и поп наш батюшка за милую душу хоть черта с ведьмою перевенчает...

— А ведь и правда, — согласилась Настя. — Сбегай, Афоня, пока темно, и поговори с дядей Никитой и батюшкой. Может, нынче же и обвенчаемся...

— Хорошо, я сейчас... А ты, моя куропаточка, ложись спать. Там, за печью, кажись, пустая кровать... Я чего-нибудь приволоку постелить...

— Да нам уже обоим постелили на той самой кровати,— смутилась Настя.

— Обоим? Вместе?..

— Ага!.. — тихо засмеялась Настя, пряча на груди парня загоревшееся лицо. — Это все тетка Степанида выдумала. Подушки, одеяло и все другое притащила, а сама забрала всех баб, девок, мужиков и увела их куда-то, на сеновал, что ли... Нас одних тут оставили... Но ты, Афоня, сейчас беги скорей в церкву. Беги, скорей беги, договаривайся и возвертайся сюда!.. Я лягу, но глаз, наверно, не сомкну... буду ждать!..

ГЛАВА XXVII

С наступлением темноты Никита Иванович Сазонов отправлялся на свой сторожевой пост. Обязанности ночного сторожа хуторской церкви он исполнял старательно. Никакие случайности не заставали его врасплох. Не раз сам отец Исай осторожно подкрадывался к церкви, пытаясь проверить бдительность сторожа, и всякий раз внезапно перед носом попа вырастала в темноте маленькая, но грозная фигура Никиты Ивановича, вооруженного огромной сучковатой палкой. Поп хвалил сторожа и спокойно уходил домой.

Однако в минувшую ночь, когда проводы гвардейцев закончились буйной попойкой, все пошло прахом. Среди пьяной толпы никто не замечал воинственного сторожа. Да и сам он, грешным делом, вскоре забыл о своих служебных обязанностях. Подвыпив, Никита Иванович гостеприимно распахнул ворота церковной ограды, раскрыл двери караулки и разрешил всем, кто пожелает, располагаться на ночлег. Только утром опомнился. Выпроводив из караулки, изгнав с паперти сонных, еще не протрезвившихся сезонников, он наглухо закрыл ворота ограды и уже никого не подпускал к храму.

На вторую ночь Никита Иванович решил искупить свой грех: ни на минуту не смыкать глаз и повторить все молитвы, какие только он знал наизусть.

Погода выдалась тихая, безветренная. Каждый шорох теперь казался подозрительным. По хутору беспокойно брехали собаки.

Никита Иванович время от времени настороженно прислушивался, всматривался в темноту и, пригнувшись, бесшумно обходил ограду церкви. Затем устало присаживался на ступеньки паперти, зажимал в коленях палку и, медленно покачиваясь, чуть слышно мурлыкал молитву. Около полуночи старик вдруг заслышал у калитки ограды подозри-

тельный шумок. Проворно вскочив, он воинственно вскинул палку, прижал один конец к плечу, словно приклад дробовика, угрожающе крикнул:

— Кто тут шляется?!

— Свои! — послышался в темноте голос.

— Никаких у меня свояков нету!.. Ответствуй, кто такой есть, а то я...

— Да стой, подожди, дядя Никита, чего шумишь?.. Это я — Афонька Чумаков...

— Брось ты мне зубы заговаривать!.. Афоньку мы всем хутором проводили в Петербург, на службу в гвардию его императорского величества!.. Не подходи, говорю, а то выстрельну!..

— Вот, скажи, какой неугомонный, — засмеялся в темноте Афонька, — одно да добро: стрельну, выстрельну!.. Порох-то, чай, подмок... Я, дядя Никита, как видишь, вернулся и к вам по дюже важному делу пришел...

Никита Иванович по голосу наконец узнал Афоньку и сконфузился:

— Ну ты, сынок, не обижайся, не угадал я тебя и припугнул для лихости... Проходи, садись вот сюда на приступку, выкладывай, за чем добрым пожаловал.

Афанасий поведал старику, где сейчас Настя, и попросил помочь ему уговорить попа Исая, чтобы тот нынче тайно перевенчал их в церкви.

— Да-а, задал ты, парень, мне загадку... Один раз в это дело я уже впутывался. Помнишь, свататься ходили? Васька, черт паршивый, выгнал нас тогда... А теперь, стало быть, хочешь, чтобы мы ему нос утерли... Ну что ж, попробовать можно... Настя-то согласная?..

— Согласная. Она-то меня и послала сюда.

— Ишь ты, проказница!.. — засмеялся довольный Никита Иванович. — Знает, к кому своего дружка послать... Ну это хорошо... — Старик раздумчиво постучал палкой о сухую, утоптанную землю, восхищенно добавил: — Ох и бравая же она девка. Отчаянная и смелая до невозможности. Я ее помню еще девчонкой. Жил тогда Васька не лучше, чем, скажем, я теперь. Работников, стало быть, не имел. Насте в ту пору лет двенадцать было. Но она работала как проклятая: и по домашности матери помогала, и с отцом в степя ездила. Всякая работа у нее в руках горела. Раз, помню, мы вместе спряглись, озимый клин распахивали. Настя с Улькой погонычами были...

— Дядя Никита, да я сам про нее все хорошо знаю... Теперь не об том речь идет. Давай скорей подумаем,

как попа уломать, чтобы он успел до рассвета повенчать нас.

— Ох и горячий же народ! — засмеялся старик. — Ну ладно, ежели скоро надо, то беги наметом в лавку, разбуди приказчика, купи бутылки две казенки и сюда обратно поживей. Понятно?

— Понятно!

Афонька сорвался с места и скрылся в темноте.

Когда, запыхавшись, он прибежал с ношей, Никита Иванович бережно принял из рук парня булькающие бутылки, предусмотрительно отнес одну из них в караулку, а другую сунул в карман холщовых штанов. Направляясь к дому попа, он кинул Афанасию:

— Ты тут поглядывай заместо меня. Я его в один момент сманю, только бы матушка Федулия не помешала.

После вторых петухов Никита Иванович наконец возвратился. Не успел он еще калитку открыть, как Афонька с радостью догадался: переговоры, видимо, закончились успешно. Старик был навеселе, смеялся и поздравлял парня с женитьбой. Поп сейчас придет. Надо было скорей отправляться за Настей и вести ее сюда, пока темно. Но не успел Афонька добежать до усадьбы Букреевых, на дворе стало светать. Во всю мочь горланили третьи петухи.

У ворот Афанасия встретил дед Глоба. Он хотел что-то сказать, но парень вихрем промчался мимо.

— Некогда! За Настей бегу!..

В людской он тихо прикрыл дверь и на цыпочках пошел за печь. Коптилка уже не горела, и в хате был густой полумрак. Нащупав кровать, он горячо зашептал:

— Настенька, вставай!

Но никто ему не ответил. Афонька слепо пошарил руками в темноте. Постель была пуста!..

— Ты куда схоронилась? Скорей идем в церкву, там поп Исай нас уже ждет...

Снова молчание. Потом хлопнула дверь, и в людскую кто-то вошел.

— Афоня, ты, никак, Настю шукаешь? — заговорил дед Глоба, зажигая спичку и поднося ее к коптилке. — Нету ее тут. Недавно она отправилась корову доить... Митька-сумасброд повел ее к своей корове, из-под какой он пьет парное молоко... Ты только ушел, а он, вражина, прискакал откуда-то пьяный. Зачем-то заглянул в людскую, а там — одна Настя. Он и пристал к ней. Не дал бедной вздремнуть. Все выспрашивал, как она убегла из дому и чего будет теперь делать. А когда узнал, что хозяйка взяла ее

в скотницы, то обрадовался и сейчас же вздумал парное молоко пить. Поднял девку с постели и повел на баз...

Дед Глоба, словно что-то недоговорив, потоптался на месте и медленно вышел во двор.

Афонька, охваченный неясной тревогой, хотел было идти вслед за дедом искать невесту, но в это время резко распахнулась дверь и в людскую ворвалась обезумевшая Настя. Споткнувшись о порог, она рухнула на пол. В полумраке хаты Афанасий с ужасом увидел, как бесстыдно оголилась обезображенная багровыми подтеками девичье-острая грудь. Путаясь в изодранном подоле юбки, Настя ткнулась мокрым, искаженным судорогой лицом в пыльные сапоги Афоньки и заголосила, запричитала отчаянно и горько:

— Он... сам... Митька... в хлеву... чем-то твердым по голове... и... силком... Ах-а-а!..

Потрясенный Афонька, не помня себя, рванулся с места, опрокинул навзничь Настю, выскочил во двор.

— Где он?! Где он, гад?!

У палисадника схватил попавшуюся под руки железную лопату — бросился к дому Букреевых.

Все двери оказались наглухо закрытыми. Не владея собой, Афонька с яростью стал рубить лопатой двери, стены, рамы окон, узорчатую резьбу наличников... Обессилев, он тяжело опустился на приступок парадного крыльца. Его голова все ниже и ниже клонилась к дрожащим в коленях ногам. Плечи судорожно подергивались от безмолвного мужского плача.

В усадьбе поднялся переполох. Со всех сторон сбегались работники. В доме послышались истерический женский плач, вопли и грубая мужская брань.

— Взять его!.. Связать мерзавца!.. — панически кричали в доме.

Но во дворе никто не двинулся с места.

— Гады!.. Когда же все это кончится?! Сколько можно терпеть!.. — раздался в толпе чей-то полный ненависти голос.

— Чего, парень, сидишь? Беги скорей к атаману!

— Зачем — к атаману? Мы сами с ним расквитаемся...

— Ох, проклятый душегуб! — послышался бабий плачущий крик. — А сколько он уже загубил наших девок до смерти! Не одна руки на себя наложила! Убить его мало!..

— Нет, Степанида, злодея сперва надо заарестовать, — отозвался дед Глоба и, обращаясь к Афоньке, посоветовал: — Беги, сынок, скорей к атаману, а мы тут его покараулим и... за Настей твоей присмотрим...

Афанасий наконец очнулся, поднялся на ноги и, глянув помутневшими глазами на толпившихся работников, с пьяной решимостью шагнул к разбитому окну. Размахнувшись, он с чудовищной силой швырнул лопату в широкий пролом рамы. В гостиной с грохотом звякнула, рассыпалась хрустальным звоном вдребезги разлетевшаяся люстра.

Афонька с омерзением плюнул в черный проем окна и, круто повернувшись, слепо зашагал в степь...

Настя долго не могла прийти в себя. Поверженная навзничь, она молча лежала на земляном полу людской, блуждая отупевшим взглядом по засиженному мухами потолку, перебирая холодными пальцами перламутровые пуговицы на разодранной кофтенке. Вначале она с ужасом думала о том, что Афонька не пожалел ее, несчастную, а с брезгливостью, как ей казалось, оттолкнул от себя и куда-то ушел. Вскоре и эта мысль покинула ее. Помертвевшая Настя не замечала, как кто-то любопытный то и дело приоткрывал дверь, заглядывал в людскую и, ахнув, поспешно скрывался... Так она пролежала долго. Но вот перед глазами, как во сне, появилась тетка Степанида. Зажав концом передника рот, заглушая рыдание, она подняла Настю с пола, отвела за печь и бережно уложила на кровать...

Перед вечером прибежала в усадьбу Сазонова Улька. Причитая, как по мертвому, она бросилась к Насте. Упав на кровать, обнимая и тормоша бесчувственное тело подружки, Улька так горько плакала, так целовала мокрыми, солеными от слез губами ее похолодевшее лицо и руки, что Настя невольно очнулась от своего тяжелого забытья. И это возвращение к жизни вызвало у нее мучительный приступ бурных, безутешных рыданий.

Ульяна подняла Настю с кровати и увела к себе домой...

ГЛАВА XXVIII

— Ты, дядя Никита, пойми, что он, гад, сделал... Девку опозорил и мне в душу наплевал... За что? За что, я спрашиваю?.. — Афонька скрипел зубами и с треском бросал на стол тяжелый кулак. В пустой караулке тонко звенели стекла. — Убью!.. Возвернусь сейчас за Настенькой и там хоть под землей, а все равно его найду и душу наизнанку выверну!.. Вот этими руками на месте задушу!..

— Постой, постой, сынок, угомонись малость, не кричи зазря... — упрашивал Никита Иванович, бережно придерживая бутылку казенки. — Давай лучше еще выпьем... —

Трясущейся, нетрезвой рукой налил два граненых стакана. — Выпьем, говорю, тогда и потолкуем.

— Нет, ты, дядя Никита, скажи: за что он нашу молодую жизню в грязь втоптал, а?.. — упрямо наседал на полупьяного старика охмелевший парень.

— Давай, говорю, выпьем!.. — Никита Иванович торопливо отхлебнул из стакана маленький глоток, страдальчески сморщил обросшее седой щетиной лицо и грустно посмотрел на Афанасия: — Эх, сынок, напрасно ты взбунтовался...

— Как так?..

— Запросто. Зря, говорю, бунт затеял: окна, скажем, побил и все другое... Надо не бунтовать, а жаловаться на злодея! А то на поверку получится, что он останется в стороне, а ты опять в бороне. Понял?..

— Я ж только что бегал к хуторскому атаману. Он и слухать не захотел, чтобы Митьку заарестовать. Прикинулся хворым... Кому же теперь жаловаться?..

— Кому?.. Жаловаться надо высшему начальству! Вот кому!.. Иди, тебе говорю, к станичному атаману, он все рассудит. Да, кажись, кто-то брехал, что к нему из Новочеркасска сам окружной атаман пожаловал в гости. Они как будто сродствие какое-то... Вот ты в один момент достигнешь высшего начальства, а?.. Дуй, Афоня, не робей! Они сразу прижмут этого проклятого Митьку!

К полудню Афонька прибыл в станицу. Большой круглый дом атамана прятался в густой тени разлатых акаций и пирамидальных тополей. Ставни в доме были плотно закрыты, видимо, все отдыхали после обеда. Во дворе — ни души, только под высоким тесовым забором, в холодке, купались в пыли куры да по клумбам палисадника, протяжно цивкая, бродили в одиночку длинноногие, плохо оперившиеся цыплята.

Афонька, пьяно пошатываясь, вошел во двор. Робея, остановился у крыльца дома. Несмело постучал согнутым пальцем о точеные перильца. За узорчатой резьбой веранды, заросшей повителью и диким виноградом, кто-то откашлялся, тягуче зевнул. Через минуту на крыльцо вышел высокий костлявый человек с седой челкой волос, спадавшей на желтый морщинистый лоб. Узкую переносицу плотно седлало золотое пенсне. На плечи был небрежно накинут форменный генеральский китель, из-под которого белела помятая нижняя рубашка. По бокам, вдоль широких лампасов, свисали пестрые ленты шелковых подтяжек. Он

теребил в руках клок желтой бумажки, выискивая что-то глазами на заднем дворе.

Афонька догадался — окружной атаман. Вытянув по швам руки, Афанасий застыл по команде «Смирно».

— Ваше превосходительство, дозвольте сказать.

Атаман удивленно поднял левую бровь:

— Тебе что надо?

Афонька, приложив ладонь правой руки к мокрому, в серых полосах, лбу и неумело отдавая честь, попросил:

— Дозвольте сказать всю правду про Настю и Букреева...

По чисто выбритому, заспанному лицу атамана скользнула усмешка.

— Какую правду?.. Да ты, молодец, опусти руку и стой вольно. Говори: что тебе надо?

Афонька жалко улыбнулся и, покорно опустив руку, несвязно забормотал:

— Ваше превосходительство, велите арестовать Митрия Букреева, а то я сам его...

— Что такое?.. Арестовать Дмитрия Букреева?.. За что?.. Ты что-то мелешь несуразное... Да ты, никак, дружок, пьян?..

— Нет, ваше превосходительство... Я не пьяный, а выпимши с горя... Потому Настя — невеста моя, а он ее опозорил...

— Постой, постой!.. Какая Настя?.. Кого кто опозорил?.. Ничего не понимаю!.. Подойди сюда ближе и расскажи все по порядку...

Внимание окружного атамана ободрило Афоньку. Он оживился и, заикаясь, путая слова, горячо начал рассказывать.

В припухлых глазах атамана вспыхивало что-то смешливое, озорновато молодое. Хлопнув ладонью по тощей ляжке, он наконец с нескрываемой веселостью воскликнул:

— Ах, прелюбодей старый! Ну и ну!.. — И, проворно повернувшись к двери, негромко, точно боясь кого-то разбудить, позвал: — Тарас, выйди-ка живей сюда!

В дверях показалась толстая полураздетая фигура станичного атамана.

— Ты послушай-ка вот этого молодца... Какие, брат, коленца выбрасывает ваш Дмитрий Букреев!.. — И окружной атаман кратко передал рассказ Афоньки.

— Не может быть! — пряча улыбку, удивился станичный атаман. — Вот учудил старик!.. Знать, есть еще порох в пороховнице... Хо-хо!..

Окружной только отмахнулся рукой и, вцепившись длинными сухими пальцами в перила веранды, запрокинув голову, затрясся в беззвучном смехе. На горле у него, натягивая желтую морщинистую кожу, судорожно запрыгал большой и острый кадык.

— И когда это он только успел? — продолжал удивляться станичный атаман, вытирая платком мокрые от смеха глаза. — Ведь нынче ночью он от нас уехал изрядно пьяным... Ты, парень, что-то путаешь...

На стоявшего у крыльца парня было больно смотреть. Сбитый с толку неуместной веселостью атаманов, он потерянно озирался и, бледнея, сам нелепо улыбался. По щекам текли слезы.

Окружному атаману стало не по себе, когда он взглянул на молча страдавшего парня.

— А чья девка-то?.. Сезонница какая-нибудь? — поинтересовался станичный атаман, избегая смотреть на Афоньку. — Что-о?! Василия Антоновича Фирсова дочка?! Не может быть!.. А ты кто?.. Неужто Чумаков?.. Так и есть — он!

На багровых, распухших от жира щеках атамана появились белые пятна. Обращаясь к окружному, он с тревогой, почти шепотом, заговорил:

— Иван Андреевич, тут дело дюже сурьезное. Этот парень — наш гвардеец-новобранец... Она — дочь богатого хуторянина... Разрешите вас на минутку сюда, я кое-что доложу...

И они поспешно отошли за густую заросль дикого винограда, в глубь веранды.

Минут через пять на крыльце снова появились озабоченные и как будто несколько встревоженные атаманы. Окружной быстро, по-молодому, сбежал по лестнице, подошел к Афоньке. Положив руку на плечо, участливо заговорил:

— Вот что, гвардеец, судя по твоему рассказу, произошла, конечно, весьма неприятная история. Мы этим займемся всерьез. Виновник будет по заслугам наказан... Я думаю, нет необходимости предавать все это широкой огласке. Надо поберечь репутацию девушки... Ты, как мне доложили, призван в гвардию и с командой отправляешься в полк. Задерживаться тебе здесь, безусловно, нельзя. Если отстанешь, то придется отправить тебя этапным порядком... Понял? Вот так-то... А сейчас ступай на сборный пункт и готовься в дорогу... Ступай, ступай, дружок!..

Афанасий, пошатываясь, вышел на улицу.

Легко сказать — ступай!.. А куда идти? Куда направить свой путь, когда перепутаны все стежки-дорожки, когда

глаза заволакивает муть непрошеных слез, когда в голове сумятица мыслей, а в сердце мучительная боль?

Опустив голову, Афанасий побрел по улице. Сапоги гребли пыль, точно к ногам были привешены пудовые гири. Вышел на окраину станицы, у развилки дорог остановился. Куда идти?.. Нет, на сборный пункт он сейчас не пойдет. Если на Митьку не нашел управы у атаманов, то он сам, по-своему рассчитается с ним, а потом пусть отправляют этапом... Да и Настеньку надо выручить из беды. Где она теперь? Кто и как позаботился о ней? Эта мысль обожгла Афоньку. Зачем, спрашивается, приходил он сюда? Чего добился?..

Не разбирая дороги, Афонька почти побежал в степь. Одна мысль руководила им: скорее попасть к Букреевым...

За перевалом бугра, где кончался станичный выгон, его нагнали три вооруженных всадника.

— Вот он!.. Брешешь, не уйдешь!.. — закричал один из них, резко осадив разгоряченную лошадь. — Сто-ой!..

Афонька недоуменно оглянулся и, не поняв, чего от него требуют верхоконные казаки, снова устремился вперед.

— Стой, тебе говорят!.. Ты — арестованный!.. Возвертайся обратно в станицу, а то плетюганов схватишь! Слышишь?!

Сидельцы с шашками наголо погнали парня назад, к дому атамана. Афанасий догадался, что арестован за разбой, учиненный в доме Букреевых, и теперь готов был держать ответ. Но почему глумление над Настей вызвало у атаманов только бесстыдное любопытство и дурацкий смех? Дмитрий Букреев наверняка наказан не будет!..

«Нет, шукать правду у атаманов — гибельное дело», — угрюмо думал Афанасий, искоса поглядывая на ехавших по бокам сидельцев.

У калитки двора этот эскорт был встречен станичным атаманом.

«Ага, поймали-таки голубчика, — обрадовался атаман.— Теперь братцы Букреевы возликуют...» И вдруг, обращаясь к конвоирам, возмущенно закричал:

— А вы, черти дурные, зачем сюда приперлись?! Русским словом было сказано: найти гвардейца и прислать ко мне, а вы под конвоем пригнали... Что он — преступник, что ли, какой?.. — и, неожиданно подобрев, атаман приятельски обнял Афоньку за плечи, легонько подтолкнул к калитке: — Проходи, гвардеец, проходи, милости прошу... Вот, сукины дети, что вытворяют, самоуправствуют... — лукавил атаман, чуть заметно подмаргивая сидельцам. — Лад-

но, потом разберемся, я вам всыплю чертей по самую завязку! Зараз же ступайте в правление!.. А ты, гвардеец, проходи в курень, гостем будешь. Да ты не упирайся, смелей иди. Нам надо кое о чем с тобой потолковать. Окружной уже уехал, и мы потолкуем с тобой с глазу на глаз.

Атаман провел недоумевавшего парня в пустую столовую. Здесь был накрыт стол. Но за ним, как видно, уже отпировали: среди остатков холодных и горячих закусок стояли недопитые рюмки и стаканы. Тут же в беспорядке громоздились полупустые винные и водочные бутылки.

Хозяин усадил гостя, самолично долил кем-то недопитый стакан, подтолкнул тарелку с остатками жареной баранины, щедро предложил:

— Ну, гвардеец, пей и закусывай сколько душа твоя пожелает.

— Спаси Христос, господин атаман, за угощение, — поблагодарил Афонька, но ни к чему не притронулся.

Его крайне удивляло необычное гостеприимство атамана: он усмотрел в этом явный подвох, какую-то нечестную игру.

— Пей, не стесняйся!.. — настаивал атаман.

— Нет, пить я не буду, — решительно заявил Афанасий. Брезгливо отодвинув стакан и тарелку, он встал из-за стóла. — Я, господин атаман, не букреевский Серко и объедки со стола на лету не хватаю... Об чем вы хотели со мною толковать?

— О, вон ты какой? — удивился атаман и, подавив раздражение, с поддельной веселостью расхохотался: — Ну ты, брат, не на шутку возгордился, как стал гвардейцем... Я хотел по-простому, по-домашнему с тобой, а ты... Коль нами брезгаешь, я велю подать чистую посуду и новую бутылку из погреба принести.

— Ничего мне не надо приносить... Зря насмешку надо мной устраиваете.

— Насмешку?.. Упаси бог!..

— Я не слепой... Вы, господин атаман, лучше скажите: за что меня арестовали?

— Кто арестовал? Ты же сам видал, как я сидельцев отсюда турнул, и ты сейчас свободный, как ветер в степях... А позвал я тебя вот по какому делу... — Атаман, украдкой оглянувшись на дверь соседней комнаты, почти силой снова усадил Афоньку за стол, сам к нему подсел и доверительно, по-приятельски положил на плечо тяжелую руку: — Ты жаловался, что с твоею невестою... как ее... Настей, что ли, пбаловался Митрий Букреев. Откровенно говоря, трудно

поверить, чтобы этот старый чудак чем-либо мог ей навредить. Он, видно, просто напугал девку. А ежели немного и помучил, то, к слову сказать, баба не булка — всю не съешь, чай, и другому достанется... Ну-ну, ты сиди, не вскакивай, послушай дальше... Так вот, я хочу тебе сделать одно доброе дело. Ежели ты в самом деле ее любишь и хочешь на ней жениться, то я тебе подмогну — нынче же окрутим вас в станичной церкви по всем законным правилам.

Афонька онемел. Все что угодно мог ожидать он от атамана, но такое и в голову не приходило.

— За что, господин атаман, такая милость ко мне? Никак не пойму...

— И понимать нечего. Просто ты — парень бравый, смелый, умеешь за себя постоять, а это мне по душе, таким и должен быть гвардеец!.. Я тебя заприметил еще в прошлом году на допросе по делу с приставом. Хо-хо!.. Ну и молодец!..

Афанасий вспомнил, как атаман действительно тогда вот так же добродушно посмеялся и, не учинив никакого наказания, отпустил его домой.

— Да и в гвардию, признаться, посылают тебя по моему совету, —добавил атаман, снова берясь за бутылку. — Так что ты, молодец, не сомневайся: все это я делаю от чистого сердца!.. На свадьбе я сам буду у тебя за посаженого отца! Я думаю, ты возражать не станешь? Давай выпьем за жениха и невесту, за ваше молодое счастье!

В голове Афанасия все спуталось. Хотелось верить в доброе сердце атамана, но чувство горечи и обиды не покидало его.

Афанасий приподнялся, слепо пошарил по столу рукой, сжал твердыми пальцами до краев наполненный стакан и глухо произнес:

— Спаси Христос, господин атаман, за все сразу... Так уж и быть... выпьем за нашу разнесчастную свадьбу!..

Зажмурив глаза, он залпом осушил стакан, минуту постоял с закрытыми глазами и вдруг, рухнув всей грудью на стол, по-мальчишески горько и безутешно расплакался...

ГЛАВА XXIX

Прокопий Букреев все слышал. И когда закончился разговор в соседней комнате, он облегченно вздохнул, мысленно поблагодарил своего верного дружка — станичного атамана, перекрестился и стал торопливо собираться в дорогу. Предстояло самое трудное: склонить Василия Фирсова на

свадьбу. Это смягчит обстановку, и он потом скорее пойдет на переговоры с Букреевыми, не станет возбуждать судебного дела против Дмитрия. Но Прокопий знал о враждебном отношении Фирсова к Афоньке. Не так-то легко уломать строптивого старика выдать замуж дочь за своего бывшего работника. Однако Прокопий был убежден, что теперь это сделать можно. Ведь обесчещенную девку едва ли кто другой возьмет замуж. К тому же Букреев знал одну очень существенную слабость Василия Антоновича — жадность, необоримую страсть к добру, к легкой наживе. На этой слабости Прокопий и надеялся сыграть. И хотя такая игра может влететь в копеечку, ничего не поделаешь — надо как-то выручать из беды дурака-братца.

Первым долгом Прокопий решил Афоньку сделать хозяином, да таким, чтобы у Василия Фирсова глаза от удивления на лоб полезли: дать тягло — волов, лошадь, выбракованную корову, овец... Все это преподнести как свадебный подарок. Пока Афонька будет служить на действительной, Василий Антонович, безусловно, завладеет всем этим добром. Нет, пожалуй, не устоит Фирсов, не откажется от такого жениха и дарового добра, а стало быть, и с Дмитрием дело уладится.

Но расчеты — расчетами, а надо скорее действовать, пока Василий Фирсов не наделал непоправимых глупостей.

Опасения Прокопия имели некоторое основание. Узнав о своем несчастье, обезумевший от горя, стыда и позора Василий Антонович ни о чем больше не думал, кроме одного — немедленно расправиться с Букреевым. Намереваясь поднять весь хутор и двинуться на злодеев, разнести в пух и прах экономию, а Митьку задушить своими руками, он разослал соседей во все концы:

— Кличьте сюда народ!.. Мы их, проклятых, гуртом проучим!..

Во двор стали сбегаться хуторяне, на ходу вооружаясь вилами, кольями, оглоблями, косами — всем тем, что могло служить оружием в рукопашной схватке.

Чем бы дело закончилось — трудно сказать. Но как раз в этот момент широко распахнулись тесовые ворота, и на баз Василия Антоновича беспорядочным табуном ввалились быки, корова с телком, лошадь, пять овец и супоросая свинья. Двор наполнился ревом, мычанием, блеянием и визгом...

Василий Антонович первое время ошалело глядел, ничего не понимая. Когда же заметил букреевских работников, загонявших скот во двор, — догадался.

— Не-ет, гады, не откупитесь! — закричал кто-то в толпе. — Гоните обратно!.. Мы сами к вам сейчас заявимся!..

— Ишь проклятые душегубы, расщедрились! Человека на скотину хотят поменять!..

— Веди нас, Антоныч! Мы им за все сразу отквитаем!..

Василий Антонович растерянно оглядывался, словно кого выискивая, потом как-то обмяк, втянул голову в плечи и стыдливо потупил глаза. Он увидел, что к дому подкатила запыленная тачанка. Кучер осадил лошадей, молодой казак прытко соскочил с козел и услужливо бросился к заднему сиденью. Из тачанки, тяжело сопя, медленно вывалилась на руки казаку тучная фигура станичного атамана. Утвердившись на ногах, протирая платком глаза, отфыркиваясь, атаман приосанился, поправил на боку саблю и удивленно огляделся вокруг.

— Что это тут творится? — мрачно проворчал атаман, опасливо поглядывая на вооруженных хуторян. — Зачем столько народу тут?.. Где хозяин? Позвать ко мне!..

Нежданного гостя Василий Фирсов провел к себе в дом. Там они с глазу на глаз о чем-то долго толковали. Вначале оттуда доносился гневный голос Василия Антоновича, несколько раз слышен был стук и грохот: расходившийся хозяин, видимо, бил кулаком по столу. Потом это повторялось все реже и реже, наконец наступила полная тишина.

Часа через полтора на крыльцо дома вышел потный и красный атаман, а за ним — хозяин с низко опущенной головой. Атаман, ни слова никому не говоря, поспешно сел в тачанку и уехал. Василий Антонович подошел к притихшей толпе.

— Спаси Христос, братцы, что не оставили меня одного в беде, — глухо заговорил он, не глядя на хуторян. — Но теперь уже ничего не надо. Господин атаман и все другое начальство сами расправятся с Митькой по всем законным строгостям... Ну а насчет Насти... Нынче ее в станичной церкви перевенчаем с Афонькой. В зятья я его беру... А вот эту скотину Прокопий Букреев пожаловал ему на каравай за дюже хорошую работу в экономии...

Все поняли, что не устоял старик перед букреевским соблазном. Свадьбой хочет прикрыть позор дочери...

В тот же день, поздно вечером, в станичной церкви, при тусклом свете восковых свечей поп окрутил Афоньку с Настей. После венчания, по договоренности с Василием Антоновичем, молодых повезли прямо в дом атамана — посаженого отца безродного жениха. Там уже были на скорую руку накрыты столы. Все чинно расселись по местам. На

одно мгновение наступило тягостное молчание. И тут отчаянно и горько разрыдалась Настя. Все вдруг зашумели, закричали, начали утешать ее. По команде разбитного свадебного дружка запели веселую обрядовую песню. Кто-то, поперхнувшись, громко прокричал: «Горько!» Подхватили другие и начали разноголосо реветь: «Го-орько!»

Афанасий побледнел. Он знал, что по свадебному обряду надо было жениху впервые открыто, не таясь, при всем честном народе целовать свою еще невинную подругу, на глазах всех испытать сладость первой целомудренной близости.

— Го-орько!.. — надрывались пьяные голоса.

Афанасий с ненавистью глядел исподлобья на черные провалы орущих ртов, молча гонял на скулах тугие желваки. Нет, не станет он на потеху пьяной толпы обнимать и целовать несчастную, опозоренную Настю.

— Го-орько!.. — неслось со всех сторон.

Афанасий с тоской думал, зачем он согласился на это посмешище. Хотел сделать как лучше, облегчить Настину участь, а вышло...

— Го-орько!.. — заорал кто-то дурашливо под самое ухо Афоньки. — Да ты оглох, что ли?! Го-орько!..

Настя испуганно взглянула на окаменевшего Афанасия и снова разрыдалась. Она по-своему поняла его поведение: ему противно прикасаться к ней! Так зачем же он согласился на эту проклятую свадьбу?..

— Го-орько!..

Афанасий теперь уже действительно не слышал этого осточертевшего «горько». Он понял, что своим упрямством обидел Настю. Под столом Афонька нашел безжизненно упавшую на колени Настину руку с мокрым от слез платком в кулаке, легонько пожал и тихо попросил:

— Настенька, крепись... Не надо им показывать наши слезы. Черт с ними, нехай смотрят на нашу любовь.

Он решительно встал, бережно обнял вздрагивающую от приглушенного рыдания Настю и, нагнувшись, крепко поцеловал холодные и чуть соленые от слез губы.

Василий Антонович сидел рядом с посаженым Афонькиным отцом — станичным атаманом. Алены Петровны за столом не было, она осталась дома, больная и убитая горем.

Старик пил много, но не хмелел. Ни шумные поздравления, ни бойкие свадебные песни, ни веселые крики подвыпивших гостей — ничто не могло вывести его из тяжелого состояния. И когда хмель все же ударил в голову, он приподнялся с места и вдруг, размахнувшись, грохнул кула-

ком по столу. Звякнула, загремела посуда, что-то со звоном свалилось на пол.

— Сто-ой!.. Будя с меня этой чертовщины!..

В наступившей тишине Василий Антонович угрюмо и зло огляделся.

— Вы чего тут развеселились?! Чему радуетесь?.. Горю моему?! Кому тут горько?.. А?.. Вам, лиходеям?! Брешете: мне горько!.. Да вот им!.. — Василий Антонович резко махнул рукой в сторону молодых. — Вот кому горько!.. Это не свадьба!.. Такой свадьбы у добрых людей не бывает!.. — Повернувшись к молодоженам, он громко всхлипнул. По бородатому лицу потекли слезы. — Дети мои, простите, христа ради, меня, старого дурака, что я на срам тут вас выставил... Не-ет, свадьбу мы сыграем опосля, когда ты, Афоня, из действительной возвернешься!.. У меня, в моем доме, будем кричать: «Горько!» А тут нам нечего делать!

Расталкивая опешивших гостей, он взял за руку Настю, подтолкнул вперед Афоньку, коротко приказал:

— Пойдемте отсюдова!

Во дворе усадил их в тачанку и отвез на станцию. Ожидая поезд у вокзальной будки, он разрешил Насте вдоволь поголосить на груди своего молодого мужа, попрощаться с ним и потом помахать мокрым платочком зеленому вагону, увозившему будущего гвардейца в далекий Санкт-Петербург на действительную военную службу...

После ухода молодоженов и Василия Антоновича гулянье в доме станичного атамана расстроилось. Однако подвыпившие гости не хотели расходиться. Да и сам атаман был охотник до пиршеств. К тому же все расходы по свадьбе уже покрыты Букреевым. И гулянка, наверное, продолжалась бы до поздней ночи, но нежданно-негаданно нагрянула в дом атамана тревожная весть и переполошила всех.

В распахнутые ворота двора ворвался на взмыленной лошади вестовой. На полном скаку он осадил коня, бросил на луку повод, вылетел из седла и опрометью кинулся к дому. На пороге споткнулся и ошалело остановился перед приподнявшимся из-за стола атаманом и онемевшими гостями. Запаленно дыша, точно не лошадь, а он сам мчался во весь опор, вестовой прохрипел:

— Господин, атаман! Беда... Бунт!.. В Веселом Кукуе бунт!.. Букреев горит!.. Все сараи и контора полымем взялись!.. Зараз букреевские работники разбоем сюда прут!..

Этот шепот сильнее грома в ясный день поразил всех. Кто-то испуганно ахнул. Завизжали бабы, покрывая разноголосую брань. Многие кинулись к двери. Загремели стулья,

зазвенела падающая посуда, под ногами — хруст битого стекла...

У двери мгновенно образовалась пробка.

Среди этой пьяной, переполошившейся компании только, кажется, один атаман не потерял присутствия духа. Наливаясь кровью, он властно заорал:

— Смирно! Казаки, чертовы дети, чего за бабьи хвосты ухватились?! Ко мне! А вы, сороки мокрохвостые, живо отсюда выметайтесь!.. Вестовой, скачи наметом в правление, подними сидельцев и всю местную команду в ружье! Я зараз там буду! Всем казакам по местам!

Порядок в доме был наведен твердой рукой атамана.

Минут через десять на колокольне ударил набат. В непостижимо короткий срок вся станичная площадь была запружена верхоконными. Кроме казаков второй и третьей очереди сюда прискакали и воинственные старики, способные держаться на лошадях, и полные отваги вездесущие подростки. Атаман похвалил всех за расторопность и приказал остаться на площади только военнообязанным, остальным разъехаться по домам.

Казаков, приписанных к местной команде, вахмистры и урядники торопливо разбили повзводно и выстроили в походную колонну. Вскоре отряд вооруженных всадников, поднимая пыль, рысью двинулся в степь, навстречу взбунтовавшимся сезонникам...

Командиром карателей был назначен вахмистр Архип Богучаров. В прошлом году он участвовал в подавлении ростовской стачки и в числе отличившихся казаков заслужил благодарность самого войскового атамана. Архип не обладал особой храбростью, но был на редкость жесток и хорошо знал теперь, как расправляться с бунтовщиками.

За станицей вахмистр приостановил отряд, настороженно повел по сторонам круглой, как арбуз, головой, чутко к чему-то прислушиваясь. Ночная степь оглушила звенящей тишиной. Не слышно было ни крика ночных птиц, ни привычного свиста сусликов.

Боясь неприятных случайностей, вахмистр принял необходимые меры предосторожности. Выслав головной и боковые дозоры, он приказал во время движения не курить и не вести громких разговоров.

На десятой версте от станицы правый боковой дозор сообщил, что за бугром, в Змеиной лощине, на чьем-то пустующем полевом стане, ярко горят соломенные костры, доносится журавлиный крик колодезного ворота и слышен разноголосый людской гомон. Видимо, букреевские сезон-

ники, приустав, сделали там привал. Дополнительная разведка подтвердила предположения.

— Господа станичники, — тихо, с надсадной хрипотцой обратился к казакам вахмистр, — мы зараз должны проучить этих сволочей-лапотников, какие на нас разбоем пошли. Поначалу зачнем их плетьми пороть и по степям разгонять, а ежели кто из них поднимет руку и воспротивится, того бей до потери всякой сознательности, покуда портки мокрые не станут. А самых зловредных — руби шашкой до смерти!. Ясно?.. Ну а теперь — с богом!.. За мной — наметом ма-арш!..

Наутро отряд карателей без потерь возвратился в станицу. В тот же день станичный атаман обратился к окружному с ходатайством о представлении к очередному званию «подхорунжий» урожденного казака станицы Егорлыкской вахмистра местной команды Архипа Денисовича Богучарова.

ГЛАВА XXX

С вокзала Василий Антонович повез Настю домой уже утром. Проезжая через станицу, кивал головой, молча здороваясь со встречными знакомыми станичниками. Все, видимо, уже знали о его несчастье и позорной свадьбе, и каждый на ходу старался каким-либо знаком или горькой, печальной улыбкой выразить свое сочувствие. Но это сочувствие острее ножа вонзалось в израненное сердце старика. А злая насмешка повстречавшегося недруга совсем вывела его из себя.

— Закутай шалью свою морду!.. — глухо кинул он через плечо Насте, сгорбившейся на заднем сиденье тачанки. — Нечего теперь красоваться перед людьми... — И, взмахнув кнутом, галопом помчался по станице.

В степи, в неглубокой балке, он остановил лошадей, медленно повернулся назад и вдруг неожиданным ударом наотмашь по голове свалил Настю на обочину дороги. Уже лежачую, потерявшую на короткое время сознание, он стал не спеша жестоко бить, зло приговаривая:

— Это тебе за самовольство!.. Это за беспутное поведение!.. Это за Афоньку!.. Это за Букреева!.. Это за стыд и позор, что ты на наши с матерью разнесчастные головы свалила!..

Опухшую от кровоподтеков, испятнанную багровыми синяками дочь старик теперь уже решил домой не везти, а повернуть на затерявшийся где-то в степи хутор Кугоею и

там оставить ее у овдовевшей двоюродной сестры, когда-то бывшей замужем за местным казаком.

Низко кланяясь пожилой неразговорчивой женщине, он с глубокой печалью попросил:

— Сестрица, нехай, ради христа, поживет у тебя моя дочка. Видишь, какая-то подлючная хворость к ней прикинулась, кровь из нутра на кожу выступила, и теперь ходить даже не может, а дома за нею некому смотреть: Алена сама лежит в постели. Как только очухается Настя, встанет на ноги, я ее заберу домой. Тебя не обижу, отблагодарю...

С того времени для Насти наступили мучительные дни одиночества. Давно уже рассосались кровоподтеки, сошли с тела синяки и не стали ныть побитые места, а отец все не приезжал. Может быть, потому, что до сих пор не кончилась осенняя распутица. Дожди затянулись, и на дорогах непролазная грязь.

Первый снег выпал только в начале декабря, и по первопутку поспешил прибыть на хутор Василий Антонович. В санях привез два мешка муки, связанного годовалого валушка, полпуда сала, корзину яиц и много другой снеди, приготовленной руками Алены Петровны. Щедро отблагодарив сестру, он в тот же день увез Настю домой. Спешил он недаром. Наутро потянул южный ветерок, резко потеплело, быстро стаял снег, и снова все развезло. Ростепель держалась до нового года. Потом хватил мороз, сковал голую оттаявшую землю.

Приглушенным стоном пошел по хутору тревожный гомон:

— Ну, пропали озимые, вымерзнут...

— Да, жди неурожая...

— Опять придется хватить голодухи...

— Разгневался на нас бог, напустил беду...

— Эх, куманек, да и бог-то хорош, нечего сказать... Откуда у него столько злости берется? Не пойму... То суховеями мучает народ, то вот землю растелешил и морозами лютыми обжигает. Никакой у него к человеку жалости нету...

— Надо усерднее богу молиться, почаще в церкву заглядывать, тогда и снежок выпадет...

И народ молился...

Каждый день поп Исай служил молебен, просил у бога милости. Но снег выпал только после нового года. И не успела еще заглохнуть тревога, как новая беда нагрянула на хутор. Кто-то побывал в станице и привез оттуда страш-

ную весть. Быстрее черной бури облетела она хутор. Завыли, запричитали во дворах бабы, точно в дом наведалась внезапная смерть.

В семью Фирсовых принесла эту новость соседка, просвирня Лукерья Телухина, на редкость вздорная баба. Воровато оглядываясь, прикрывая ладонью большой рот, она просеменила через двор, украдкой постучала в окно горницы.

— Чего скребешься, как нашкодившая кошка? Заходи в хату! — крикнул из горницы Василий Антонович, недолюбливавший просвирню.

— Выдь, соседушка, на минутку, — поманила пальцем Лукерья.

— Вот еще выдумала! Заходи, ежели надобно, — отвернулся от окна старик. — Секреты вздумала заводить...

Соседка проворно прошмыгнула в дверь, торопливо поздоровалась и, захлебываясь, заспешила:

— Вы слыхали, соседушки милые, какая беда на наши разнесчастные головушки свалилась?! Не слыхали?.. А я еще вчера об этом пронюхала, да думала, что брехня, а нынче опять...

— О, понесла!.. — не выдержал Василий Антонович и чертыхнулся: — На кой черт мне надобно знать, когда тебе сорока на хвосте брехню притащила! Ты чего хотела сболтнуть? Говори: какая беда?..

Лукерья загадочно помолчала и, выждав момент, зловеще выдохнула:

— Война объявилась!..

— Война?! — ахнула Алена Петровна и, прикрыв лицо фартуком, заголосила.

— Обожди, старая, не вой! — прикрикнул на жену Василий Антонович. — Тут еще надо разобраться... Какая война? Кто супротивник?..

— Кто?.. Азиаты на нас пошли. Какие-то япошки...

— А-а, вон кто... азиаты...

— Да-да, азиаты!.. Как саранча, туча тучей, говорят, налетели они из-за морей-океанов на нашу землю и начали весь православный народ изничтожать... А наш царь-батюшка, как заслышал обо всем этом, взял в свои белые ручки острый меч, кликнул свою гвардию, сел на доброго коня и поскакал на анчихристов...

— Брехня!.. — махнул рукой Василий Антонович. — Сам царь ни за что на свете с мечом али, скажем, пикой на супротивника не кинется. Мало у него всяких разных генералов, что ли?..

— Ну ежели люди брешут, то и я брешу. Мы за что купили, за то и продаем. А сама я, покарай меня господи, не брешу! Вот крест святой!.. — Соседка исступленно перекрестилась и, торопливо смахнув с мокрых губ концом головного платка мелкие пузырьки слюны, таинственно зашептала: — Сказывают, там льется кровища рекой, всю какую-то Манжуру затопила...

— Это нас не касается...

— Как так не касается? — удивилась Лукерья.

— А вот так... Это творится где-то на краю света... А потом года мои, девка, уже вышли. Вишь, старый стал, а Настю в солдаты не возьмут. Поняла? Нехай другие чухаются, у кого свербит...

— Да разве у тебя не свербит?.. А зятек-то ваш, Афонька, не на службе ли?..

— Он еще ко мне пупком не прирос... Нехай об нем слезу льет его баба. — Василий Антонович кивнул головой на побледневшую Настю и угрюмо усмехнулся.

— А-а, разве так-то... — поджала губы соседка и заторопилась домой.

Вслед за ней выскочила Настя. В сенях зашептала:

— Тетка Лукерья, а это правда, что вся гвардия на войну ушла?

— А ты как же думала? Кто же тогда будет воевать, ежели не гвардия да казаки...

— Афоня мне весточку из Питера прислал, сулил летом на побывку прийти...

— Э-э, девка, то он писал до войны, а теперь, может, и голова уже в кустах...

Настя ахнула, отшатнулась от соседки и, закрыв лицо руками, незряче шагнула к двери горницы.

— Да ты, милушка, дюже не убивайся, — участливо посоветовала Лукерья. — Батюшка Исай говорит, что, кто падет на бранном поле за веру, царя и отечество, тому бог беспременно все грехи откинет и даже в рай...

Ускорив шаги, Настя больно стукнулась о притолоку двери и, не то от боли, не то от душевной тревоги, навзрыд заплакала и тут же почувствовала внезапный удар под сердцем, отчего перехватило дыхание и к горлу стал подступать противный ком тошноты. Не понимая, что с ней творится, она испуганно прижала руки к животу...

События, бурно всколыхнувшие вначале весь хутор, со временем теряли свою остроту. К войне люди постепенно

привыкли и стали говорить о ней, как о всяком обыденном, будничном. Смирились даже и те, кто проводил в армию сына, мужа, брата или отца, так как еще ни одной печальной весточки в хуторе получено не было. Пошел слух, что казачьи части пока на фронт не отправляют, а почему-то задерживают в крупных городах России, Польши, Украины и Закавказья.

Только одна Настя, подавленная страхом за жизнь Афоньки, с каждым днем ощущала, как оседают, наслаиваются в душе тоска и тревога. Иногда, чтобы успокоить себя, она брала в чулане пустые ведра и уходила к хуторскому колодцу. Там, набрав воды, Настя долго простаивала у обледенелого сруба, терпеливо вслушивалась в бесконечную болтовню баб, пытаясь выловить все то, что относится к далекой, но теперь странным образом ставшей мучительно близкой сердцу войне...

О войне говорили разное.

— Эх, бабоньки, на кой черт, прости господи, нам нужна эта распроклятая война-разлучница! — сокрушалась молодая бабенка из казачьего хутора, недавно проводившая в армию мужа. — Это хорошо, ежели и в самом деле наших казаков не пошлют на край света к азиатам, а не дай бог— отправят... Тогда как?.. У меня вот один на руках да зараз еще в тягостях. Что я буду с ними делать?.. — Казачка закрыла рукавом глаза, бездорожно пошла от колодца, расплескивая воду.

— Да-да, несподручная нам эта война, — вздохнул кто-то в толпе баб, ожидавших у колодца свою очередь. — Говорят, царь захотел землю у азиатов отнять... А зачем она, спрашивается, нам нужна? Мало своей, что ли?.. Вон сколько ее лежит без дела в степях.

— Наверное, всякие разные коннозаводчики да богатеи подбили на это царя-батюшку. До чего же народ жадный, эти лиходеи...

— Нет, бабы, зря вы тут судачите,— грубым мужским голосом оборвала гомон старуха Казачиха.— Азиаты сами на нас пошли. Сказывают же старые люди, что в божьем писании об том прописано: объявится супостат и пойдет на народ православный... Вот теперь такое и творится... Не устоять нам супротив азиатов...

— Что ты, бабушка, беду накликаешь?!

— Брехня все это,— вмешалась в разговор молодая бойкая вдовушка, часто бегавшая на поденку в экономию Букреевых.— Прокопий Букреев на днях сказывал, что народ у азиатов мелкий, никудышный и живут они посередь морей-

океанов на мелких клочках земли... Ежели, говорит, каждый наш солдат снимет свою папаху и бросит на ту самую Японию, то последнему солдатику некуда будет кидать — места на ихних землях не хватит... Нет, не устоять им супротив нас.

Сбитая с толку разноречивыми суждениями о войне, Настя молча уходила домой. Там, упав лицом в подушку, подавляя рвавшийся из горла крик, давала волю слезам.

А назавтра, снедаемая тоской и тревогой по Афоньке, она снова безуспешно искала утешения в тех же разговорах у колодца о войне.

ГЛАВА XXXI

От Афанасия не стало приходить писем. И до этого он не баловал ими. Три весточки всего получила Настя от него, а теперь — как в воду канул. Слышала она, что Афанасий присылал письма своему дружку Осипу Топилину. Возможно, и сейчас Осип знает что-либо о нем.

В воскресенье, после обеда, Настя оделась и незаметно ушла из дому. Во дворе Топилиных встретила ее сгорбленная, пригнутая какой-то страшной болезнью почти к самой земле старуха, мать Осипа. Настю она не узнала:

— Опять пришла?.. Я тебе сказала, не отдам Анфиску. Одного дитя загубили, а теперь и за другим повадились ходить, ироды проклятые!.. Убирайся отсюдова!..

Настя догадалась, что старуха приняла ее за кого-то другого.

— Тетя Феня, да это я — Настя Фирсова... Ой, Чумакова!..— поправилась Настя, густо покраснев.— Осипа вашего хотела повидать. Может, он знает что-нибудь об Афоне...

Старуха, опираясь на посох, приподняла сильно поседевшую голову, вытерла концом платка беспрерывно слезившиеся глаза, взглянула снизу вверх на Настю, паралично задергала головой:

— Ох, Настенька, родная моя, ты прости, христа ради, старую дуру. Я сподслепу и не угадала тебя... За бабу Яшки Сыча приняла. Они, проклятые, почти каждый день ходят, мою последнюю девчушку в няни требуют за долг. А я их палкою гоню со двора... Осюшки же нашего нету дома...— Старуха заголосила: — На войну его, сердешного, забрали. Жду теперь не дождуся от него весточки... Проходи, родная, в хату, погостюй у нас немного.

В хатенке она усадила Настю на лавку в передний угол, торопливо накрыла стол серой холщовой скатертью, обкатанной рубелем, и, двигаясь по хате быстро и бесшумно, стала собирать на стол.

— Чайку вот зараз с арбузным медком по чашке выпьем да потолкуем... Ты уж прости, христа ради, доченька, сахару у нас и пылинки нету. Чем богаты, тем и рады...

— Зачем вы это затеяли? Я только из-за стола...

— Нет, доченька, хоть нужда проклятая нас и одолела, но мы еще не отвыкли от русского обычая и знаем, как принимать гостей...

Подогрев в печурке чугунок с кипяченой водой, она разлила в чашки чай, подсела к столу и начала угощать Настю. И тут, за столом, она поведала свою материнскую печаль, рассказала про тяжелую судьбу обедневшего казака, с горькой думой ушедшего на всеми проклятую войну.

...Чтобы купить строевого коня, Осип вынужден был продать кобылу и вола, а остальное снаряжение ему выдало станичное правление, забрав за это часть земельного надела... А тут еще долг Яшке Картушину. Отдавать было нечем. Никакие просьбы Осипа и мольбы матери не могли поколебать Яшку. Скрепя сердце Осип вынужден был за долг отдать в няни старшую сестренку, десятилетнюю Нюрку.

Днем она убирала в доме, мыла пол, топила печи, стирала пеленки, а ночью качала ребенка. Однажды в полночь изнуренная няня заснула, сидя на полу, и даже не слышала, как из люльки свалился к ее ногам малыш. Хозяйка бросилась к перепуганной девочке, вцепилась в волосы, свалила на пол и до изнеможения топтала ее ногами. Остаток ночи Нюрка в одной рубашонке провела в холодном чулане с заиндевевшими от мороза стенами. Утром окоченевшую девочку втащили в прихожую и, растирая снегом, с трудом привели в чувство. Напоили кипятком, сунули в распухшие, обмороженные пальчики медовый пряник и выпроводили незадачливую няню домой.

К вечеру того же дня девочка, объятая жаром, впала в тяжелое беспамятство. Страшные припадки кашля разрывали детскую грудь, бред, крики о помощи мешались со стонами. Дня через три у нее пошла горлом кровь, а две недели спустя, не приходя в сознание, девочка умерла.

А перед рассветом, в непроглядной тьме, над уснувшим хутором полыхнуло пламя пожара. На церкви запоздало ударил набат. Пока сбежались перепуганные спросонья хуторяне, два сарая, конюшня и амбар на дворе Яшки Сыча сгорели дотла.

Утром Осип вырыл в огороде за погребом неглубокую яму, отнес туда гробик, засыпал его, поставил у свежего холмика наскоро сделанный деревянный крест и, попрощав-

шись с матерью и младшей сестренкой, уехал в станицу на сборный призывной пункт...

Яшка, догадываясь о подлинном виновнике пожара, метался в злобной ярости, писал поначалу в войсковое управление жалобы, настойчиво добиваясь от властей примерного наказания Осипа. Но жалобы остались без последствий — улик-то никаких не было. Тогда Яшка стал требовать от матери Осипа, чтобы она за долги отдала им в няни вторую девочку...

С тяжелым чувством ушла Настя со двора Топилиных, не услышав здесь ничего утешительного.

Дома она снова вздрогнула от неожиданного удара под сердцем, и опять долго мучила ее противная тошнота. Вообще, в последнее время с ней творилось что-то неладное. Она стала замечать в себе довольно-таки странные желания и потребности: то ей захочется соленого, то кислого, то горького, то вдруг потянет к мелу, обыкновенному кусочку белой глины, который казался теперь таким сказочно вкусным...

Вскоре эти прихоти заметила Алена Петровна и без труда разгадала их секрет.

— Да-а, доченька, знать, скоро твой Афоня, ежели он жив будет, спаси его бог, станет молодым батей, а ты — матушкой...

— Что-о?.. Афоня — батей?! — смертельно побледнела Настя.— Нет-нет, мама, не надо, зачем... Он не простит!..

Пораженная страшной догадкой, Алена Петровна набожно перекрестилась и сама стала белее стены.

Только через неделю решилась старуха сообщить Василию Антоновичу об этом новом несчастье. Закрывшись с Настей в горнице, понизив голос до хрипящего шепота, он коротко выдохнул:

— Чей?..

Настя вздрогнула и сжалась в комок, но злых, налитых болью и ненавистью глаз не опустила. Минуту молча смотрела на отца, потом надрывно и страшно крикнула:

— Твой!.. Да-да, твой будет этот ублюдок!..

Василий Антонович резко отшатнулся назад, с ужасом глядя па лютовавшую в безумстве дочь.

— Настя, опамятуйся! Бог с тобой! Что ты мелешь?!

— Да, твой! — не слушая отца, кричала Настя.— Это ты пихнул меня к проклятому Митьке, ты помог загубить мою девичью честь, а теперь и жизню мою в землю топчешь!.. Будьте все вы прокляты!..

Беременность Насти заставила Василия Антоновича снова просить двоюродную сестру приютить у нее дочь до родов. Надо было избавить себя хоть на время от сплетен и позорных догадок многочисленных врагов и лиходеев.

Насте же было все равно, где коротать постылое одиночество. Все ее чувства и мысли по-прежнему были с тем, кто, в последний раз целуя ей на вокзале глаза и губы, соленые от слез, ласково говорил:

— Ты, Настюша, не плачь, не надо, не падай духом и жди меня. Я обязательно возвернусь к тебе, и мы еще найдем вместе нашу долю, а судьбу-мачеху тогда и на порог не пустим...

Вот и ждала теперь Настя своего любимого, близкого и в то же время страшно далекого человека, без которого, казалось, не мыслима была сама жизнь...

На хуторе Кугоею ей было даже лучше, спокойнее ждать грядущего счастья, которое придет вместе с Афоней. Мысль же о будущем ребенке в последнее время совсем перестала тревожить Настю, и она уже ни с кем больше об этом не говорила. Когда приезжал навестить ее отец, то первым вопросом было:

— Батя, нет ли письма-весточки от Афони?..

— Нету,— постоянно следовал односложный ответ Василия Антоновича.

Настя затихала, замыкалась в себя и совершенно теряла всякий интерес ко всему, о чем рассказывал отец. Однажды старик с досадой сказал дочке:

— Затрубила одно да добро: есть ли письмо-весточка от Афоньки?.. Откуда она будет?.. Ты слыхала, что теперь творится на белом свете? Нет? Вот то-то и оно... Плохи у нас дела. Япошка в войне нас одолевает. В Манжурах, говорят, режет и огнем палит наши войска, в морях-океанах топит корабли-пароходы, а крепость Порт-Артуру окружил и душит голодом... Генерал Куропаткин помощи у царя запросил. Ну и погнали на убой народ, новые войска повезли туда... На нашем хуторе вон уже завыли по покойникам — убиенным... Может, и Афонька твой теперь там... Когда, спрашивается, ему заниматься твоими писульками?..

Эта недобрая весть снова вызвала у Насти острую душевную тоску, опять неразрывно сплела судьбу Афанасия с трижды проклятой войной.

Но не из далеких, обильно политых русской кровью маньчжурских полей и сопок, не из-за крепостного вала осажденного Порт-Артура пришла в хутор Кугоею черная весть о гвардейце Афанасии Чумакове...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

Не пришлось Ульяне Сазоновой погулять на свадьбе у своей подружки Настеньки Фирсовой, теперь Чумаковой. И хотя она знала, что это получилось не по вине подружки, но все-таки было чуть-чуть досадно. Горшая обида осталась на сердце за саму Настеньку, за ее нескладно сложившуюся судьбу. Даже свадьба прошла несуразно, «не по-людски — шиворот-навыворот», как говорила потом соседка Телухина Лукерья. Почему-то родители решили венчать молодых и свадьбу справлять в чужой станице, а не в родном хуторе. Когда же началось пиршество, то не успели еще приглашенные гости охрипнуть от застольных обрядовых песен и заполошных криков «горько», как молодоженов прямо из-за свадебного стола развезли в разные стороны: Афанасия от-

правили на действительную военную службу в далекий Санкт-Петербург, а Настеньку, словно изгнанницу, отец отвез к дальней родственнице, куда-то в глухой хутор, и там оставил одну-одинешеньку.

С тех пор Ульяна не раз собиралась проведать подружку, но, вынужденная снова пойти на работу к Букреевым, не могла улучить свободные день-два... К тому же долго не удавалось добиться у стариков Фирсовых, где находится и как называется тот хутор, в котором теперь безотлучно обитала Настенька. И все же Ульяна ухитрилась выманить у тетки Алены их семейную тайну.

В субботу, накануне местного престольного праздника, Ульяна наконец собралась в дорогу.

— Гля на нее! — удивилась мать.— Чего это ты вздумала по гостям прохлаждаться?

— Настеньку пойду проведаю.

— Какая нужда?.. Да и кто она тебе? Десятая вода на киселе?..

Щеки Ульяны зарделись румянцем, на глаза навернулись слезы, дрогнули губы.

— Мама, как вам не грешно?.. Какую еще надобно родню, ежели Настенька — моя задушевная подружка. Разве этого мало?.. Вы же сами раньше в ней души не чаяли, а теперь надсмешки строите...

По лицу Марфы Даниловны пошли красные пятна. В самом деле, зачем она вздумала отговаривать девку? Завтра — годовой праздник. Букреевы отпустили ее домой на целый день. Пускай идет.

— Ладно, ступай. Только зачем на ночь глядя засобиралась в дорогу?

— Как — зачем? Обыденки туда не сходишь, не ближний свет. Дай бог к утру добраться, — с нескрываемой досадой ответила Ульяна и, поспешно собрав дорожный узелок, отправилась в путь.

За бурой толокой хуторского прогона, за пологим гребнем бугра, где по сторонам проселочной дороги пестро зеленела степная чащоба разнотравья, в лицо Ульяны пахнул из лощины низовой ветерок, и она чуть не задохнулась от горьковатого настоя полыни, густо смешанного с одуряющим ароматом чебреца, пряным запахом донника, медвянки и каких-то других цветущих трав. Приостановившись, Ульяна закрыла ладонью глаза от слепящего солнца, жадно хватила открытым ртом воздух, точно хотела напиться, и вдруг счастливо засмеялась. Потом приподнялась на цыпочки, взмахнула руками, как крыльями, и громко затянула:

— Ого-го-го-о-о!..— и снова захлебнулась беспричинным смехом.

Срезая изгибы дороги, она напрямик устремилась к зыбкой дали размытого маревом горизонта.

К вечеру, когда у подножия древних сторожевых и могильных курганов, раскиданных по степи, вытянулись лиловые тени, а в провале крутых балок и низине логов сгустились сизые сумерки, Ульяна, пройдя верст десять, решила немного передохнуть. Наметила вблизи дороги терновый куст, зеленым островком маячивший среди голубой белизны ковыльного половодья, и ускорила шаг, чтобы там устроить короткий привал. Неожиданно у перекрестка проселочных дорог показалась группа верхоконных казаков, снаряженных по-походному. К седлам приторочены торбы с зерном, вьюки свежепросушенного сена. Переметные сумки до отказа набиты нехитрыми казачьими пожитками. Над головами всадников молодым леском бесшумно покачивались пики, а сбоку глухо брякали о стремена ножны шашек.

— Эй, станичница, куда бог несет?! — весело окликнул Ульяну впереди ехавший немолодой, но молодцеватый урядник с лихо взбитым чубом и старательно закрученными в стрелку усами.— Куда, спрашиваю, красна девица, путь-дороженьку держишь?..

— В станицу, а там еще дальше...

— Вот здорово! И мы как раз в ту сторону правимся. Может, подвезти, а?..

Ульяна приостановилась, с любопытством посмотрела на казаков. Все они были уже не первой молодости. Кое у кого в усах, бороде или в поникшем чубе паутинками бабьего лета серебрилась седина.

— Спаси Христос, я сама как-нибудь доберусь! — засмеялась Ульяна, уступая дорогу всадникам.

— Да ты, девка, не сумлевайся. Я сурьезно тебе говорю — садись в седло. Зачем зря ноги бить? У нас есть один заводной строевик. Его хозяин в дороге немного прихворнул. Теперь где-то позади на фуражирке тянется... Эй, Никифор, давай сюда коня Матвея Артемова. Тут одна зазнобушка нашлась. Дело магарычовое наклевывается...

Шутку подхватили другие:

— У нашего урядника губа не дура — в ухажеры целится!..

— А чего теряться. У казаков обычай таков: поцеловал куму — да и губы в суму...

Под хохот и веселые выкрики подлетел к урядпику на

гнедой кобылице мелкорослый, бравый на вид казачишка, держа на коротком поводу подседланного коня-строевика.

Ульяна взглянула на светло-рыжего иноходца, дико косившего фиолетовыми глазами и нетерпеливо перебиравшего сухими костистыми ногами, подумала: «А что, ежели немного проехать верхом? Я ить не хуже другого казака в седле держусь...» И вслух:

— Ладно, господин урядник, уговорили. Давайте вашего неука... Нет, нет, я сама справлюсь...

Ульяна смело подошла к попятившемуся строевику, взяла под уздцы, ласково погладила влажноватый храп, успокоила. Подогнав стременные ремни, она высоко подобрала юбку и по-мужски ловко вскочила в седло. Стыдливо натягивая подол на оголенные колени, удобно уселась. Чтобы дать коню почувствовать свою волю, Ульяна, опираясь на луку, с силой рванула на себя повод. Конь вздрогнул, попятился, чуть присел на задние ноги и вдруг, закусив удила, рывком поднял копыта, свечой стал на дыбы.

Ульяна не ожидала этого и с трудом удержалась в седле. Прильнув щекой к влажной холке коня, резко пахнущей потом, она вцепилась одной рукой в гриву, другой погладила напряженно изогнутую шею; коротким властным движением повода остепенила строевика, заставила опустить на землю копыта. Гарцуя на месте, Ульяна с озорным задором кинула через плечо:

— Ну, господин урядник, а теперь — аллюр три креста, наметом ма-арш!..

За спиной отчаянной всадницы разноголосо посыпались выкрики:

— Вот это да-а!

— Молодец, станичница!

— Джигит, а не девка!

— А команду, команду-то какую подает! Будто войсковой наказной атаман на параде!.. Ха-ха!..

— Ну и повезло нашему уряднику!..

— Чур, магарыч на всех!..

Ульяна лукаво скосила глаза на ухмылявшегося урядника, потом на казаков, весело отшутилась:

— За магарычом дело не станет. Только я, господа казаки, дюже боюсь, как бы кто из вас от моего магарыча горькими слезами не умылся.

— Это верно, дочка. Нашему брату теперь девичьи магарычи не каждому по зубам...

Шутки и смех постепенно угасли. Под дробный топот копыт потянулся обычный разговор.

Ульяна, прислушавшись, вскоре поняла, что эти казаки — призывники третьей очереди. Сейчас, видимо, началась их мобилизация. И все они направляются на призывной пункт.

Разговор петлял разный. Кое-кто со вздохом вспоминал о только что покинутых семьях, о детях и женах или родителях-стариках, которые нуждаются в постоянном присмотре. Другие думали-гадали, какую и где военную службу придется нести. Некоторые удивлялись тому, что, по слухам, с японцами скоро выйдет замирение, а казаков зачем-то все мобилизуют. Добрались уже до последней очереди.

— Может, нас на бунтовщиков опять кинут...

— Нехай кидают. Нам все одно с кем воевать, лишь бы харчей давали досыта, куревом не обижали и, само собой, чарочкой не обносили...

Кто-то из весельчаков тотчас дурашливо подхватил:

Чарочка моя — серебряная,
По краюшкам позлаченная,
Кому чарку пить —
Тому здраву быть!..

А какой-то заядлый, но не расчетливый курильщик, перебивая песенника, плаксивым тепорком затянул:

— Братушки, не дайте пропасть добру молодцу. Уважьте, ради христа, хоть на понюшку щепотку табачку. Ухи уже пухнут...

— С длинной рукой под церкву!..

— А твой где?..

— Мой?.. Баба, проклятая, перед отъездом кисет вздумала разными нитками расшивать, а потом засуетилась с проводами и позабыла обратно сунуть в карман...

— Ладно, куманек, на цигарку самосада наскребем, но бумагой сами бедствуем, не прогневайся...

— Попроси у Дениса Чуракова, у него целая евангелия в переметной сумке...

— Тю вы, казаки, осатанели!.. Разве можно святую книгу пущать на курево?! Это же великий грех!..

Чей-то прокуренный, хриповатый басок попытался утешить казаков:

— Не падайте, казаки, духом. Ежели нам придется воевать с бунтовщиками так, как, скажем, в девятьсот втором в Ростове, на Темернике, то бумага будет. Они сами нам зачнут подкидывать всякие разные запретные листовки, чтобы мы заместо молитвы перед сном нараспев читали. Вот и кури их сколько тебе влезет...

Урядник со скрипом заерзал на седле, ввязался в разговор казаков:

— Вы, сукины дети, запретные листовки курить, конечно, можете, но что там будет прописано — не смейте читать ни нараспев, ни про себя!.. — и, потрясая нарядной, с махром, плетью над красным околышем фуражки, пообещал: — Всякому, кто вздумает с паскудным намерением брать в руки зловредные листовки, я самолично вот этим арапником шкуру до крови спущу!.. Все слыхали?!

Ульяна живо повернулась в седле, в упор посмотрела на развоевавшегося урядника и не узнала своего веселого «ухажера».

Скуластое лицо недобро корежилось и делалось пугающе жестоким.

— Ой, дяденька, какой вы, оказывается, злющий да сердитый!.. Разве можно за какую-ту бумажку расправу над казаками учинять?! А ежели я невзначай возьму ее в руки? Тоже меня арапником? А?..

Казаки переглянулись, притихли, ожидая, что ответит урядник. Но тот, натужно улыбаясь, проворчал:

— Ты, девка, совсем еще зеленая, как куга, чтобы понятие об том иметь... Да и не бабье это дело — встревать в сурьезный казачий разговор...

Серые глаза Ульяны сузились. На щеках полыхнул румянец. Нет, не такая уж она «зеленая» дура, как думает урядник. Понятие «об том» и всяком другом она уже кое-какое имеет. Да и запретные листовки не раз в руки брала. А совсем недавно дядя Корней прислал со своим дружком Семеном Курсаковым целую пачку, чтобы Ульяна тайком раздала их букреевским работникам. И она это проделала с такой ловкостью, что ни один черт ее не заподозрил, а сами Букреевы до смерти переполошились...

Желание дальше ехать верхом вместе с казаками пропало. И как только вдали замерцали огоньки станицы Егорлыкской, Ульяна решительно остановила коня, спешилась. Распрощавшись со своими случайными попутчиками, она, преодолевая невольную робость, одна ушла в густую синеву ночной степи по незнакомой ей дороге...

ГЛАВА II

Какую уж неделю живет Настя в чужом хуторе, у тетки, но ни разу не вышла за калитку, не побывала у соседей, не познакомилась ни с девками, ни с молодыми бабенками, с которыми ей было бы интересно посудачить. Настя охотно помогала тетке по дому. Но что творилось сейчас вокруг нее, она почти не замечала, а как бы заново (наяву и во сне) переживала свое уже прожитое прошлое.

Вот перед ее мысленным взором возникло давнее событие, но с такой ясностью и полнотой, как будто это было вчера...

В родном хуторе затеяли к пасхе готовить церковный хор. Для парней и девчат это было веселое развлечение в скучные недели поста. Отец Насти, Василий Антонович, с большой неохотой разрешил дочери посещать эти «греховные» сборища. Туда же стал ходить и Афанасий. Как-то, возвращаясь поздно вечером домой, Настя и Афанасий, не сговариваясь, остановились во дворе, у занесенного снегом палисадника. Ночь выдалась морозная, чуть вьюжная, пронзительно звонкая. По хутору, гремя стеклярусом сосулек, щедро развешанных после недавней оттепели на застрехах дворовых построек, с веселым ледозвоном куролесил порывистый ветер, озорно теребил в садах и палисадниках хрустящие ветки оголенных деревьев, с легким посвистом шлифовал голубые грани только что наметенных сугробов.

— Ой какой морозище!..— зябко вздрогнув, тихо засмеялась Настя. Дыша поочередно в рукава шубенки на свои окочепевшие пальцы, она легонько укорила: — С тобой, Афоня, так и сосулькой сделаешься. Дай мне хоть краюшек твоей полы, я чуточку погреюсь.

Афанасий, улыбаясь в темноту, распахнул овчинный полушубок, бережно укутал Настю и стал внимательно рассматривать на аспидно-синем небе искристую белизну звезд. Настя, согреваясь, тоже притихла и взглядом потянулась вслед за Афонькой. Стояли они долго, молча, не шевелясь.

— Афоня, отчего у тебя сердце так гукает?.. Ой, как молотком в ухо ударяет!..— снова засмеялась Настя.

— Нехай ударяет, не убьет...— почему-то шепотом ответил Афанасий, прижимая Настину голову к груди.— А у тебя ударяет?..

Настя, сдерживая дыхание, прислушалась к своему сердцу.

— И у меня... дажеть шибче... Вот пригнись, послухай...

Афанасий легонько паклонился и, путаясь в полах зимней девичьей шубенки, с ребяческой неловкостью стал искать Настино сердце.

— Ой, не там!..— испуганно выдохнула Настя и, схватив горячую Афонькину руку, порывисто прижала к боку: — Вот тут... Чуешь?..

— Чую!..— эхом отозвался Афанасий.

— Ой, да ты опять не там!..— вскрикнула Настя, выскользнула из объятий парня и отскочила в сторону. Но тут же снова прильнула к растерявшемуся Афанасию, неожи-

дапно коснулась губами чуть колючего подбородка и, не оглядываясь, убежала в дом.

Всю ночь, до самой белой зорьки, не могла Настя сомкнуть глаз. Жаром пылало девичье тело. В голове густо толпились путаные мысли. Было стыдно и радостно вспоминать все то, что произошло между ней и Афонькой. Ведь она первая поцеловала парня.

«Нет, не первая... А кто па улице нагнал меня, схватил, закрутил-завертел и как будто невзначай поцеловал в левую щеку? Он! Афоня!.. Нехай ему будет совестно!..» — пыталась утешить себя Настя, пряча пылавшее лицо в подушку...

На зорьке она все же уснула. Но какой это был сон!.. Опять Афонькины горячие руки!.. Потом за хутором, на притоптапной зелени прогона, парни и девчата шумно и весело играют в горелки. Настя стоит в паре с Афоней. Вот подходит их черед. Под крик «раалучника»: «Горю-горю, пылаю, кого хочу поймаю!» — они срываются с места и мчатся вперед, чтобы, не дав себя поймать, снова встретиться. Неожиданно Настя с ужасом обнаруживает, что под ногами нет земли, и она беспомощно повисает в воздухе. В отчаянии Настя взмахивает руками и вдруг чувствует, что летит. Еще взмах рук — и она стремительно проносится над головами парней и девчат. Настя видит, как в прозрачной синеве неба так же летит Афоня. Он хохочет, что-то весело кричит, манит к себе. Вот-вот они должны встретиться. Но вместо Афони хватает ее «разлучник». Она вскрикивает и яростно начинает отбиваться...

Как потом очутилась Настя на земле — не помнит. Возле уже никого не было: ни Афони, ни злого «разлучника», ни ребят, ни девчат. Только черная пустынная степь, низкое осеннее небо над головой да невылазная грязь на развилке дорог. Настя не знает, куда идти, а стоять на месте нельзя — засасывает вязкая слякоть. Ей становится страшно. Начинает кричать, звать на помощь Афанасия, но в немой тишине не слышит даже своего голоса...

— Настенька, Настенька!.. Ой, господи, да что с тобой?!

Настя, вздрогнув, просыпается. У кровати хлопочет встревоженная мать:

— Ой, доченька, сон, наверпо, поганый мучает? Сотвори скорей молитву...

Весь день ходила Настя под впечатлением этого страшного спа. Встретившись с Ульяной, она подробно о нем рассказала. Та рассмеялась:

— Чего же тут страшного? Чудно даже, что девка, как ведьма, по небу летает...

— Вот ты смеешься, Уля... Если бы ты знала, как страшно остаться одной, совсем одной в черной и глухой степи. Нигде ни души, и ты одна в грязюке потопаешь...

Ульяна перестала смеяться, задумалась.

— Да, Настенька, одной дюже плохо... Я знаю... Мне тоже приходилось... Давай так, ежели у кого беда али еще что — всегда вместе...

И они действительно были верны своему уговору.

А вот теперь, на чужом хуторе, ни Ули, ни Афони, ни матери — никого нету... И снова стало терзать Настю во сне и наяву гнетущее одиночество...

Сердобольная тетка искренне сочувствовала Насте и даже баловала ее. Хотя привыкшая к работе девка не сидела сложа руки и охотно помогала по хозяйству, но утреннюю зорьку она почти каждый день встречала в мягкой теткиной постели.

В воскресенье хозяйка обычно вставала раньше, под крик третьих петухов. Надо было подоить корову, отстряпаться и успеть потом в церковь на богослужение. Но на этот раз привычный распорядок неожиданно был нарушен.

Возвратившись со скотного база с подойным ведром, тетка застала во дворе, у хаты, невесть откуда взявшуюся незнакомую рослую девушку с дорожным узелком в руке. Невольно екнуло сердце. Не дай бог эта нежданная гостья потревожила Настю!

— Чего тебе, девонька, тут надобно?

— Здорово ночевали,— поздоровалась та, поправляя на голове голубой платок.— У вас, говорят, проживает из нашего хутора Настенька Чумакова? Можно ее повидать?

Хозяйка заворчала:

— Вот тебе на. Ни свет ни заря гости пожаловали...

— Да я, тетенька, издалека. Всю ночь напролет добиралась сюда. Дюже надобно подружку свою повидать...

Настя, лежа в постели, сквозь сон услышала за окном очень знакомый девичий голос. Встрепенувшись, напряженно прислушалась. Уля!.. Отбросив одеяло, метнулась к двери. Невольно зажмурила глаза — ослепило яркое солнце, только что показавшееся из-за бугра.

Ульяна ахнула. На пороге возникла в ночной рубашке из отбеленной бязи заспанная, счастливо улыбающаяся Настя. Лицо ее потемнело, сделалось как будто старше и строже, хотя на щеках по-прежнему цвел девичий румянец.

Подружки, смеясь и плача, бросились друг к другу, наперебой заговорили что-то бестолковое, но, видно, для них понятное и весьма важное.

Обнимая тугое, будто чем налитое тело подруги, Ульяна воскликнула:

— Ой, Настенька, какая ты стала брюхатая!..— и с радостной поспешностью предупредила: — Чур, крестной буду я!..

Настя, прижимаясь головой к плечу Ульяны, смущенно засмеялась и тут же почему-то расплакалась.

Тетка, как старая курица-квочка, суетливо металась вокруг ошалевших от радостной встречи подружек. Она сама невесть чего прослезилась. Всхлипывая и улыбаясь, стала отчаянно махать концом длинного фартука:

— Да перестаньте вы, бесстыжие!.. Ой, господи, срам-то какой: почти голяком девка. Ступайте скорей в хату!

На этот раз тетка в церковь не пошла. Пока там длилось богослужение, она успела отстряпаться и накрыть праздничный стол. Подобревшая, она извлекла из своих домашних тайников бутылочку зеленоватой настойки с торчащими из горлышка стебельками каких-то целебных трав и поставила на стол. Позвала ворковавших в горнице подружек. Выпили по маленькой чарке за бабье горькое счастье, за здоровье всех и каждого в отдельности, потом за упокой души хозяина этой хаты.

Вытирая фартуком слезы и улыбаясь, чуть захмелевшая вдовушка с легкой просящей грустинкой завела:

Ты воспой, ты воспой
В саду, соловейка...

Ульяна, подражая мужскому тенорку, горестно отвечала:

Я бы рад, я бы рад
Тебе воспевати...
Ох, да потерял, растерял
Я свой голосочек,
По чужим садам летаючи...

Тут вступила Настя, и уже втроем продолжали они извечную историю о горько-сладкой, запоздалой любви.

Растроганная воспоминаниями тетка счастливо всхлипнула, перекрестилась и снова пожелала покойнику царство небесное.

— Ну будя, тетка Уваровна, о покойниках! — нетерпеливо перебила хозяйку Ульяна.— Помянули их — и слава богу. А теперь давайте выпьем за живых, за нашего дорогого воина — за Афоню Чумакова! Нехай минует его пуля злая

да шапка недруга. Дай бог, чтобы скорей война прикончилась и он возвернулся живым и невредимым да покрепче, вот так, обнял свою ненаглядную женушку!..

Настя благодарно взглянула на подружку, улыбнулась сквозь слезы и, никого не дожидаясь, залпом осушила чарку.

— Молодец, Настенька! — похвалила Ульяна и сама выпила до дна горькую настойку. Мучительно скривившись, запаленно выдохнула: — Ух и злая же, тетка, у тебя зеленка!.. Прямо дух перехватывает! — Отдышавшись, она горестно усмехнулась: — Эх, люди добрые, надо бы за одним разом выпить и за моего нареченного, да он где-то дюже далеко заблудился. Собаками, наверно, не разыщешь.

— Зря ты, доченька, так говоришь. Шукать его нечего. Такую раскрасавицу он сам скоро найдет. Грех за него не выпить! — И тетка первая пригубила чарку.

После завтрака хозяйка насыпала себе тугой узелок подсолнечных семечек, накинула на плечи узорчатый кашемировый платок, удушливо пахнувший нафталином, и ушла к соседям на завалинку.

Захмелевшие подружки озорно развеселились. Ульяна, подыгрывая языком и губами то полечку с каблучком, то наурскую, то краковяк, так завертела Настю, что у нее в голове все пошло кругом. Приустав, они забрались с ногами, как в детстве, на кровать, удобно уселись, и пошло бесконечное: «А помнишь?.. А помнишь?!» Вскоре воспоминания иссякли. И тут-то Ульяна поведала Насте одну свою тайну — забавную, но очень опасную историю, которая не так давно произошла с ней в главной усадьбе Букреевых.

— Эх, Настенька, ежели всю правду обсказать, — начала Ульяна,— то другие и не поверят. Тут тебе и смех и грех — все вместе. Зачалось это вот с чего. Когда приключилась с тобою большая беда, а нас, букреевских работников, казаки разогнали по степям, запала мне в душу одна злая думка. И не дает она мне ни сна, ни покоя... Знаешь, что я задумала?.. Митьку Букреева своими руками казнить!..

— Как — казнить?!— Настя побледнела.

— А вот так!.. Раз, думаю, никакой управы на этого злодея нету, я сама с ним разделаюсь. Перво-наперво надо было обратно попасть к Букреевым в работники. Для завлекательной видимости приоделась я во все праздничное, причепурилась и пыхнула в ихнюю усадьбу. Разыскала управляющего и говорю: «Барин Митрий Алексеевич когда-то дюже хотели взять меня в усадьбу доить корову, из-под какой он пьет парное молоко». «Что-о?.. Какое молоко? Кто пьет?— удивился управляющий.— Он давно перестал этим баловать-

ся. Хватит ему и того, что он из-за этого молочка да из-за вашего брата, вертихвосток, чуть под суд не угодил. Убирайся, девка, от греха подальше отсюдова!..» «Нет,— говорю,— кличьте барина сюда. Он сам скажет».

Митька как раз оказался поблизости.

«В чем дело? Что случилось? — спрашивает он, а сам украдкой косит глаза на меня.— Что за девушка? Чего ей надобно?» И опять меня глазами всю обшаривает.

Я к нему: «Барин, разве вы меня не угадываете? Я,— говорю,— Улька Сазонова. Помните, вас поила молоком, когда вы побитым под замком в овчарне сидели на Трехбратской падине?..»

Он потемнел лицом, как туча перед грозой, засопел носом, но вроде как обрадовался мне: «А-а, вон кто... Помню, помню. Ты добрая девушка. Спасла меня от голодной смерти...»

Я тогда к нему со своей просьбой.

Он помялся, опустил, как бык, низко голову и опять скосил глаза на меня. Потом коротко усмехнулся, ласково сказал: «Не могу, красавица, тебе отказать. Долг платежом красен.— И строго управляющему: — Возьми ее на скотный. Пускай холмогорку доит...»

Вот я живу у них неделю, живу другую, от коровы никуда не отхожу. Давно уже приготовила для расправы толстенный навильник и поставила за ясли у стены. Но вот беда, не идет проклятый Митька ко мне, просто глаз на баз не кажет. Неужто, думаю, в самом деле отучился пить парное?.. И тут я порешила сама его завлечь в коровник. Встретила как-то во дворе и нежным голосом спрашиваю: «Чего это вы, дорогой барин, парное молочко не приходите пить? Я каждый день жду, а вас все нет и нет. Я и жданки все поела...»

Он фыркнул от смеха, затряс толстым животом и заворковал, будто голубок сизокрылый: «Жданки, говоришь, поела?.. Хо-хо!.. Ну хорошо, красавица, приду, обязательно приду!.. Все некогда было...»

И взаправду, скоро пришел. Я как глянула на него, вспомнила, что должна сейчас с ним сделать, так меня жаром и обсыпало, потом в холод кинуло и зачало трясти как в лихорадке. Скосила я глаза на держак, а сама с места тронуться не могу. Он же, проклятый, спокойненько выпил парное, обтер носовым платком мокрые усы, поклонился: «Весьма благодарствую, красавица, за чудесное молочко!..» И с тем мирно, тихо ушел.

Назавтра такая же петрушка. Не то он побаивался чего,

не то порешил улестить меня своей обходительностью... Нет, думаю, в кошки-мышки я с тобою не намерена играть. На следующий раз раньше обычного подоила корову, поставила поближе навильник и приготовилась встречать дорогого гостя. Слышу — идет. Меня опять затрясло, но теперь я скорей обеими руками — за держак. Только это он морду красную с толстыми усами высунул из-за яслей, я с размаху как садану — он и «поплыл». На ногах, правда, устоял, но руками стал гресть воздух и ртом зевать, как утопленник. Я ему не дала опомниться и — еще раз!.. Тут он не устоял и чувалом свалился под ноги корове. Та шарахнулась, а Митька мычит где-то под яслями: «За что?..» «А-а, не знаешь за что, ирод проклятый?! — зашипела я от злости.— За наше горе, за наши слезы, за наши девичьи беды!.. За разнесчастную Настеньку и за Афоню Чумакова!..»

Он и замолчал, будто воды в рот набрал. Вгорячах я было замахнулась навильником еще раз, но глядь — а с него, как с резаного барана, кровища хлещет. У меня и дух перехватило. Все отнялось: ни рукой, ни ногой не могу двинуть. А он, нечистый, видать, опамятовался. Поднялся, стоит, качается, как пьяный, протирает глаза и вдруг — черк меня за горло и давай душить... Но я изловчилась — круть, рванулась и опрометью из коровника!.. А в руках у него только клочья кофточки остались...

Ух, Настенька, я и перепугалась. Что делать, думаю. И тут мне будто кто в ухо шепнул: «Беги к барыне...» И вот заместо того чтобы куда-нибудь схорониться, я кинулась прямо в дом Букреевых. Влетаю в прихожую, грохнулась на пол и взвыла дурным голосом.

Из дальних комнат выскочил Прокопий, за ним — барыня. Прокопий как глянул на меня, всю растерзанную, перепачканную Митькиной кровью, так и побелел, будто мертвым стал. Подумал, наверное, что Митька меня силком тиранил.

«Опять, подлец!..— крикнул Прокопий и прижал руку к левому боку, а потом свалился на мягкий диван и застонал: — Я же его предупреждал... просил... Он меня в гроб загонит!..»

Барыня сразу кинулась ко мне, захлопотала. Подняла и увела на кухню. Там заставила горничную обмыть меня и новую кофточку надеть. Потом стала просить, чтобы я об этом никому ничего не говорила.

«Озолочу,— обещает,— и оставлю жить в нашем доме. Будешь пока горничной помогать. А там, смотри, со временем и сама станешь горничной...»

В этот час Митька вломился в дом. Не успел еще переступить порог — орет: «Где она, такая-сякая?! Запорю-у!.. Арестовать мерзавку!..»

Тут Прокопий на него накинулся:

«Опять за свое?! Сколько можно блудить?! Не успели за старое расквитаться, как он... Хватит с меня!.. Под суд угодишь — я и пальцем не шевельну!..»

Митька осатанел. Потом смекнул, как все шиворот-навыворот перевернулось, и оробел. Клянется, божится, что ни в чем он не виноватый, а Прокопий и барыня не верят. Митька требует вызвать полицию, а они не велят. Незачем, говорят, сор из дому выметать... Почти целый день шла война у Букреевых. Верх все-таки взяли Прокопий и Аполлинария Викторовна. Меня не тронули. Митьку же, побитого и злого, кое-как утихомирили, а потом вскорости спровадили куда-то за границу, в чужие страны, целебными водами лечиться...

Ну а я осталась у Букреевых, ихней паскуде-горничной хвост теперь заношу, делаю за нее всю черную работу, а она еще и недовольная, почти каждый день барыне ябедничает. Да я, наверно, оттуда скоро сама сбегу...

Эта история, рассказанная Ульяной, неожиданно угнетающе подействовала на Настю. Прежняя веселость и детская беззаботность бесследно исчезли. Настя загрустила. Ульяна с болью в сердце и досадой подумала: надо же было рассказывать это дурацкое приключение...

К полудню возвратилась в хату тетка, тоже какая-то скучная, суровая, и молча захлопотала у стола.

За обедом немного все оживились, но прежней веселости уже не было.

— Чего это вы, девоньки, приуныли? Аль прослыхали про убиенного? — спросила тетка, вытирая концом платка заплаканные глаза.

— Какого убиенного? — встревожилась Ульяна и настороженно взглянула на Настю.

Та, окаменев, тоже, видимо, силилась что-то сказать, но не могла разодрать побелевшие губы. В ее широко открытых глазах появилась такая мучительная скорбь, что Ульяна испугалась:

— Что с тобой, Настенька?!

Тетка вдруг спохватилась:

— Ой, да простите, христа ради, меня, старую дуру, ляпнула, не подумавши. Чего ты, доченька, испугалась?.. Убиенный-то — наш, хуторской, Гаврюшка Паршин.

Настя как будто ничего не слышала. Минуты две сидела

неподвижно, потом медленно склонила голову к столу, спрятала лицо в ладони и тихо расплакалась.

— Ну-ну, поплачь, доченька, поплачь, оно на душе и легче станет. А вот у Паршиных слезой горе не зальешь. Там и старые, и малые целый день криком кричат, а утехи нету. Бедную вдовушку никак не отпечалуют: и святой водой на нее брызгают, и отец Тихон панихиду у них в хате служит и божеским словом толкует, что грех так убиваться, ежели воин сложил свою головушку за царя и веру христианскую,— нет, не помогает!..— Тетка горестно вздохнула и продолжала свой печальный рассказ:— Надо же стать такой беде. У Паршиных два брата: покойничек Гаврюша и Федька. Вместе ушли на трижды клятую войну. Федька неженатый — и живой остался, а вот Гаврюша — двух детишек осиротил. Смертушка окаянная выбирать не умеет... Моего вон Пантюшу тоже на бранном поле совсем молоденького в Туретчине она приласкала, оставила меня одну-одинешеньку, как вот этот перст...— Тетка показала черствый, с большими узловатыми суставами указательный палец и торопливо закрыла лицо фартуком.

Перед вечером Ульяна собралась домой. Настя пошла провожать гостью за хутор. Долго не могли расстаться. Оказывается, самое важное и не было-тс еще сказано...

Ульяна, утешая, заверила подружку, что скоро снова придет повидаться с ней. Настя долго всматривалась в лиловую даль степи, где одиноким васильком голубел праздничный Улин платок, махала рукой и тихо, как заклинание, шептала:

— Возвертайся, скорей возвертайся, моя Улюшка-гулюшка...

Но кто мог знать, что это свидание было их последней встречей в жизни...

ГЛАВА III

Проводив Ульяну, Настя стала еще больше страдать от одиночества в чужом хуторе. Утешение находила в работе: то убирала в горнице, то возилась на скотном базу, то носила воду из колодца. Тетка не раз беспокоилась:

— Ты, доченька, не хватайся за тяжелое. Долго ли до беды...

Настя беспечно отмахивалась, бралась за все, что попадалось под руки. Однажды случилось то, чего опасалась тетка.

Как-то Настя взялась мыть в горнице пол. Сдвигая в сторону большой разлапистый фикус, нечаянно опрокинула его

с подставки. Обламывая крупные и сочные листья, он рухнул на пол. Настя испуганно схватила тяжелый цветочный горшок, рывком подняла и тут же, поскользнувшись, неловко присела на мокрые половицы. Охнув, она почувствовала резкую боль в низу живота.

После долгих, почти недельных мучений, жгучих судорожных болей в пояснице, от которых перехватывало дыхание и невольно вырывались отчаянные вопли и крики, Настя наконец утихла и около двух суток беспробудно спала. Кто-то пытался ее будить, заставлял что-то делать, подносил к груди белый сверток с живым, шевелящимся существом, но она, открыв на мгновение бессмысленно блуждающие глаза, снова погружалась в беспамятство. Когда же на второй день к вечеру пришла в себя, то испытала странное ощущение: она совершенно не чувствовала своего тела. Хотела пошевелить рукой или ногой, но ни руки, ни ноги, казалось, не было. Ее глаза удивленно скользили по затененной, с прикрытыми ставнями горнице... Где она? Что с ней?.. И вдруг все вспомнила: и свои страдания, и испуганно-тревожное, красное и мокрое от пота лицо тетки-повитухи, и трудно скрываемые слезы матери, стоявшей у изголовья, и чьи-то глухие рыдания в соседней комнате.

— Настенька, родная моя доченька!.. Да ты, никак, проснулась?.. Ну слава тебе господи!

В горницу вошла Алена Петровна, за ней — тетка. Открыли ставни. Перекрестившись на иконы, тетка достала откуда-то из-под божницы запыленную бутыль со святой водой, умыла Настю, окропила тут же в горнице висевшую люльку и только потом принесла разогретый обед.

Настя ела неохотно и мало. Ее мучила жажда. Но сколько она ни пила, облегчения не чувствовала. Ночью ей стало нестерпимо жарко, а к утру начался бред. Случилось то, чего так боялись Алена Петровна и тетка,— у Насти началась страшная послеродовая горячка.

Наступили тревожные дни. Не раз рыдающая тетка зажимала в холодеющую ладонь Насти зажженную восковую свечку, ожидая скорую смерть. Но каким-то чудом Настя перемогалась...

Два месяца не знали покоя Василий Антонович и Алена Петровна. Старуха неотлучно жила на хуторе Кугоею, не отходя от постели Насти, а старик раза два-три в неделю навещал больную. Когда же Настя впервые поднялась на ноги и заново начала учиться ходить по горнице, Василий Антонович облегченно вздохнул, перекрестился и в тот же день увез Алену Петровну домой. После этого они, ожидая пол-

ного выздоровления дочери, наведывались только по воскресеньям. Иногда Алена Петровна, настряпав на несколько дней еды, оставляла старика дома, а сама приезжала к дочери.

Силы у Насти прибывали медленно. О себе она совершенно не заботилась, да и к ребенку была как-то равнодушна. Чувство материнства у нее, видимо, еще не проснулось, хотя она делала все, что обыкновенно делают молодые матери. За ней стали замечать, что ее постоянно занимала какая-то тревожная мысль. Она задумывалась, порой хотела что-то спросить, но всякий раз плотно сжимала губы, отворачивалась к стенке и долго молчала, не отвечая ни слова. Ночью часто — не то наяву, не то во сне — плакала в подушку.

Мать и тетка по-своему поняли состояние Насти. В тягость, видать, ей этот нежеланный ребенок. Надо поскорее развязать Насте руки — подкинуть новорожденного добрым людям. Он у них и приживется. После долгих колебаний и сомнений они поспешно приступили к снаряжению в дорогу новорожденного: наскоро скроили и простегали новое лоскутное одеяльце, сшили из неотбеленной бязи свивальник и несколько пеленок. В чистую тряпицу завернули два куска пожелтевшего сахару и целую бутылку круто разведенной сыты.

Когда стемнело, тетка молча взяла из рук Насти ребенка, унесла в горенку и, сотворив молитву, бесшумно вышла на улицу. Алена Петровна дальше калитки провожать не пошла, поспешила к Насте. Предстоял нелегкий и небезгрешный разговор с дочерью. Ведь все это делалось без ее согласия.

В сенцах Алена Петровна приостановилась. Надо было хоть немного успокоиться, обрести нужную твердость духа, а главное — не показать Насте своих слез. Но мужества у Алены Петровны хватило всего на три шага от порога. Как только в тусклом свете лампы она увидела жалкую полураздетую Настю, заботливо склонившуюся у детской люльки, догадалась: готовит постель, хлопочет над гнездышком своего птенчика, а его уже...

Закрывшись руками, Алена Петровна громко разрыдалась.

Настя резко выпрямилась, метнула испуганный взгляд на плачущую мать и каким-то первородным чутьем разгадала причину столь внезапных и отчаянных слез старухи.

— Где он?! — свистящим полушепотом выдохнула Настя и, не ожидая ответа, метнулась в сени.

Всего, что произошло потом, Алена Петровна не помнила. Когда она пришла в себя, на кровати билась рыдающая Настя, судорожно прижимая к груди надрывно кричащего ребенка. Около нее молча хлопотала тетка. Дрожащими руками она наливала в кружку из ведерной бутыли святой воды и, набирая полный рот, усердно брызгала на Настю.

К утру с огромным трудом удалось успокоить ее. Однако это потрясение словно разбудило дремавшее до того у Насти могучее чувство материнства. Теперь она почти не спускала ребенка с рук, сама кормила, пеленала, качала и укладывала спать уже не в люльку, а на кровать, рядом с собой. Ночью спала беспокойно и чутко. Часто просыпалась, тревожно шарила рукой по кровати и, нащупав ребенка, прижимала его к себе. Иногда тихо ворковала ему что-то в полусне и даже рассказывала длинные-длинные сказки.

Однажды тетка проснулась от громкого бормотания Насти.

— Ты не верь, никому не верь,— страстно убеждала она малыша не то во сне, не то наяву,— не верь, что батя твой Афоня откажется от нас. Он дюже хороший!.. И любить тебя будет, как твою мамку... Брешут, все они брешут!.. А Митьку... Слышишь, проклятого Митьку Букреева я сама порешу, своими руками!.. Дай только встать на ноги... Ох, господи, хоть бы скорей!.. А ты, Афоня, чего молчишь?.. Где ты, родненький?.. Возвернись скорей, оборони ты нас от злодеев лютых!..

Тетка с глубокой скорбью слушала этот полубред, молча вздыхала, но ничем не могла утешить несчастную. О гвардейце до сих пор ничего не было слышно. Пытались навести справку через станичное правление. Сам Василий Антонович ездил в Егорлыкскую. Но и там ничего не могли сказать, так как Афонька служил не в казачьих частях.

Только осенью кто-то из букреевских работников, побывав в станице, привез оттуда слух, что из Петербурга возвратился домой по болезни Пашка Бурцев и якобы кому-то по пьянке потаенно рассказывал нехорошее про Афанасия. Об этом немедленно сообщила старикам Фирсовым Сазонова Ульяна. Василий Антонович озлобленно чертыхнулся:

— Вот еще не было печали!.. Я же знал, что от него ничего доброго не жди...

По настоянию Алены Петровны старик все же передал новость Насте, предупредив, чтобы она не беспокоилась, так как на днях он сам поедет в станицу и все выяснит про своего зятя.

— Может, люди брешут, а ты слезами обливаешься,— буркнул Василий Антонович и поспешно уехал домой.

ГЛАВА IV

Недобрая весть об Афанасии не давала Насте покоя. Не оправившись от болезни, она засобиралась в станицу, чтобы повидаться с Пашкой Бурцевым и все разузнать. Тетка пыталась отговорить ее. Ведь дорога дальняя, сама еще не здоровая, да и ребенок что-то в последнее время прихворнул. Но Настя и слушать не хотела. Закутав ребенка в сбирчатое одеяльце, она рано утром, как только откричали третьи петухи, отправилась пешком в путь. К вечеру с великим трудом добралась в станицу. Разыскала новый кирпичный дом Бурцева. Встретил ее хмурый, только что проснувшийся, но еще не пришедший в себя после многодневной попойки Пашка. В доме больше никого не было: мать, на редкость богомольная женщина, вместе с юродивой дочерью ушла к вечерне в церковь, отец был в экономии Букреева.

Задыхаясь от усталости и острой боли в сердце, Настя почти упала на лавку в свежепобеленной прихожей, попросила воды. Павел молча подал кружку и грузно уселся на скрипнувшую табуретку. Страшась услышать черную весть, Настя долго не решалась сообщить ему о цели своего прихода и сама начала торопливо и сбивчиво рассказывать о том, как шла сюда... Когда был исчерпан этот бестолковый рассказ и иссякло терпение, Настя суетливо развернула влажные пеленки, терпко пахнувшие молочной кисловато-приторной испариной детского тела, вытащила припрятанную четвертушку водки, заискивающе подала Пашке:

— Прошу, Павел Матвеевич, не побрезгуйте...

— Гм-м... вот как! — удивился тот, с откровенным удовольствием рассматривая появившуюся перед глазами бутылку. Помедлив, слабо запротестовал ради приличия: — Зачем это... Не надо... Ну ее к лешему!..

Однако, заметив, как нерешительно дрогнула рука Насти, он испугался, что его отказ примут всерьез, и, крякнув, поспешно овладел бутылкой. Деловито осмотрев красную головку сургуча, этикетку, потемневшую от долгого лежания в потаенном уголку, он встряхнул прозрачную, радужно заигравшую жидкость и бережно, но с нарочитым презрением сунул бутылку в рядом стоявшее ведро, до краев наполненное холодной колодезной водой.

— Будь она трижды проклята!.. Голова от нее и так тре-

щит, как будто сто чертей по затылку зубилами колотят!..— угрюмо чертыхнулся Павел.

Настя, прижимая к сердцу ребенка, робко попросила:

— Расскажи, Павел Матвеевич, все, что знаешь об Афоне... Не таись, ради бога, я и так уже вся измучилась и изболелась, ничего не знаючи... Все глаза проплакала.

— А зачем мне перед тобой таиться? Что знаю, то и скажу,— глухо проворчал Павел. Не спеша, с рассчитанной медлительностью достал кисет, закурил. Жмурясь от едкого дыма, помолчал.— Нечего, говорю, мне таиться, но и хвастать тоже особо нечем,— начал он, не поднимая на Настю опухших, налитых кровью глаз.— Одним словом, плохи, девка, дела... Хотя он и стоящий был гвардеец и на хорошем счету у начальства состоял, но, скажу тебе откровенно, зря он не в свои дела полез...

Было это в воскресенье, после Нового года. Рано утром подняли наш лейб-гвардии Преображенский полк по тревоге. Выдали боевые патроны. Бегом вывели на Дворцовую и выстроили перед Зимним. Смотрим, вскорости со всех улиц валом прет на нас народ с иконами, хоругвями, портретами царя-батюшки и молитвы всякие разные поют, а впереди поп разлохматился и золотым крестом намахивает... Я, в аккурат, подумал, что тут на площади молебен будут служить. Ан нет... Поп куда-то исчез, а остались только мужики да бабы с детишками... Слышу, командуют нам зарядить ружья боевыми... Одним словом, дело обернулось так, что мы должны в народ мирный стрелять... А за что про что — никто ничего не знает... Я как раз стоял рядом с Афонькой. Взглянул на него, а на нем лица нету. Думаю, струсил парень. Когда смотрю, перехватил он ружье в левую руку, правой перекрестился и самовольно выступил вперед из строя. Повернулся к нам через левое и спрашивает: «Братцы полчане, что же это такое получается?.. Тут,— говорит,— какая-то ошибка произошла. Нам велят стрелять в мирный народ, братьев и сестер, в стариков и детишек малых... Кто это заставил невинную кровь проливать, какой злодей, а?.. Братцы, не будем на душу брать грех, не будем стрелять!.. Да покарает господь бог того, кто поднимет руку!..» Мы все всполошились, загомонили: «Не будем брать греха на душу!» А ротный наш как затопает ногами по снегу да как завизжит, будто свинье кто хвост воротами прищемил: «Молчать, мерзавец!.. Как ты смеешь, такой-сякой, смутьянить гвардейцев?! Зарублю-у!..» И с шашкой наголо — к Афоньке. А он, Афонька, крутнулся на каблуках, чуток присел, выбросил, как на плацу, ружье вперед — сде-

лал длинный выпад. Штык пришелся под самое брюхо ротному. Побледнел Афонька пуще прежнего, но сам твердым голосом командует: «Не подходи, не трожь меня, ваше высокородие! Гвардия их императорского величества в мирный народ стрелять не обучена. Давайте,— говорит,— нам япошек али других супротивников!..» Тут, конечно, все мы сдуру поддержали его, зашумели: «Правильно!.. Ослобоните,— кричим,— нас от убийства!..» Глядим, наш ротный как будто чем подавился: глазами лупает, слова сказать не может... Потом попятился назад и, не долго думая, подхватил полы шинели да как ахнет через площадь, аж шпоры влипают... Смех и грех...

Павел угрюмо усмехнулся, осуждающе покрутил маленькой птичьей головой и, тупо глядя на красную головку плавающей в ведре бутылки, продолжал:

— Тут же нашу роту возвернули обратно. А заместо нас вывели на площадь других... Вскорости там началось светопреставление... Гвардейцы залпами стали палить, а в народе кровопролитное убийство произошло... Тыщами полегли...— Павел засопел, натужно закашлялся и с остервенением раздавил чадивший окурок.—Так что, выходит, зря нас Афанасий всполошил. Все равно в народ стреляли — не мы, так другие... А за наше самоуправство, неподчинение императорскому приказу, не поздоровилось ни ему, Афоньке, ни нам, и теперь на всю жизнь тень навелась. Я, к примеру сказать, думку имел опосля действительной в Ростове али Новочеркасске городовым устроиться. Всеми статьями я подхожу к этому. Видишь, и рост у меня махинный, и усы отпустил подходящие, да и кулак набряк...— Павел сжал пальцы, с гордостью показал огромный, как лошадиное копыто, кулак.— Теперь это ни к чему. Сунулся я на днях вместе с батей к полицмейстеру, а там — шиш с маслом. «Меченый,— говорят.— Проваливайте...» Поняла?..

Настя слушала, как в чаду. Она уже ничего не понимала из того, что сейчас говорил Павел. До ее сознания дошло только одно: где-то далеко-далеко, в Петербурге, свершилось непонятное, но страшное событие, и над Афанасием нависла грозная, может быть, смертельная опасность.

— Что же дальше?.. Что с Афоней случилось? Где он теперь? Почему ты тянешь, душу вынаешь?! — крикнула Настя приумолкнувшему Павлу.

— Дальше?.. Что же дальше... Выстроили, стало быть, нас во дворе казармы, на плацу, заставили рассчитаться по номерам, а потом каждого третьего вывели вперед, сорвали погоны и в гарнизонную гаунтвахту посадили. Через неде-

лю всех отправили в штрафной батальон в село Медведево, что под Москвой. Как раз и я ни за что ни про что угодил третьим... Ох и хватил же я там лиха за эти полгода!.. Хорошо, что бате прописал об этом... Три пары быков, гурт овец и разной другой живности не пожалел батя... Да и Прокопий Букреев кое в чем подмогнул... Вот меня теперь по болезни и уволили...

— А с ним-то что сделали?..— перебила Настя, сдерживая рыдания.

— С ним, с Афонькой? — не поднимая от ведра опухших глаз, глухо переспросил Павел.

— Да-да, с ним, с Афоней?.. Где он? — прошептала Настя, прижимая к груди ворохнувшегося ребенка. От страшного предчувствия она вся похолодела, а к сердцу подступила и перехватила дыхание острая, колющая боль.

— С ним разговоры были короткие,— продолжал Павел.— Заарестовали и куда-то увезли. Опосля нам перед строем, уже в штрафном, читали приговор военного суда. Объявлялся он злодеем и бунтовщиком, царем и богом проклятым... Оказалось, он в Питере связался с какими-то большевиками, какие народ подбивали против царя-батюшки... Вот до чего докатился... Ну за все это назначили ему, Афоньке, дюже строгое наказание — казню...

— Ка-азню?! — свистящим шепотом выдохнула Настя.

— Ну да, смертную казню!..

— А-а-а-ай!.. — вдруг резанул слух стонущий животный крик.

Павел вздрогнул и удивленно повел широко открытыми глазами. Он не сразу понял, что произошло, и короткое время ошалело вертел головой, не видя искаженного, обезображенного мучительной болью лица женщины. Опомнившись, он ахнул, вскочил на ноги и, свалив ведро, кинулся к Насте.

Прислонясь к стене, запрокинув голову, Настя медленно валилась на бок, судорожно, мертвой хваткой сжимая в посиневших руках задыхающегося ребенка...

ГЛАВА V

Настя долго не приходила в себя. Не очнулась она и после того, как Пашка Бурцев плеснул в ее помертвевшее лицо холодной колодезной водой. Не возвратилось к ней полное сознание, даже когда, подчиняясь грубым мужским рукам, она машинально приподнялась с лавки и кое-как утвердилась на ослабевших ногах, продолжая судорожно прижимать к груди потяжелевшего ребенка. А потом, не говоря

ни слова, не отвечая на бестолковые уговоры перепуганного Пашки, с трудом выбралась из дому и двинулась по улице. Шла, не разбирая дороги, через примятые заросли лебеды, репейника и верблюжьей колючки, по рыхлым наносам пыли и застарелым кочкам-выбоинам. Ее широко открытые глаза были неподвижно устремлены куда-то в желтую хмарь далекого горизонта, где гасли, умирали зыбкие отсветы заката.

Охрипшие от злости собаки шумно провожали ее до самой окраины станицы. Никто Настю не окликнул, не остановил, не разузнал о ее беде, не пожалел и не утешил, хотя улицы и переулки не пустовали в этот сумрачный вечер. Громко судачившие у калиток бабы на минуту замолкали, с жадным любопытством встречая и провожая взглядом невесть откуда появившуюся Настю.

— Тю, чумная какая-то, — раздавалось у нее за спиной.— Идет, как лунатик, напрямки... ничего не замечает...

— Головой даже не хочет кивнуть, с людьми добрыми поздоровкаться...

— Нехрист, что ли, какая?..

— Может, она хворая?.. Видишь, на ней лица нету, белая как смерть...

— Чья же это баба?..

— А чума ее знает... Кажись, не нашенская...

— Куда же она прется на ночь глядя?

— Постойте, бабоньки, да это, никак, Василия Фирсова дочка, из Степного Кута...

— Ой, господи, неужто та, гулящая, что с Букреевым путалась?..

— Она самая...

— А ведь ходили слухи, что она где-то по хуторам от людей добрых хоронится...

— Было время — хоронилась, а теперь, видишь, в подоле родителям подарочек понесла...

— Да ну?!

— Вот тебе и ну!..

— Чего вы, непутевые, зря напраслину на человека несете?! Никакая она не гулящая. Букреев ее, сердешную, ссильничал. Дуриком девку загубил, а потом за работника ихнего замуж выдали. Она тут ни при чем...

— Эх, соседушка, помолчала бы... Знаем мы, как это бывает... Хвостом не крутнешь — в беду не попадешь...

— Грунька, а Грунька, беги скорей сюда!.. Погляди, дорогая доченька, вон на ту потаскуху!.. Видишь?.. Ходит по улице как неприкаянная. Ее собаки за подол таскают, а она

ничего не чует... Вот так завсегда бывает с теми, кто родителей не почитает и не слухает ихнего доброго совета... Поняла?.. Смотри, девка, ты у меня на свою беду тоже догуляешься!..

— Да ну вас, мама!..

— Ты не нукай...

— А чего же вы вздумали при людях срамить, как будто...

— Молчи!.. Я знаю, что говорю!.. При всех и упреждаю — убью! Своими руками порешу, ежели ты на такую вот сучку станешь похожая...

«Боже мой, неужто это мною девок пугают?..» — запоздало подумала Настя, останавливаясь у развилки дорог на станичном прогоне. Но тут же об этом забыла. Другое, страшное и непостижимое, снова завладело ею. Приходя в себя, она с ужасом вспомнила: «А его казнили... смерти предали моего родненького... И я теперь одна, совсем одна, на всем белом свете одна... За что же меня бог так наказал?.. Что теперь мне делать?.. Как одной жить и... зачем?.. Ах да... Но он еще совсем несмышленыш и не чует никакой беды...»

Настя опять почувствовала острую боль в сердце и, пытаясь унять ее, медленно опустилась на колени, потом неловко села у пыльной обочины дороги. От неутихающей боли трудно было двигаться и даже дышать. А тут еще, рассыпавшись по выгону, потянулось станичное стадо, поднимая целую тучу сухой удушливой пыли. Стало совсем невмоготу. Хотя бы ветерок свежий колыхнул. В поисках живительной струйки воздуха Настя, задыхаясь, приподняла голову, слепо повела глазами по сторонам. В загустевших сумерках, из непроглядно пыльной мути, повисшей у самой земли, внезапно возникла рогатая голова коровы. Тяжело покачиваясь, она с тупой неуклонностью двигалась прямо на Настю. Еще шаг-два — и это доброе, но на редкость упрямое животное могло наступить на нее или вдруг, от неожиданного испуга, ошалело боднуть. Настя в немом оцепенении застыла на месте. Но в последний момент, когда в лицо упруго ударил влажный выдох коровы, она коротко вскрикнула, ничком бросилась на землю, прикрыла собой закутанного в лоскутное одеяльце ребенка. Корова, утробно мыкнув, шарахнулась в сторону, с глухим топотом исчезла в пыльном тумане. Настя лежала не шевелясь. Когда же наконец поняла, что все обошлось, облегченно вздохнула:

— Фу-у, слава тебе господи, кажись, стороной пронесло...

Только теперь она услышала частое, прерывистое, с булькающей хрипотцой дыхание ребенка, вяло копошившегося во

влажных и горячих, словно ошпаренных кипятком, пеленках. Бережно развернув одеяльце, Настя догадалась: «Видать, опять захворал мой родименький...»

И сразу засуетилась, точно вспомнила что-то неотложное или боялась куда-то опоздать. Наскоро перепеленав потного, горевшего, как в огне, ребенка, Настя поспешно поднялась на ноги, резким движением руки смахнула пыль и сор с одеяльца, отряхнула подол и, не раздумывая, устремилась по дороге, которая вела в родной хутор. Почему она направилась по этой дороге? Ведь отец строго-настрого наказал, чтобы она не смела появляться на хуторе, покуда он сам не приедет за нею.

Какие расчеты были у старика, почему ей самой нельзя появляться в Степном Куте, Настя ни раньше не пыталась понять, да и теперь об этом не подумала. Слишком велико было ее горе.

Трудно сказать, откуда у нее взялись силы, чтобы всю ночь без роздыха, едва различая степную дорогу, пройти с ребенком на руках от Егорлыкской до Степного Кута...

Поспешая домой, Настя знала, что ее ничто не может утешить в родном хуторе: ни любовь и ласка матери, ни грубоватые, но по-своему доброжелательные уговоры отца, ни искреннее сочувствие хуторян-соседей. И все же в глубине души у ней теплилась робкая надежда услышать здесь об участи Афанасия что-нибудь иное — если не доброе и милосердное, то хотя бы не такое беспощадное...

ГЛАВА VI

После семейного скандала Василий Антонович Фирсов не находил себе места. Его одинаково раздражало все: и хватающий за сердце вой Алены Петровны, доносившийся из горницы, и гробовое молчание Насти, закрытой под замок в старом амбаре, и бессовестные глаза непутевой и лукавой соседки Лукерьи Телухиной, назойливо следившие в щель забора за каждым его шагом. Даже безобидный брех собаки во дворе приводил в бешенство.

«Тьфу, будьте все вы прокляты!.. — чертыхался старик, затравленно оглядываясь вокруг. — Нигде теперь покоя нету, хоть из дому уходи! На кой черт, спрашивается, приперлась она с дитем сюда?! Русским языком было сказано — сиди у тетки, не рыпайся, покуда я сам за тобою не приеду. Так нет, вздумала сама разузнать о своем нареченном. А кто его нарекал? Сердце, говорит, нарекло. Такое беспутное сердце надо вырвать к чертовой матери и собакам вы-

кинуть — не жалко!.. А она, дура, слезами обливается, криком кричит, как по убиенному. Казню, говорит, над ним учинили. Кто учинил и зачем? Сама сном-духом не ведает. Видите ли, Пашка ей по секрету наговорил. Хо, кого вздумала слухать! Он спьяна да дурна ума чего угодно набрешет. Ну а ежели Афонька на самом деле сгинул, то опять-таки зачем с дитем сюда переться? Надобно там, на хуторе, от него избавиться — людям добрым подкинуть. Не век же тебе с ним маяться! Может, на тебя одну скорей добрый человек найдется! Так нет, она и слухать не хочет... А тут еще Алена, старая дура, вмешалась. Подбила Настю панихиду в церкви по убиенному отслужить... Ну я им отслужил!.. Я им показал, как своевольничать!.. Нехай теперь одна в амбаре посидит да подумает, как почитать родителей, а другая — бока почешет, чтобы кровушка не запеклась синяками. Они у меня научатся, как мою добрую волю исполнять!..»

Нет слов, воля и власть Василия Антоновича взяли верх. Взять-то взяли, но, греха таить нечего, не может Василий Антонович найти успокоения в своей правоте...

Чтобы не слышать и не видеть, что творится в доме, решил он немедленно куда-нибудь выехать из хутора. Кстати вспомнил, что ему на днях предстоит поездка на паровую мельницу. Надо бы запастись на зиму мукой-вальцовкой, а то из-под жерновов ветряка такой размол получается, что зачастую добрая половина в отруби уходит. Да и кусок хлеба из такой мучицы в горло не лезет, песком на зубах скрипит. На вальцовку же и покупатель скорее найдется. Об этом рассудил Василий Антонович еще раньше. Теперь же, не раздумывая, позвал возившегося на скотном базу работника — седоусого тавричанина Ивана Рябошапку, приказал немедленно запрягать лошадей и готовить зерно к помолу. Вместе с работником Василий Антонович взвалил на подводу десять мешков янтарной гарновки, заранее пропущенной через грохот, кинул оклунок озадков подкармливать лошадей в дороге, уложил на чувалы связку пахучего сена и, отряхнувшись, решительно направился в горницу. С порога окликнул Алену Петровну:

— Эй, старая! Где ты там схоронилась?.. Собери скорей харчей... Да перестань ты выть!.. Слышишь?! Я, тебе говорят, зараз отправляюсь за Маныч, к Малашихину на паровую мельницу. А ты тут за всем хозяйством приглядывай. Смотри, чтобы работник зря баклуши не бил... Особливо с Насти глаз не спущай. Не давай по хутору шляться. Теперь она в амбаре сидит. Закусила удила, молчит, как немая,

не просит прощения, а только я за ворота — она, гляди, и взвоет, подаст тебе голос. Но ты не вздумай потворствовать. До вечера из амбара не выпущай. Понятно тебе?.. Ну живей поворачивайся!.. Давай сюда харчи!..

Хлопнув в сердцах дверью, Василий Антонович ушел к подводе. Работнику еще раз наказал, что делать без него по хозяйству, забрался на мешки и тронул лошадей со двора. Ближним проулком выехал в степь.

Проселочная дорога лениво извивалась, далеко уходила в дремучие заросли осеннего побуревшего разнотравья. Вокруг ничто не радовало глаз. Да и не слышно теперь было ни призывного боя перепелов, ни журчащего звона жаворонков. Только повсюду раздавался пронзительный посвист сусликов. Ожиревшие за лето, они толстыми столбиками поднимались и садились на задние лапки, бесстрашно подпускали к себе лошадей и, тревожно пискнув, стремительно ныряли в ближайшие норки.

Увязавшийся за хозяином рыжий дворовый пес Лютый бестолково носился вокруг подводы. Но ему все же удалось показать свою охотничью прыть: на глазах хозяина задушил двух сусликов и чуть не накрыл в придорожной чащобе бурьяна крупного серого зверька.

— Заяц! — выдохнул Василий Антонович и с азартом охотника заорал: — Возьми, Лютый! Ату его!..

Лютый со стонущим лаем бросился в погоню. Ему удалось настичь зверька, но тот вдруг у самого носа бесследно исчез. Лютый завертелся на месте, заскулил, потом припал к земле и поспешно стал разрывать старую сурчину. Через минуту из-под собаки взметнулся зверек, но уйти не успел. Желто-серый клубок покатился по траве. Сквозь рычание и надсадный лай послышался визгливый, по-детски отчаянный крик.

Василия Антоновича словно ветром сдуло с подводы. Размахивая кнутовищем, он с трудом отогнал обезумевшего пса.

На земле лежал действительно заяц, но заяц земляной — тушканчик, с длинными задними, но крохотными передними ногами и тонким, как у крысы, хвостом, только с небольшой кисточкой на конце.

— Тьфу, дурак, на какую пакость позарился!.. Сподобил же бог такую уродину! — выругался Василий Антонович. — Жри сам эту дичь!..

Лютый охотно расправился со своей добычей и, облизываясь, нагнал лошадей. Сыто жмуря глаза, он низко опустил

голову, высунул розовый язык и, роняя желтую слюну, равнодушно затрусил сзади подводы.

Неожиданно внимание привлек камнем упавший с неба коршун. Ломая крыльями пересохшую траву, он яростно сцепился с кем-то в короткой схватке. И через мгновение снова взмыл вверх. В когтях у него болталась длинная, как плеть, степная гадюка.

— А-а, тварь ползучая, не успела еще залечь в спячку. И на тебя, нечисть поганая, управа нашлась! — со злорадством прошептал Василий Антонович, следя за полетом смелой птицы, уже набравшей высоту, где широкими кругами ходили другие коршуны.

Над ними, высоко в небе, по-осеннему холодном и синем, свободно парили могучие беркуты. А ниже, у самой земли, раскинув острые крылья и почти не шевеля ими, плавали серовато-белые луни.

Василий Антонович знал повадки этих крылатых разбойников. Их полеты не были праздными. Всяк по-своему напряженно вел неутомимую охоту, зорко высматривая с высоты свою жертву.

До самого вечера Василий Антонович, сутулясь на мешках, следил, как вершатся в суровой степи немудреные, но жестокие законы жизни, стараясь не думать о доме, о новой беде, постигшей его семью. Однако как ни старайся, а все равно не забыть Настины глаза, наполненные слезами, немой мольбой, страданием и ненавистью. Да и вообще, можно ли забыть всю ту дикую расправу, которую учинил он дома. Разъяренный, схватил за косы Настю, отволок в амбар, швырнул на пол и даже с досады ковырнул ее сапогом... Запоздалое раскаяние начало терзать душу Василия Антоновича. Зачем, спрашивается, надо было так круто поступать с девкой? Ну чего тут такого, если она без спросу заявилась с дитем домой? Ведь у нее на самом деле приключилось большое горе. Она кинулась домой, к родителям, горе свое утешить. А он, старый дурак, что сделал? При соседях расправу учинил. Опять сплетни теперь пойдут по хутору. У трижды клятой Лукерьи язык — помело поганое...

Осудив себя и соседку, Василий Антонович тут же пришел к твердому убеждению, что все-таки виноват во всем прежде всего Букреев. Вот с кем надо расправиться, как вон тот коршун со степной гадюкой. Эх, жаль, что силенок для этого еще маловато. Но ничего, он дождется своего...

Глубокой ночью Василий Антонович прибыл на мельницу. При тусклом свете фонаря, подвешенного к столбу, разглядел на мельничном дворе целый табор подвод, гружен-

ных мешками. Невольно ахнул: такого завоза он еще никогда не видал. С трудом нашел последнего в очереди, но распрягать лошадей не стал.

«Надо сходить к весовщику — разузнать, сколько придется тут маяться, — решил Василий Антонович, ощупью пробираясь между возами. — А то, может, лучше к Дадукину на мельницу податься».

У весовой шумно толпились ближайшие очередные, о чем-то горячо споря. Но из-за рабочего гула мельницы трудно было разобрать слова. Василий Антонович, орудуя локтями, протолкался вперед. Перед ним вместо весовщика нежданно оказался сын хозяина мельницы—низкорослый крепыш лет тридцати, одетый в новый чекмень, густо осыпанный мучной пылью. На голове, у самого затылка, чудом держался расхлестанный треух. Поставив ногу на двухпудовую гирю, валявшуюся у весов, картинно опираясь о колено рукой, он с нагловатым презрением слушал разноголосый галдеж толпы и упорно молчал.

— Ты брось, братушка, дурака валять!..

— Бирюк ему братушка!..

— Шутка в деле—шестую меру брать!..

— Бери, как твой батька берет, восьмой пуд!..

— Ему больше надо — на своих харчах теперь живет...

— Ишь голодранцем прикинулся...

— С длинной рукой под церкву нехай идет, а с нас нечего шкуру драть!..

Василий Антонович вначале никак не мог понять, о чем идет речь. Подсказал стоявший здесь же знакомый казак из местных калмыков Басан Гаряев. Он поведал, что старик Малашихин недавно отделил сына, но мельницу в наследство не отдал. Работают теперь на равных паях: одну неделю отмер берет отец, другую — сын.

На прошлой неделе дадукинская мельница внезапно остановилась. За какие-то провинности полиция арестовала неблагонадежных машиниста и вальцовщика. Все, кто привез молоть хлеб, поспешили сюда. А тут еще нагрянули с подводами хлеба работники Букреевых. Вот и образовался небывалый завоз. Младший Малашихин воспользовался случаем и стал брать грабительский отмер — шестой пуд.

— Вот, сукин сын, что вытворяет! — возмутился Василий Антонович. — Не давать ему и фунта лишнего!.. Надо всем миром заставить подчиниться!..

Но как только он узнал, что неделя младшего Малашихина кончается завтра, а старший якобы обещал брать отмер по-прежнему — восьмой пуд, сразу притих. Ведь его

очередь подойдет дня через два, не раньше. Зачем, спрашивается, сейчас надрывать горло. Успокоившись, Василий Антонович ушел к подводе, распряг лошадей, привязал их на короткий повод к передку, навесил торбы, подождал, пока подкрепятся озадками, потом задал охапку сена и стал устраиваться на ночлег.

У соседней подводы тлел кизячный костер. Тянуло удушливо-горьким дымком, густо смешанным с запахами сухого сена, свежего навоза и терпкого конского пота. Несмотря на позднее время, вокруг костра толпились возбужденные люди, курили, кашляли, наперебой гомонили.

Василий Антонович долго возился на мешках, то свертывая, то расправляя овчинный тулуп, готовя себе походное ложе, и вначале не обращал внимания на окружающих. Затем стал невольно прислушиваться, вникать в разноголосый гомон. Скоро он различил чей-то страшно знакомый глуховатый голос, но никак не мог догадаться: чей?..

— Братцы, вы же сами толкуете, что эту муку он грабежом взял, — убеждал собравшихся у костра тот же голос. — Вот мы и потребуем до единого фунта возвернуть!..

— Хо, держи карман шире. Он и разговаривать не станет. Видал, как в весовой черта из себя корчил?!

— Ну ежели не захочет по-хорошему — силой возьмем!..

Василий Антонович остолбенел. Что за чертовье?.. Голос, голос-то чей?.. Натурально Терентия Чумакова — сватка-покойника, царство ему небесное... Тьфу, дурь какая в голову лезет... С того света не возвертаются...

А знакомый голос продолжал:

— Я же вам толкую, что вчера и Букреев не дюже нам обрадовался. Даже на порог конторы не пустил. Черкесами-телохранителями стал запугивать. А они, к слову сказать, как глянули на всех собравшихся, на вилы, косы, оглобли и все прочее, не дюже храбро рванулись со своими кинжалами в бой за хозяина. «Господин барин, — говорят они Букрееву, — зачем абрек будет своих кунаков резать?!» Ну мы и тряхнули экономию. Когда ясным огнем полыхнули скирды прошлогодней соломы, Букреев сразу сговорчивым стал. И зерно нашлось, и бычков-трехлеток пожертвовал для голодающих забастовщиков Ростова, и даже приказал своему управляющему подводы дать, чтобы сюда зерно привезти на помол... А тут, оказывается, мельник грабежом занимается. Надо и его так же тряхнуть. Может, подобреет...

С головой кутаясь в тулуп, Василий Антонович простонал:

— Вот тебе и «сваток», будь ты трижды проклят. На разбой подбивает этих дураков... Зачем баламутить людей, ежели с отмером завтра все будет как надо...

Стараясь не слушать гомон у костра, Василий Антонович еще плотнее прикрыл голову краем тулупа и попытался уснуть. Но где там! Хоть и глуше стали голоса, а сон отгоняли напрочь... Теперь Василий Антонович понимал, что кроме местных жителей, прибывших молоть хлеб, сюда черт принес каких-то пришлых — видать, городских. Они-то и задавали тон, подбивали дураков ограбить мельника. Муку же потом отправить тайно голодающим ростовским бунтовщикам...

Тревога невольно охватила Василия Антоновича. Собачьей дрожью начало сотрясать все тело. Кутаясь в тулуп, пожалел, что не может вызвать сюда служивых казаков или стражников и разогнать проклятых смутьянов...

Не помнил Василий Антонович, как навалилась на него тяжелая дрема. И вдруг крик у самого уха:

— Эй, станишник, вставай!.. Все пошли к Малашихину за отмером!..

Василий Антонович чертыхнулся про себя, глубже зарылся укутанной тулупом головой в охапку сена, притворился спящим. А там, у мельницы, — крики, шум, возня, ржание и топот перепуганных лошадей, грохот и скрип колес...

Когда все утихло, Василий Антонович долго еще лежал неподвижно, гадая, что могло там произойти... Но стоило только раскрыть полы тулупа и высунуть голову из-под оберемка сена — все стало ясно. Размеренно и деловито гудела мельница. Работает!.. Знать, ничего страшного не случилось...

Утром Василий Антонович узнал, что все дело спас сам хозяин мельницы, старший Малашихин. Только поднялся скандал — он неожиданно появился на мельнице, точно ждал этого случая. Выслушав требование и угрозы собравшихся, мельник, ни слова не говоря против, согласился возвратить разницу в отмере, которую брал его сын. Так же легко пошел на сговор и в другом: смолоть без отмеру зерно, которое привезли на шести подводах букреевские батраки, — «дар» хозяина ростовским мастеровым. Чтобы не задерживать очередь, Малашихин даже сам предложил обменять зерно на муку из своих запасов. Но когда к нему обратились с просьбой пожертвовать пудов пятьдесят муки для детей забастовщиков, он отказал наотрез. Дело поправил один из букреевских работников — молчаливый бородатый мужик.

Он отвел Малашихина в сторону, что-то тихо пошептал ему на ухо и выразительно посмотрел на собравшихся у весовой. Малашихин легонько попятился, раза два молча зевнул перекосившимся ртом и тут же изъявил желание помочь ростовчанам.

Вскоре обоз подвод, тяжело нагруженных чувалами, скрипя колесами, скрылся в ночной темноте.

Утром на мельнице был установлен прежний порядок с отмером. Все успокоились и стали ждать своей очереди. Только Василия Антоновича не покидало беспокойство. Он продолжал гадать, кто это мог быть среди смутьянов и грабителей с голосом Терентия Чумакова...

На второй день Василий Антонович одним из первых снес свои мешки на весы, но смолоть не успел.

На мельницу приехал хуторянин Василия Антоновича — Михаил Раздоров. Еще издали он заметил старика у весовой; привстав на подводе, хрипло закричал:

— Эй, Фирсов!.. Вон ты где оказался!.. Все добро наживаешь, а дочку не уберег!..

У Василия Антоновича тревожно забилось сердце. С досадой подумал: «Чертова баба, шельма проклятая, наверно, не вытерпела, выпустила Настю из амбара. А та и пыхнула по хутору шляться... — Но тут же и успокоился: — Нехай шляется. Я, может, сам бы ее отпустил. Большое дело, ежели хуторяне немного побрешут, языками почешут от нечего делать... Мне от этого нигде не засвербит...» И вслух — Раздорову:

— А ты, доброхот разнесчастный, за мою дочку не печалься. Я сам с нею справлюсь. Лучше за своей поглядывай, как бы опять забор дегтем не замарали!..

— Эх, окаянный человек!..— обиделся Раздоров.— Да ты знаешь, какая беда у тебя в доме приключилась?..

Он, видимо, хотел крикнуть издали, что за беда, но передумал. Поспешно соскочив с подводы, прихрамывая на левую онемевшую ногу, он торопливо приблизился к Василию Антоновичу. Беспокойно оглянувшись, хрипло и зло зашептал в волосатое ухо.

— Брешешь, гад!.. — обезумело заорал Василий Антонович, с силой толкнув в грудь Раздорова.

Тот резко отшатнулся, побледнел, но сдержал себя. Вздрагивающей рукой перекрестился:

— Вот крест святой...

Василий Антонович твердыми, негнущимися пальцами разодрал ворот рубахи и, борясь с удушьем, стал жадно хватать открытым ртом белый туман мучнистой пыли.

— Кони!.. Где кони?!

Михаил Раздоров помог запрячь лошадей.

Бросив все, Василий Антонович забрался на порожнюю подводу, с трудом привстал на ноги и вдруг с дикой яростью начал охаживать кнутом лошадей, с места рванувшихся вскачь. С грохотом отмахав сажен пятьдесят, он резко натянул вожжи, озабоченно крикнул через плечо:

— Михаил Степанович, пригляди, ради христа, за моим помолом, в долгу не останусь!..

И снова, яростно взмахнув кнутом, пустил лошадей на полный галоп. Но как ни гнал обезумевший старик храпящих от запала взмыленных лошадей, не мог он вовремя поспеть домой и помочь сбежавшимся во двор соседям вынуть из проклятой петли на амбарной перекладине окоченевшее тело дочери...

А вскоре неожиданно прибыл сюда Афанасий Чумаков. По-иному могла бы скроиться судьба незадачливой Насти. Но было уже поздно...

ГЛАВА VII

После петербургских кровавых событий в январе девятьсот пятого года рядовой лейб-гвардии Преображенского полка Афанасий Чумаков за дерзкое подстрекательство к мятежу был осужден военно-полевым судом на смертную казнь. Но по высочайшему повелению казнь заменили каторгой и ссылкой в Сибирь. Место определили дальнее — крохотный городок Киренск, затерянный среди тайги на небольшом острове при слиянии рек Киренги и Лены, что северо-восточнее Иркутска. По преданию, первый дом на этом острове и часовенку срубили первопроходцы Сибири и Дальнего Востока из отряда Ерофея Павловича Хабарова. С их легкой руки здесь начали селиться беглые каторжники и местные чалдоны, промышляя охотой и рыбалкой, осваивая в пойме рек плодородные земли тайги. Потом через Киренск протянулся водный путь к золотым приискам Бодайбо. Известный сибирский миллионер Иннокентий Завьялов — владелец многих речных пароходов и барж в Ленско-Витимском бассейне — устроил у киренского залива затон для стоянки и ремонта судов. Наместник же Восточной Сибири, иркутский генерал-губернатор, облюбовал Киренск для других целей: по его приказу там был сооружен острог, куда стали отправлять осужденных царским судом государственных преступников.

Режим в остроге почти ничем не отличался от других мест заключения. Только порой охранники и надзиратели

брали к себе заключенных на поденную работу, расплачиваясь при этом с тюремным начальством охотничьими трофеями, рыбным уловом или просто ставили магарычи.

Афанасий Чумаков за короткий срок побывал и на заготовке дров, и на рыбалке, и даже ходил с рогатиной на медвежью охоту. Но постоянная работа бывшему кузнецу нашлась в затоне, где он вскоре обрел новых и надежных друзей. Здесь судьба неожиданно свела его с земляком-ростовчанином Андреем Куклиным, который угодил в эти места раньше Афанасия почти на целый год.

Куклин был в числе тех, кто организовал в марте девятьсот третьего года массовую демонстрацию ростовских мастеровых. Толпы рабочих собрались, как и в ноябре прошлого года, в Камышевахской балке. После короткого митинга представитель Донкома призвал собравшихся идти в город. Андрей Куклин взметнул вверх заранее подготовленное красное знамя с ярко горящим лозунгом «Долой самодержавие!» и сорвавшимся голосом крикнул: «Вперед, товарищи!..»

За ним устремился шумный людской поток. Демонстранты пересекли полотно железной дороги, прогрохотали перекатом по мосту Темернички и бурным половодьем хлынули на булыжную мостовую Садовой. Но тут же первые ряды неожиданно приостановились.

Поперек улицы, преграждая путь, вытянулась неровная цепь полицейских. Впереди грозно и тупо застыли пятеро городовых, трое околоточных, пристав и его помощник. Пристав поднял руку, потряс над головой туго сжатым кулаком, надсадно и хрипло что-то начал говорить. Страшный свист и крики: «Долой самодержавие!», «Да здравствует политическая свобода!» — заглушили его. Нахлынувшая толпа разорвала цепь полицейских и под звуки революционных песен устремилась к центру Ростова. У Большого проспекта на помощь полицейским были двинуты казачьи сотни. И тут вспыхнуло короткое, но яростное сражение. Толпа оборонялась стойко. Были пущены в ход булыжники мостовой и дубинки, под ноги лошадей полетели куски проволоки. Но все же силы были неравные. Андрей Куклин и другие руководители демонстрации, стремясь предотвратить кровопролитие, подали сигнал расходиться.

В этот же день начались массовые аресты. Двадцать три человека были преданы военно-полевому суду. Среди них был и Андрей Куклин. В августе состоялся суд. На нем Андрей вел себя, как и остальные товарищи, смело, с большим достоинством. Он не только признал свое участие в де-

монстрации, но и заявил, что, как член РСДРП, считал своим нравственным долгом стать в ряды демонстрантов под красное знамя. Такие же заявления сделали и друзья Андрея.

Суд приговорил Куклина и двух его товарищей к смертной казни. Однако войсковой наказной атаман, опасаясь новых беспорядков, поспешил заменить всем троим смертную казнь каторгой на пятнадцать лет.

Так Андрей Куклин очутился в киренском остроге. Не успел он еще прийти в себя после тяжелой и изнурительной дороги по этапу, как в ту же зиму совершил побег, но неудачно. Заплутавшись в тайге, Андрей обморозился и не смог идти дальше. Местные чалдоны и тунгусы-охотники из Ербогачёна подобрали его, укрыли в таежном зимовье, смазали почерневшие ноги медвежьим жиром и пытались выходить. Но ничто не помогло пострадавшему. Через неделю из ближайшей деревни пришел угрюмый бородатый мужик, известный коновал в таежной округе. Осмотрев больного, вздохнул:

— Однако, паря, плохи твои дела. На левой ноге пальцы помертвели, а стопа, как видишь, вся струпьями гнилыми взялась. Никакими снадобьями не поможешь... — Коновал замолчал, искоса посмотрел на толпившихся у двери мужиков, вздохнул и решительно произнес приговор: — Ежели хочешь смерть обмануть — надобно теперь же пальцы отнять, а то и всю стопу напрочь отрезать...

В зимовье установилась гнетущая тишина. Кто-то из мужиков нерешительно предложил отвезти больного обратно в город. Там ученый доктор наверняка поможет.

— Зачем отвозить на верную погибель?! — возмутился один из чалдонов. — Беглых ссыльных не милуют!..

— А кто же тут гнилую ногу отнимет?.. Человек зазря пропадет...

— Однако могу и я попробовать, — негромко произнес коновал. — Я, правда, по лошадиной части мастак, однако и вашего брата не раз от неминучей смерти спасал вот этим струментом. — И коновал тронул рукоятку своего острейшего охотничьего ножа, торчащего в чехле за поясом.

Решить этот спорный вопрос предоставили самому больному.

Нелегко выбирать из двух бед. Получалось, как в дурной сказке: направо пойдешь — смерть найдешь, налево — жизнь потеряешь. После долгого раздумья Куклин рассудил: «Возвратиться в город — снова попасть в острог. В одиночку замуруют. Ни света белого, ни людей не будешь

видеть... Нет, лучше пускай здесь отнимут ногу. Потом и на костыле можно добраться в свои края... А ежели помереть придется — то все-таки на волюшке, промеж вот этих добрых людей...»

— Режь!.. — коротко приказал побледневший Куклин. С хрустом сжал челюсти, плотно закрыл вздрагивающими веками сумасшедший огонек отчаяния в глазах.

Коновал прокалил на огне нож, попросил у бога помощи, обливаясь холодным потом, совершил нелегкую хирургическую операцию. Все обошлось благополучно: вовремя уняли жгутами кровь, присыпали рану толченым порохом, смешанным с хвойной золой, и наложили на культю повязку из свежевыстиранных рушников. Но при первой же перевязке заметили, что гангрена успела поразить ногу значительно выше щиколотки. Коновал не решился на другую операцию. Мужики, посоветовавшись между собой, отвезли больного в Киренск и сдали властям. Возница, прощаясь с Куклиным, попросил за всех односельчан:

— Ты уж, паря, прости нас христа ради. Другого, однако, выхода нету... Можа, тут тебя спасут...

Ссыльный врач из поляков Сигизмунд Ярчевский немедля ампутировал ногу беглецу по коленный сустав и принял все возможные меры для его спасения.

Месяца через два Андрей Куклин прыгал на костылях по камере, чертыхался, жалел и досадовал, что коновал не сумел вылечить. Теперь, может, добрался бы в родные края.

Всю недолгую весну и короткое лето Куклина продержали в одиночке-карцере, ограничивая прогулки и не допуская общения с другими заключенными. Затем перевели в общую камеру и только в конце зимы стали отпускать на работу в затон. Были все уверены, что теперь-то он никуда не убежит и, пожалуй, другим впрок закажет.

Прихрамывая на деревянную ногу, Андрей Куклин озабоченно обходил затон, разыскивая старых знакомых и приглядываясь к новичкам. На судах, стоявших у причалов залива на ремонте, в лесопильне, столярной и слесарной мастерских, на стапелях, где рубили новые шаланды и карбасы, он кое с кем установил прежние связи, а в кузнице свел знакомство с ссыльным гвардейцем, земляком с Донщины, Афанасием Чумаковым. Некоторое время присматривался к нему, исподволь выведывал о его прошлой жизни в Сальской степи, о службе в гвардейском полку и революционных событиях в Петербурге, свидетелем и участником которых тот был, а потом, улучив момент, спросил напрямик:

— Когда, земляк, намерен бежать?..

Афанасий смутился. Хотел было ответить, но внезапно закашлялся, видимо, что-то заточило в горле.

Андрей весело сказал:

— Все ясно. Собирайся. Я помогу!.. — и, поглядывая через плечо на маячившую в морозной дымке сторожевую вышку, где зябко кутался в овчинный тулуп охранник, торопливо начал давать советы, как будто Чумаков собрался бежать немедленно, прямо из затопа: — Бери в дорогу побольше сухарей. У чалдонов раздобудь сала или солонины из сохатины. На ноги надобно достать легкую, но теплую обувку — скажем, ичиги, а нет — унты... Я договорюсь с охотниками, чтобы они помогли тебе выбраться из тайги...

Чумаков, не дослушав Куклина, с досадой перебил:

— Постой, погоди, советчик! Об чем толкуешь?.. Сам в бегах чуть не сгинул, без ноги остался, а теперь меня на погибель пихаешь...

— На погибель?! — с гневной обидой переспросил Андрей, возмущенный недоверием. Но тут же спохватился: обижаться-то, собственно, не на кого, да и не за что. Сам виноват. Не давая волю обиде, возразил сдержанно: — Нет, гвардеец, никто тебя на погибель не толкает... А насчет моего неудачного побега ты правильно рассудил. Сплоховал я тогда, не все продумал и рассчитал. — На губах Андрея возникла и тотчас исчезла чуть виноватая улыбка. — Очень уж я торопился в родные края. Там мы нужнее... — И вдруг, сорвавшись с места, гремя деревянной ногой по гулкой палубе поставленного на прикол буксира, на котором они уединились, сердито затопал вокруг Чумакова: — Ты на мою ногу не смотри. Дай немного очухаться — все равно убегу!..

Решимость и непреклонность Андрея вызвали у Афанасия невольное уважение. И ему стало как-то неловко за свое недоверие к этому смелому человеку.

— Ты, браток, не подумай про меня дурное. Я не супротив побега. Только, признаться, бежать мне некуда.

— Как — некуда? А в Питер?.. Там у тебя в полку кто-нибудь остался?.. Нет?.. Гм-м... Жаль... Ну тогда пыхни в наши края, в Ростов!..

— И в Ростове у меня никого нету. Я больше по степям скитался... Разве в экономии коннозаводчиков податься?.. — раздумчиво произнес Чумаков, гоняя на скулах упругие желваки. — Может, с Митькой Букреевым доведется повстречаться. В степях хоть и много простора, но узкую дорожку, где нельзя разминуться с лютым злодеем, найти можно. И я ее, клянусь богом, найду! Обязательно найду!.. — пообещал Афанасий, туго сжимая тяжелые кулаки.

— А зачем тебе узкая дорожка? — насторожился Андрей. Он уже знал, что Афанасий когда-то батрачил у коннозаводчиков братьев Букреевых и что там, в экономии, случилась с ним и его возлюбленной девушкой Настей большая беда. Эту беду Андрей принял близко к сердцу, как собственную боль, и разделил их горе. Но сейчас усмотрел в намерениях Афанасия что-то неладное.

— Зачем, я спрашиваю, нужна тебе узкая дорожка? Чтобы с Букреевым один на один встретиться и расправу над ним учинить, а?.. Не-ет, гвардеец, заради этого не стоит рисковать. Теперь народ к революции по широкой дороге тронулся, а ты на узкую тропку норовишь... — Андрей осуждающе поглядел на помрачневшего Афанасия, потом кинул взор па заснеженную пойму затона, горько усмехнулся: — Даже тут вон какой широченный шлях мы протоптали...

Афанасий исподлобья посмотрел на уходившую от затона в морозную мглу дорогу, молча перевел глаза на прибрежный утес, у подножия которого круто изгибалась река. Чуть ниже, за поворотом, встретившись с мелководной, но стремительной Киренгой, Лена властно раздвигала дебри дремучей тайги, оставляя между плесами, перекатами и заводями крохотные островки. На одном из них в тесной близости разместились городишко и огромный, как древняя крепость, острог, обнесенный плотным частоколом из высоченного мачтового сосняка. Туда-то и вела из затона по снежной глади широкая, до ледяной тверди протоптанная дорога.

— Владимирка тоже широка, да черт ей рад! — проворчал Афанасий и с досадой — к Куклину: — Я не пойму тебя, Андрей. Бежать, говоришь, надобно, а сам боишься, ежели я там встренусь где-нибудь на узкой стежке с Букреевым и душу из него невзначай вытряхну. Может, прикажешь в обнимку к нему кинуться али в маковку поцеловать?..

— Зачем же такие нежности? — рассмеялся Андрей. — Можно и без этого. А вот в одиночку узкую дорожку искать — не дело революционера-большевика. Надо...

Куклин не успел договорить. Их заметил старший конвойный и хрипло окликнул:

— Эй, на буксире! Кто там прохлаждается?! Ишь, черт, куда их занес!.. Ну-ка, марш по своим местам!..

Гремя по скользкому трапу, Андрей огрызнулся:

— Не ори, ваше благородие! Глотку простудишь!.. — и тихо Афанасию: — О твоей загадке, гвардеец, и кое о чем другом мы еще потолкуем...

Бежать Чумаков решил не зимой, а весной. Добираться легче — «каждый кустик ночевать пустит». Начал готовиться исподволь. Андрей всячески помогал ему. К исходу апреля уже можно было бежать, но сибирская зима, казалось, не имела ни конца ни края. И все же наступил желанный момент.

Весна нагрянула внезапно и бурно, без преждевременных оттепелей. За короткое время исчезли мощные навалы рыхлого снега, потянулись к солнцу белые подснежники и фиолетовые кандыки. Неудержимо хлынули в низины вешние потоки. Набухла, тяжко вздулась закованная льдами река, томительно ожидая своего освобождения. И вдруг она охнула, застонала, как роженица, и, яростно ломая толщу ледовой тяжести, рванулась из берегов, затопляя таежные низины пойм. Ворочая и кроша голубые глыбы, со скрежетом и стеклянным звоном загромыхал ледоход. Вскоре разбушевавшаяся река притихла умиротворенно, по-матерински ласково зашептала шуршащей шугой о чем-то своем, вечном и мудром...

Вслед за шугой вышли из затона на фарватер реки готовые к навигации пароходы, баржи и карбасы. Один из легких буксиров, «Таежник», поспешно отправился вверх по Лене, торопясь добраться по большой воде до мелководья — Жигалова и Качуга, чтобы успеть отбуксировать на Витим, в Бодайбо, еще осенью осевшие на перекатах шаланды с грузами для золотых приисков.

В трюме «Таежника» тайком уезжал бежавший из киренского острога Афанасий Чумаков. За день до этого Андрей Куклин в последний раз напутствовал своего земляка:

— Ну, гвардеец, ни пуха тебе, ни пера!.. Ребята на буксире надежные, подскажут, где высадиться. Отправишься тайгой — обходи подальше кордоны и всякие разные заставы. В Иркутске найди на вокзале стрелочника Кешу Унжакова. Он поможет. Возможно, устроит на паровоз кочегаром, а там сам смекай, как добраться к батюшке тихому Дону. Поклонись ему, родимому, от меня до самой земли... — Андрей вздохнул, почему-то поспешно отвернулся, с минуту помолчал и уже приохрипшим голосом продолжал: — В свои степя сразу не ходи и на Букреева один руку не подымай. Не раз уж толковали о том. Надо гуртом орудовать, чтобы одолеть и Букреева, и Пишванова, и Королькова, и всех других аспидов. Понял?.. А поначалу остановись в Ростове. Ступай прямо на Гниловскую, сорок семь, во дворе. Мама, брат и сестренка примут тебя, как родного. Я им писал... Обязательно свяжись с Донкомом. Братуха Николай поможет...

А еще...— Лицо и уши у Андрея вдруг зарозовели.— А еще... передай вот это письмецо Кларе... Помнишь, я тебе рассказывал? Сестренка моего товарища. Очень славная девушка и хороший товарищ. Мы с ней... Ну как тебе сказать... Она собиралась после гимназии сюда прикатить... Жены декабристов, говорит, не побоялись сибирских морозов, а нам... — Голос Андрея внезапно осекся, и он, помолчав, тихо добавил: — О своей беде я, признаться, ничего пока не писал. Но теперь она должна знать все. Обязательно передай это письмо. А на словах скажи, что я сам отсюда скоро убегу!..

В родные края Чумаков прибыл не летом, как рассчитывали с Андреем, а осенью. И хотя повсюду на Дону уже хозяйничал зябкий ветер, Афанасий после сибирской стужи не почувствовал здесь холодного дыхания осени.

ГЛАВА VIII

В первый же день в Ростове Афанасий Чумаков пошел искать Гниловскую улицу и дом, где жила семья Куклина. Обросший, перепачканный мазутом и паровозной копотью, одетый в короткий и узкий, с чужого плеча, зипун с многочисленными заплатами, Афанасий был похож на босяка. Он не стал переодеваться и приводить себя в порядок. Ростов — портовый город и железнодорожный узел — всегда был переполнен бродягами, ищущими работу, нищими и ворами. Среди них Чумаков в таком одеянии мог легко затеряться.

На стук в дверь ветхого деревянного домика, стоявшего в глубине двора, выскочила на крылечко с резными наличниками худенькая девочка-подросток, чем-то похожая на Андрея Куклина. Афанасий догадался: сестренка. Взглянув на Чумакова, она невольно попятилась, хотела было захлопнуть дверь, но передумала и вдруг воинственно набросилась на оборванца:

— Такой верзила, а христорадничаешь... Ступай лучше на пристань или вокзал, там ежели не заработаешь, то хоть украдешь!..

Афанасий не ждал такого приема, но не обиделся.

— Вон какая у Андрейки храбрая сестренка!.. — невольно вырвалось у него.

Девочка испуганно взглянула на Афанасия и прошептала:

— Какой Андрейка?..

— Да твой братушка Андрей Куклин... Я от него поклон привез и еще кое-что...

Девочка ахнула, закрыла лицо руками и бросилась в дом. Смеясь и плача, отчаянно закричала:

— Ой, мамка! Мама!.. Скорей сюда! От Андрейки человек пришел!..

— Ох, господи, да чего ты там с ума сходишь?.. — послышался в доме ворчливый женский голос. Потом, как видно, женщина поняла, почему кричит ошалевшая девчонка, сама ойкнула и заголосила, но тут же спохватилась: — Да где же этот человек? Чего ты там его бросила?.. Зови сюда!..

Низко пригнувшись, боясь задеть головой потолочную балку, вошел в прихожую Чумаков. Поспешно стянул картуз, поздоровался. Стоявшая посреди комнаты пожилая женщина с прижатыми к груди сухими кулачками кивнула седой головою, напряженно и выжидательно всматриваясь в незнакомого гостя.

— Чумаков я... — смущенно представился Афанасий. — Поклон от Андрея Сергеевича...

Он не успел договорить. Визг, крик, смех и плач снова заглушили все.

— Ой, мамка!.. Я догадалась!.. Это же дядя Афоня!.. Гвардеец!.. Что в людей отказался стрелять в Питере!.. Помните, Андрейка писал о нем... — сразу выпалила все сероглазая отчаянная девчонка. — А я-то, дура, выгнать его хотела... — И она, застеснявшись, убежала в соседнюю комнату.

Женщина мелкими шажками приблизилась к Афанасию и молча припала к плечу гостя. Потом усадила на скрипнувшую скамейку, сама села рядом, вытерла глаза и, виновато улыбаясь, попросила:

— Ты уж, сынок, не серчай на нее, глупую да неразумную...

— За что же серчать?.. Она у вас молодец — смелая и боевая!

— Ох не говори... Беда мне с ней. Совсем сладу нету. Всюду суется, куда не просят. — Мать махнула рукой на притихшую дочку, любопытным зверьком выглядывающую из-за двери, и чуть слышно попросила: — А теперь, сынок, рассказывай о жизни вашей каторжной... — Она всхлипнула, но с усилием перемогла себя: — Как там Андрейка?..

Афанасий заранее продумал, о чем будет говорить матери Куклина. Он помнил просьбу Андрея: «Брату расскажи

все как есть, а маме и сестренке Надюшке — ни слова о моей беде... Да и вообще, не очень слезу пущай... Скажи, что, мол, холодновато малость и все прочее, но жить можно, только домой тянет...»

Вот в таком духе и стал рассказывать Афанасий о жизни каторжан. Особенно удачно у него получилось об охоте на медведя. Любопытная Надюшка так была охвачена охотничьим азартом, так ей захотелось самой побыть на охоте и увидеть страшенного медведя, на которого сибиряки ходят с рогатиной, что она даже пожалела, почему не оказалась в Сибири. Но не обманул бодрый рассказ Афанасия сердце матери. Оно учуяло какую-то недомолвку, скрытую тревогу, когда шла речь о здоровье Андрея. Да и не мог Андрейка добровольно остаться на каторге, если была возможность бежать. Он не вытерпел бы и сам первый пошел «в разведку», как сказал гвардеец о своем побеге. Но эти сомнения мать не стала высказывать гостю.

Между тем Афанасий доставал из грязного, затасканного мешка гостинцы, присланные сыном из Сибири. Пару теплых пушистых рукавичек на беличьем меху Афанасий вручил Евдокии Филатовне. В одной из них оказалась маленькая записочка, написанная рукой Андрея:

«Мама, это тебе подарок от моего друга-охотника тунгуса из Ербогачёна».

Сестренке передал целую пригоршню сибирских орешков, похожих на россыпь коралловых бус, и три крупные кедровые шишки, пахнущие таежной свежестью, сладковатой прелью и душистой хвойной смолой. Надюшка чуть не задохнулась от восторга и диковинного аромата тайги.

Вскоре пришел шумный и веселый мастеровой, тоже похожий на Андрея Куклина, только помоложе и пошире в плечах. Взглянув с порога на Чумакова, поднявшегося ему навстречу, догадался:

— Афоня?!

— Так точно... А ты — Николай?..

— Он самый...

Они, как старые друзья, по-мужски обнялись, в упор разглядывая друг друга.

— Вовремя ты прибыл. У нас все бастуют. Да не только у нас, в Ростове, но во всех городах Дона, даже в Новочеркасске. Позарез нужны люди военные, знающие, как обращаться со всяким разным оружием...

— Постой, погоди, торопыга! — перебила сына Евдокия Филатовна. — Дай человеку опомниться с дороги... Да и баснями соловья не кормят... Надежда, возьми ковш, полей

гостю на руки!.. Рушник чистый из комода достань!.. — И мать, гремя посудой, стала собирать на стол.

Николай спешно куда-то смотался, принес чекушку водки, с досадой проворчал:

— Жмот проклятый, большую в кредит не дал... А надо же за благополучное прибытие Афони да за здоровье Андрейки...

Мать усмехнулась, одобрительно кивнула головой и молча достала из горки три граненые рюмки. Надюшка усмотрела в этом непорядок. Поставила на стол четвертую, коротко пояснила:

— Я уж не маленькая...

Афанасий поспешно начал рыться в мешке. На стол грохнул твердый, как булыжник, кусок солонины.

— Это из Сибири, сохатина.

— Сохатина? — недоуменно переспросила Надюшка.

— Да, там оленей сохатыми зовут.

Евдокия Филатовна с любопытством осмотрела закаменевший кусок, взвесила на руке и, тщательно помыв в двух водах, погрузила в кастрюлю с кипятком.

Сохатина оказалась вкусным блюдом. Особенно расхваливала ее Надюшка, с хрустом дробя молодыми зубами солонину.

— Да-а, браток, приходится радоваться и такой «выдержанной» дичи, — усмехнулся Николай и тут же посуровел: — У нас нынче с мясом да хлебом насущным скверно получается. Народ бастует, жалованья не получает, а торгаши-лавочники в долг не хотят давать. В Донкоме ломали голову, прикидывали и так и сяк, а потом порешили... — Николай недоговорил. Взглянув на сестренку, умолк. — Ну да ладно, о делах опосля потолкуем... Давай, браток, по последней, чтобы дома не журились... Да, как у тебя-то с семьей? Где и кто гвардейца дожидается?..

Афанасий будто не слышал вопроса. Только зазвенела под ногами смахнутая дрогнувшей рукой рюмка.

Надюшка ахнула и кинулась подбирать склянки:

— Это даже хорошо. На счастье!..

Мать тревожно посмотрела на Афанасия. В его затуманенном взгляде были тоска и боль.

— Что, сынок, случилось? Какая-нибудь беда дома?..

Афанасий ответил тихо:

— Да нет, все в порядке... Только нету у меня ни дома, ни хаты, а Настенька — жена моя, у своих родителей проживает. Ничего про них я не знаю, и они, наверное, не ведают, куда я запропастился. Может, поминки уже по мне

справили?.. — невесело усмехнулся Афанасий, но тут же сам себе возразил: — Нет, Настенька все равно ждет меня, хоть обо мне давным-давно ни слуху ни духу... Теперь нагряну к ним как снег на голову...

— Вот радости-то будет! — весело подхватила Надюшка.

Но мать строго упредила:

— Не скаль зря зубы! Дай сурьезно потолковать с человеком.

В разговор вмешался Николай:

— Тебе, Афоня, сейчас подаваться домой рискованно. Можешь на карателей нарваться. Ведь тебя ж наверняка там ищут. Надо прежде хорошенько разузнать, как там и что... Ну а пока поживи у нас. Немного отдохни, осмотрись, с нашими людьми обзнакомься. Потом дело нужное найдем... Какое?.. Э-э, братушка, не все сразу... — улыбнулся Николай.

Обстоятельный и откровенный разговор между Николаем и Афанасием произошел позже, вечером, с глазу на глаз.

Особенно огорчила Куклина весть о несчастье, постигшем брата в Сибири.

— Да-а, на костылях не так-то легко выбраться из тех мест... — вздохнул Николай. Помолчав, убежденно, с гордостью произнес: — Но Андрейка у нас упрямый как черт!.. Все равно сбежит!.. Ох как бы он сейчас здесь пригодился!.. Да и вообще нам позарез нужны боевые товарищи. И ты, Афоня, очень кстати прибыл в наши края. Сам, наверно, уже увидал, какая на Дону заварилась каша? Нелегко ее расхлебать. Тут и забастовку нужно поддержать, и политическую демонстрацию или митинг, а особенно нужно... — Николай настороженно посмотрел на прикрытую дверь соседней комнаты, где улеглись спать сестренка с матерью, доверительно зашептал: — Особенно нужно как следует подготовить на Дону боевые дружины... Дело идет к вооруженному восстанию!.. Понял?

Проникнувшись доверием к Афанасию, Куклин рассказал, что в Ростове уже создана боевая дружина, она разбита на небольшие отряды-десятки... Возглавляет дружину штаб, куда вошли известные на Дону большевики: Бутягин (Макс) — начальник штаба, Васильченко, Собино, дружок Николая — токарь завода «Аксай» Войтенко и матрос Черноморского флота Хижняков (Бекас). Не без гордости Куклин сообщил, что он является начальником одного из боевых отрядов дружины. Его ребята уже добыли оружие: две винтовки, револьвер, три охотничьих ружья, полицейскую саблю, два кинжала и боевую казачью пику. Позавчера зна-

комый служащий оружейного магазина пообещал достать еще кое-какое огнестрельное оружие. Особой гордостью дружины были бомбисты во главе с Собино. Они уже наловчились сами делать бомбы.

Общей подготовкой вооруженного восстания руководит Донком РСДРП. Однако дело осложняется тем, что между комитетчиками возникли резкие разногласия. Большевики Бударин, Кочемов и Рейзман (Пролетарий) настаивают на вооруженном восстании, а меньшевики, особенно Гурвич, Розанов (Дьяконов) и Швейцер, не советуют браться за оружие, а мирно добиваться созыва Учредительного собрания.

— Вот такая, брат, неразбериха получается... — Куклин чертыхнулся, вздохнул: — Ну ничего, мы духом не падаем. Покуда суд да дело, а мы отряды готовим!..

В конце затянувшегося разговора Чумаков извлек из потайного кармана письмо.

— А вот это надо вручить Кларе. От Андрея. Окромя того, он просил передать ей на словах один дюже важный секрет... — Афанасий улыбнулся.

— Кому?.. Кларе?.. — Николай помрачнел. Взглянув на застывшую улыбку Чумакова, жестко и печально произнес: — Поздно, браток... Ничего нельзя сейчас ни передать ей, ни вручить... Нету Клары... На прошлой неделе все мы пошли на приступ ростовской тюрьмы. Вместе с нами была Клара... А тут полиция, казаки... Кто-то передал ей знамя. Она кинулась вперед. Но казак-каратель сбил ее конем, а потом, как былинку, шашкой срезал... Брат едва успел ее на руки подхватить... мертвую.

Последнюю фразу Николай произнес очень тихо, почти шепотом. Афанасий почувствовал невероятную тяжесть. Бережно, как что-то хрупкое, положил он на стол помятый конверт, разгладил и легонько придавил ладонью.

После скорбного молчания Куклин нерешительно предложил:

— Может, это письмо передать ее брату, Самсону?.. Да и секрет, какой ты привез, доверить ему. Он парень надежный. Вместе с нами в железнодорожных мастерских слесарил, а теперь член Донкома, большевик... Назло всем нашим врагам взял кличку — Пролетарий!..

— Я знаю. Мне о нем рассказывал Андрей... А как же мы с ним встретимся?

Николай пообещал их познакомить.

...Уже на другой день он сообщил:

— Самсону о тебе доложил. Очень обрадовался. Хочет повидаться, но просит подождать. Занят он сейчас под за-

вязку. Собирается срочно выехать в Новочеркасск. Там готовится первая в истории столицы донского казачества политическая демонстрация... Промежду прочим, и я вместе с ним отправляюсь со своим отрядом боевой дружины. Надо поддержать местных социал-демократов...

— Вот и меня возьмите!..

— Тебя? — удивился Николай. — А ведь верно! Я почему-то и не подумал... Едем!.. — И тут же выразил сомнение: — Боюсь, как бы Самсон не стал возражать... Он говорит, чтобы ты сейчас пока отдыхал, приводил себя в порядок да кое-что почитал. Перво-наперво, говорит, надо изучить книжку Ленина «К деревенской бедноте» и прокламацию ЦК РСДРП «Крестьяне, к вам наше слово». Это пригодится. Скоро, говорит, букреевского работника и некоторых других товарищей в Сальскую степь отправим. Там очень нужны наши люди. Понял?..

— Чего ж тут не понять... — улыбнулся Афанасий. — Стало быть, скоро с Настенькой повидаюсь... — Но тут же, согнав с бородатого лица улыбку, озабоченно спросил: — Что же мы там будем делать?..

— Что делать?.. А вот то, что в книжках да прокламациях прописано. Окромя того, хлеб и другую снедь добывать...

— Как — добывать? И зачем?..

— Эх, мил человек... — вздохнул Николай. — Разве ты не заметил, что мы вчера и нынче за столом жевали?.. Только и было радости, когда твою задубевшую сохатину мусолили... А мама, ты слышишь, мама даже куска хлеба себе не оставила. Была довольна тем, что крошки сгребла в ладонь со стола да в рот кинула... Я, правда, поначалу не заметил. Но когда Надюшка всхлипнула, оставила́ свой кусок и изза стола выскочила, у меня в горле все комом стало... Ты извини, что я об этом говорю... Но такое не только у нас. Все забастовщики живут впроголодь... Вот потому Донком и поручил «крестьянской группе» послать людей в Придонье... Надо всеобщую забастовку куском хлеба поддержать. Теперь-то понял?..

— Опять нет... — угрюмо вымолвил Афанасий. — Выходит, мы должны христарадничать?.. Как старцы с сумкою, ходить по дворам?

— Зачем же?.. Вот, к примеру, я — слесарь, ты — кузнец. С железками управляться умеем. Возьмем листовой жести и отправимся по хуторам и станицам чинить всякую разную домашнюю утварь. Другие пойдут точильщиками, лудильщиками или, скажем, какими-нибудь коробейниками.

за работу и выручку будем брать только продуктами и отправлять в Ростов...

Куклин в «крестьянской группе» Донкома выяспил, в каких селах, хуторах и станицах Сальской степи созданы подпольные кружки социал-демократов, чтобы установить с ними связь. Каково же было удивление и радость Чумакова, когда он узнал, что в Мечетинской станице такой кружок возглавляет местный кузнец Булатов.

— Вот здорово!.. Да это же, наверно, дядя Корней!.. Он заместо родного отца для меня был!.. Давай, Никола, начнем с Мечетки, а?..

В тот же день Николай Куклин откуда-то приволок рулон оцинкованной жести, подобрал нужный инструмент, а вечером принес паспорт и вручил Чумакову:

— На, держи!.. Теперь ты уже не беглый каторжник... Может, завтра в Новочеркасске пригодится...

ГЛАВА IX

По совету брата Дмитрий Букреев решил отправиться за границу, рассеяться и отдохнуть. Долго он колесил по живописным местам Северной Италии, побывал в Германии, посетил Францию, но нигде не нашел утешения. Слухи из России, самые невероятные и тревожные, повсюду преследовали его. Особенно беспокоили и приводили в смятение вести о поражении русских войск в войне с Японией и о массовых беспорядках в Петербурге, Москве, Ростове и других городах России. Сообщения эти не сходили со страниц всей европейской печати. Дмитрий искал в газетах ответ на свои недоуменные вопросы. Но не так-то легко было разобраться в путанице мнений. Если, скажем, «Шлезвигская газета», с раздражением извещая о беспорядках в России, требовала решительной расправы с бунтовщиками, то более степенная «Темпс» считала одним из главных средств успокоения широкое изменение в составе администрации. Ее петербургский корреспондент назидательно поучал: «Графу Витте необходимо предоставить полную свободу действий против членов администрации, олицетворяющих старый порядок...»

Это мнение рьяно оспаривал политический обозреватель «Petit jornal»: «Нет, не либеральное правительство спасет Россию, а твердая рука монарха. Вспомните, господа, трагическую историю нашей прекрасной Франции. Не будь верноподданного Версаля, решительно вставшего против вандалов, не сгинул бы с лица земли мятежный Париж... Русским нужен свой Версаль!»

«Вот и пойми ихнего брата, мосье. Всяк по-своему с ума

сходит... — угрюмо размышлял Букреев, с досадой отбросив прочь измятые газеты. — Каждый норовит в мудрые советчики попасть. Какой, спрашивается, нам нужен Версаль? У нас есть Новочеркасск — столица донского казачества! Войсковой наказной атаман похлеще вашего Тьера наведет должный порядок в России!» Но тут же бодрость духа сменялась у Букреева навязчивым беспокойством. И, только отдав дань Парижу, щедрому на развлечения, Дмитрий немного забылся, на время унял тревогу за судьбу России, заглушил горечь личных неудач и просчетов.

Веря в силу русского оружия, Дмитрий никак не мог разобраться в причинах поражения русской армии в Маньчжурии, хотя об этом много и разное писали газеты. Внимание Букреева привлекло одно тревожное сообщение: в высших сферах верховного командования русской армии возникли серьезные распри, приведшие к разрыву между генералами Куропаткиным и Гриппенбергом.

После первых неудач в Маньчжурии главнокомандующий генерал-лейтенант Куропаткин потребовал от всех командиров отдельных частей и соединений подробный отчет о своих действиях. Этот приказ относился и к командующему 2-й маньчжурской армией генерал-адъютанту Гриппенбергу. Но честолюбивый и надменный царедворец почувствовал себя уязвленным. В кратком донесении он наотрез отказался представить требуемый отчет, высокомерно заявив, что всю ответственность принимает на себя и сейчас же отправляется в Петербург, где лично доложит обо всем его императорскому величеству. Куропаткин усмотрел что-то недоброе в намерениях «придворного шаркуна» и невольно оробел. В ответном письме с преднамеренной светской учтивостью выразил желание встретиться с его высокопревосходительством. Но Гриппенберг бесцеремонно отклонил приглашение главнокомандующего. Это серьезно озадачило Куропаткина. Подавив раздражение, он собственноручно, не прибегая к услугам адъютанта, написал Гриппенбергу еще шесть очень ласковых записок, в которых настоятельно приглашал строптивого генерала в главную квартиру. Однако ответа на них не получил.

Куропаткин попытался переговорить с генерал-адъютантом по телефону, но проводная связь с позициями Гриппенберга оказалась прерванной. Возмущенный главнокомандующий всю свою злость и негодование обрушил на повинную голову начальника связи. И когда тот наконец доложил, что Гриппенберг у аппарата, в телефонной трубке послышался какой-то невнятный шепот, хрип и кашель, а потом

после долгого молчания кто-то — видимо, ординарец — сообщил, что их высокопревосходительство болен горлом и не может разговаривать.

Пока главнокомандующий ломал голову над тем, как все-таки принудить непокорного подчиненного выполнить приказание, Гриппенберг тем временем успел получить разрешение из Петербурга и вскоре уведомил главную квартиру о своем отъезде.

Куропаткин с досадой и горечью понял, что верноподданный русскому престолу Гриппенберг на этот раз обскакал его и теперь, как видно, пошел ва-банк. И он, главнокомандующий, несмотря на свое высокое положение, может стать жертвой придворных интриг. Надо было принимать срочные меры. Но какие?.. Долго не раздумывая, не считаясь с престижем и самолюбием, решил сам выехать в Мукден на встречу с Гриппенбергом. А тот, узнав от своих агентов о намерении Куропаткина, лукаво усмехнулся и, не доезжая до Мукдена, сошел с поезда. Только поздно вечером, когда главнокомандующий после напрасного ожидания выехал обратно в главную квартиру, Гриппенберг прибыл в Мукден, а оттуда, не задерживаясь, в особом поезде продолжил путь в Петербург...

Вскоре тайно и открыто поползли слухи, что в ближайшее время ожидается отзыв Куропаткина. На его место якобы назначается временный заместитель главнокомандующего генерал Линевич. А в европейской печати появились сообщения о предстоящем отъезде на театр военных действий опытного русского генерала, военного писателя и теоретика Михаила Ивановича Драгомирова. Туда же направлялся и генерал Сухомлинов.

Кое-кто усматривал в этом готовность России продолжать войну до победного конца. Другие, ссылаясь на серьезные неудачи русских, причину поражения находили не только в раздоре генералов, но и кое в чем другом, более важном и значительном. Они-то и утверждали, что ожидать русским победы нет никаких оснований.

Возвратился Букреев в родные места раньше намеченного срока, но домой попал не сразу. Задержался в Новочеркасске. Прибыл он сюда поздно ночью. Еще издали увидел в окно вагона на крутом овражистом взгорье тускло освещенный редкими уличными фонарями спящий город. На самом бугре сказочной крепостной башней чернела громада войскового собора. Там же, на площади, стоял бронзовый Ермак, закованный в тяжелую броню кольчуги, с короной Сибирского царства на вытянутой руке,

— Вот он, наш Версаль, донская твердыня!.. — восторженно прошептал Букреев, вглядываясь в ночную панораму города.

Но еще на вокзале он обратил внимание на усиленный наряд полиции. А по Крещенскому спуску и другим улицам разъезжали вооруженные казачьи патрули. Из-за широкой спины извозчика Букреев видел, как, покачиваясь, проплывали черные силуэты всадников, рассыпались по булыжной мостовой искры. Слышался цокот копыт, иногда раздавался чей-то требовательный окрик: «Стой! Кто идет?!» И тотчас — топот бегущих ног. Букреев насторожился. Кажется, и в «донском Версале» было неспокойно.

Остаток ночи Букреев провел в гостинице. Но спал плохо, тревожно. Всякий раз, когда за окном слышался приближающийся цокот копыт, он суетливо вскакивал с постели и, отдернув портьеру, напряженно вглядывался в темноту. Растирая ладонью пухлую грудь, он тщетно пытался унять торопливый перестук сердца. Почти до самого рассвета терзала Дмитрия проклятая бессонница.

Утром Букреев вызвал к себе заспанного швейцара, потребовал свежих газет. Тот что-то невнятно промычал, озабоченно потеребил бороду, буркнул «Слушаюсь», но принес «Донскую речь», «Донские областные ведомости» и «Приазовский край» почти недельной давности. Букреев с раздражением отбросил в сторону газеты:

— Тебе сказано — свежих, самых свежих!..

Швейцар пожал плечами:

— Виноват-с... Но свежих газет нету...

— Как так?

— Типографские забастовали. Вот и нету газет...

— Не может быть, — растерянно забормотал Букреев. — Ведь это ж под носом у самого наказного!..

— Так точно-с, — подтвердил швейцар. — Но сперва забастовали в Ростове, потом уж — наши железнодорожники, за ними потянулись мастеровые Фаслера, рабочие господ заводчиков Отто и Мининкова, а вместе с ними — типографские.

У Букреева заныло в груди, и он почувствовал легкое удушье. Швейцар не понял состояния Букреева и услужливо продолжал:

— А еще я вам доложу, вчера как сговорились! Зачали куролесить во всех гимназиях, в реальном и... — швейцар позволил себе презрительно фыркнуть, — и даже в духовной семинарии и в епархиальном училище!..

Букреев, слушая швейцара, с тревогой думал о своем:

«Боже мой!.. Если здесь такое началось, то что же теперь там, у нас в экономии?.. Снова разбой!..»

Оставшись наедине с собой, Дмитрий расслабленно откинулся на подушку, вытер со лба пот и прикрыл влажной ладонью глаза. Минуту пролежал в полном изнеможении.

«Бо-ом-м!..» — вдруг заблаговестил гулким басом большой соборный колокол. Вслед за ним разноголосо и дробно заторопились колокола многочисленных городских церквей и церквушек.

Букреев встрепенулся.

— Благослови меня господи!.. — прошептал Дмитрий, крестясь и вздыхая. И тут же поспешно стал одеваться. Надо было попасть к обедне в собор.

За квартал до площади, где высился собор с ярко горевшими на солнце золотыми куполами, извозчик натянул вожжи, повернулся к Букрееву:

— Барин, дальше ехать нет никакой возможности...

Действительно, вся улица — и широкие, строго выложенные плоскими плитами дикого камня тротуары, и желтый, нарядно присыпанный дробленым ракушечником бульвар, и булыжная мостовая — была запружена толпами идущих к собору горожан. Будто на крестный ход поднялся весь город.

Остановив извозчика, Букреев втиснулся в толпу и стал пробиваться к собору. Тут он услышал что-то невероятное. В шумной разноголосой толпе только и говорили о каком-то манифесте, о дарованной царем свободе... Какой свободе?.. Кому?.. Разное тут слышал Букреев. Одни радовались, поздравляли друг друга, кое-кто горестно вздыхал, а самые отчаянные чертыхались, поносили этот манифест.

— На какой черт нам нужна такая свобода?! — возмущался кто-то за спиной Букреева. — Я вон ныне спозаранку был на Старом базаре. Торговец Норкин выволок из лавки два ящика казенки и орет: «Господа! Всем нам царь-батюшка пожаловал свободу! На радостях и обмыть ее, сердешную, не грех!.. Эй, рвань базарная: попрошайки, воры и пьяницы — все, кто за рюмкой тянется!.. Ха-ха!.. Пей надурняк!.. Я угощаю!.. Пей, говорю, и морду любому бей, ежели охота!.. Никто тебе не указ. Ты теперь свободный!..» Кинулась к нему босятва, перепились, а потом и в самом деле драку учинили. Норкин же стоит на приступках лавки, трясется от смеха и подуськивает: «Зря, дурачье, сами себя мутузите. Христопродавцев-бунтовщиков надо бить!

Они супротив нашего благодетеля царя-батюшки!..» И сам кивает на какого-то мастерового, случайно оказавшегося поблизости. Одуревшие от перепоя босяки набросились на того и чуть до смерти не затоптали в землю ни в чем не повинного человека... Вот тебе и свобода!..

— А где же была полиция?..

— Полиция?.. Да тут же и была. Только морду воротила в сторону, вроде ничего не видит...

— Господа, господа!.. Это недоразумение!.. — вмешался чей-то взволнованный баритон. — Царь пожаловал нам свободу совести, свободу слова и братского общения, свободу любви и служения отечеству!..

— Вот-вот... Любовь! Свобода! Братство!.. Все это трепотня, ваше благородие!.. — зло перебил тот же возмущенный голос. — Кто, я спрашиваю, вздумал нам давать эту самую свободу, а?.. Усмиритель и душегуб!..

— Да как вы, сударь, смеете о помазаннике божьем так кощунственно отзываться?!

— А чего мне не сметь, ежели я правду говорю?.. Забыли разве Кровавое воскресенье?! А сколько по ихней царской милости наш брат голов положил в трижды клятой Маньчжурии?.. Там, к слову сказать, и моя правая рука где-то в сопках осталась, а вот в этом пустом рукаве доси в локте ноет...

— Ты зря, служивый, на свою судьбу плачешься. Благодари бога, что живым домой ноги приволок... — добродушно кто-то укорил солдата.

— Я-то рад благодарить господа бога, да вот беда — лоб перекрестить нечем, а левой — грех.

— Ну, брат, в самом деле твои дела плохи. Чем же ты сейчас будешь на молебне за царя-батюшку молиться?.. Выходит, зря прешься к собору...

— Как — зря?.. Кто-нибудь заместо меня рукой будет махать, а я словами вспоминать бога, царя и его матушку... Попрошу, скажем, вот этого господина... Мы ить теперь свободные братья... Неужто откажете, ваше благородие?.. А?..

Над толпой грохнул хохот, и тут же послышались возмущенные выкрики, брань.

Букреев, вплотную притиснутый к солдату — смутьяну и богохульнику, задыхаясь от бешенства, дернулся в сторону, пытаясь вырваться из толпы, но она неумолимо влекла его дальше...

На Соборную площадь со всех сторон шумно вливались людские потоки. Столкнувшись, они бурливо растекались и коловертью ходили по обширной площади.

В один из таких потоков попал и Букреев. Вначале его понесло к правому крылу собора. Потом вдруг потянуло на восточный край площади, к решетчатой ограде крохотного свечного завода. Встречная, более мощная струя оттеснила его в сторону, завертела, протащила мимо чугунных цепей парапета у подножия бронзового Ермака и вытолкнула наконец к широким каменным ступеням собора. Работая локтями, задыхаясь от усилий, Букреев с трудом вырвался из толпы, поднялся на паперть. Измятый, истерзанный, он даже забыл своевременно обнажить голову и перекреститься. Спохватился только на пороге настежь распахнутой двери. Сорвав с головы шляпу, Дмитрий торопливо поднес к вспотевшему лбу щепотью сложенные пальцы.

В храме шло богослужение. Под высокими сводами гулко, как в пустой бочке, гремел голос протодьякона, слышалось старческое бормотание священника. В притворе шум, беспокойная возня, тревожный полушепот:

— Ох, господи, грех-то какой!.. Гульбище устроили у самого господнего храма...

— Какое гульбище?.. Тут беспорядками пахнет!..

— Гля, гля, братцы, чего там вытворяют, окаянные!..

Букреев оглянулся. С высоты паперти он увидел то, чего не мог заметить внизу, в потоке толпы.

На взлобке площади сгрудилась шумная ватага молодежи — студентов и учащихся старших классов. Высокий длиннорукий гимназист, поднятый на плечи товарищей, ломким, срывающимся от волнения голосом возвещал:

— «Буря! Скоро грянет буря!..»

Юношеские голоса вразнобой, но задорно и весело подхватили:

— «Пусть сильнее грянет буря!..»

А в это время у сквера, с юга примыкавшего к площади, кто-то из мастеровых забрался на решетку ограды и, придерживаясь за упругую ветку пожелтевшего клена, обратился к собравшимся:

— Товарищи!.. — Не дожидаясь, когда угаснет гомон, он громко призвал: — Товарищи!.. Не верьте царевым посулам!.. Все это чистая брехня!.. Никто не избавит трудящихся людей от ярма, окромя нас самих! Никто не даст нам вольную волюшку, ежели мы сами ее не возьмем вот этими руками!.. — Оратор потряс в воздухе тяжелыми, туго сжатыми кулаками, смело потребовал: — Долой царя!.. Долой самодержавие!.. Да здравствует свобода!..

Над его головой вдруг взметнулся пунцовый язык пламени и жгуче затрепетал на ветру.

У Букреева перехватило дыхание... Знамя!.. Красное знамя!.. Но это же бунт!..

Да, случилось то, чего еще никогда не видел, не знал Новочеркасск...

— Куда смотрит полиция?! Где казаки?! — злобно простонал Букреев, задыхаясь от удушья.

ГЛАВА X

По случаю монаршей милости и торжеств, связанных с этим событием, в Войсковом кафедральном соборе была совершена литургия, а по окончании ее — благодарственный молебен с провозглашением многолетия государю-императору и всему царскому дому.

У самого алтаря, перед царскими вратами, стоял на молитве войсковой наказной атаман Константин Клавдиевич Максимович. Одет он был в парадный мундир с генерал-адъютантскими аксельбантами и многочисленными регалиями, густо облепившими грудь. В этом нарядном одеянии атаман встречал в прошлом году самого царя, когда тот соблаговолил посетить пределы тихого Дона и обласкать верноподданного наместника.

В храме наказной атаман был подчеркнуто благочестив. Сухой и подтянутый, с гладко причесанными на косой пробор волосами, слегка тронутыми сединой, узкой подстриженной бородкой и усталыми, затаившими тревогу глазами, он исполнял всю процедуру христианского обряда с отрешенностью инока-богомольца.

Вблизи него полукольцом теснилась многочисленная свита и личная охрана из отборных казаков-атаманцев.

После богослужения два дюжих молодых священника, бережно поддерживая под локти, вывели из алтаря согбенного старца — духовного пастыря всей Донщины, его высокопреосвященство архиепископа Донского и Новочеркасского Митрофана. Из-под высокой митры владыки выбивались изжелта-белые, как переспелый ковыль, космы жидких волос. В этот торжественный день он вместе с епископом Аксайским Гермогеном с большим усилием лично отслужил обедню и теперь, преодолевая плотскую немощь, вышел на амвон, чтобы обратиться к прихожанам с проповедью, сообщить о воззвании святейшего синода по поводу царского манифеста.

— Чада православной всероссийской церкви!.. — чуть слышно, но с торжественной дрожью в голосе начал архиепископ. — Всемилостивейший государь благоволил возве-

стить в манифесте семнадцатого октября о своем неуклонном намерении даровать населению свободу гражданскую и духовную: свободу совести, свободу слова и всякого союза и общения братского на деяние мирное, на подвиг любви и служения отечеству!..

Старец умолк, легонько откашлялся и, поеживаясь, начал поправлять на тонкой морщинистой шее массивную цепь, на которой гирей висел тяжелый золотой крест. В храме наступила напряженная тишина. Только потрескивали чадившие свечи да сухо шелестела под рукой архиепископа золотая негнущаяся парчовая риза.

— Велик дар сей! — продолжал владыка. — Примите его с молитвой, в радости и благодарении господу богу, щедрому подателю всяких благ...

Воздав хвалу всевышнему и пожелав российскому помазаннику «многая лета», архиепископ устало закончил:

— Аминь!..

Торжественно загремели колокола.

— Самодержавному государю нашему Николаю Александровичу... твоя сохраняя престол и жительство... многая лета!.. — растроганно прошептал атаман, устремив повлажневшие глаза на золоченый иконостас алтаря.

На хорах собора певчие, многократно повторив «многая лета», умолкли. И в эту благоговейную минуту короткого молчания вдруг громко, как на улице, раздалось в притворе:

— Здесь наказной?!

— Тш-ш-ш!..

— Чего шипишь, божий человек?.. Здесь, я спрашиваю, наказной атаман?!

Оттеснив грудью дьячка, пытавшегося навести в притворе порядок, в храм вломился взъерошенный и весь помятый Леонов — окружной предводитель дворянства. Его багровое, точно распаренное в бане, лицо лоснилось от пота. Ко лбу прилипли черные пряди волос, а холеные гусарские усы вздрагивали и свирепо топорщились. Увидев с высоты своего махинного роста коленопреклоненного атамана, он внезапно утих и, повернувшись к притвору, шепнул:

— Идем, Дмитрий Алексеевич, к их высокопревосходительству! Он здесь, на своем месте...

Букреев последовал за Леоновым. Неожиданная встреча Дмитрия с окружным предводителем дворянства произошла на паперти. Оба были потрясены тем, что творилось на многолюдной площади. С полуслова поняв друг друга, они бросились в поиски наказного атамана.

— Ваше высокопревосходительство, беда!.. — с ходу выдохнул Леонов, став на колени, в затылок атаману.

Наказной насторожился. Зябкий холодок тревоги снова сжал сердце, по телу рассыпались мурашки. Однако виду он не подал, не повернул головы, не скосил даже глаз. Продолжал отрешенно молиться.

— Беда, говорю, Константин Клавдиевич, на площади начались беспорядки. Надо немедленно вызвать войска, казаков и самым решительным образом разогнать это сборище!..

Молчание.

— Я не один прошу... от имени депутации... — Леонов, не оглядываясь, кивнул в сторону, где на почтительном расстоянии остановился Букреев.

Снова молчание и низкий, земной поклон.

— Ваше высокопревосходительство, вы слышите меня?..

Войсковой наказной атаман, конечно, слышал и все уже знал. Ему об этом только что доложили. Но что он мог ответить?.. Легко сказать — вызвать войска!.. А где эти войска?.. Давно уже казачьи полки разбросаны по разным губерниям и крупнейшим городам необъятной Российской империи, где несут полицейскую службу. Из-за этого даже в Маньчжурскую армию повелено было Войску Донскому выставить одну дивизию, да и то из полков второй очереди.

А что теперь осталось здесь, на Дону? Прискорбно мало — гарнизоны мирного состава, главным образом местные команды. Да и те приходится посылать то туда, то сюда, наводить порядок не только в городах и шахтерских поселках, но и в степных селениях Придонья. Многие просьбы нет никакой возможности удовлетворить, особенно бесчисленные прошения напуганных господ-землевладельцев. Они даже обратились к самому военному министру генерал-адъютанту Сахарову с письмом: «Ввиду многочисленных заявлений землевладельцев Донской области о брожении среди крестьянского населения Донское Депутатское собрание покорнейше просит ваше высокопревосходительство оставить мобилизованные полки для нужд области».

Прошение осталось без ответа. А нужда в войсках на Дону с каждым днем возрастает. На прошлой неделе надо было срочно направить часть новочеркасской команды в Ростов и Таганрог, а три дня назад пришлось бросить почти всю остальную часть в Александровск-Грушевский на усмирение взбунтовавшихся шахтеров. В Новочеркасске же остались лишь сотня учебного полка, комендантский взвод, личная охрана наказного атамана да десятка два казаков,

отбывающих наказание на гарнизонной гауптвахте. Вот и все. Что, спрашивается, можно сделать этими силами?..

Долгое молчание и усердное моление атамана Леонов оценил по-своему. «Да-а, видать, постарел наш наказной, коль уповает только на господа бога. Не булаву, а святой крест впору ему в руках держать да в монастыре келью себе присматривать...» — с горькой иронией размышлял Леонов, нетерпеливо ожидая ответа.

— Я учту, господин Леонов, ваши пожелания и приму надлежащие меры... — наконец промолвил атаман и снова отвесил низкий поклон иконостасу.

Но учитывать пожелания и принимать меры наказному на этот раз не пришлось. Едва он покинул собор и в сопровождении верхоконных казаков поспешно уехал к себе в атаманский дворец, как депутация влиятельных прихожан обратилась к архиепископу с просьбой отслужить благодарственный молебен прямо на площади, что должно успокоить и привести к смирению толпу. Владыка охотно дал согласие и благословил епископа Гермогена совершить молебствие.

Размахивая чадившим кадилом, на площадь вышел преосвященный Гермоген вместе с протодьяконом, обладавшим громовым голосом, от мощного рыка которого звенели в соборе окна, тухли вблизи свечи и падали ниц перепуганные старухи богомолки. За ними гуськом последовали дьякон, дьячок и похожие друг на друга, как кукольные херувимы, служки в светлых праздничных стихарях. На ступеньках паперти расположились певчие собора и городской хор учащихся.

Торжественно отгремели колокола, и на притихшей площади началось молебствие. Все шло по установившимся канонам, но в конце случилось непредвиденное: по настоянию толпы было провозглашено многолетие не царю-самодержцу, а самому русскому народу. Среди местной казачьей и чиновной знати, гуртовавшейся на паперти, а также почтенного купечества послышался глухой ропот. Как мог его преосвященство допустить такую дерзкую вольность?.. Однако прервать молебствие никто не решился. Это сделали другие, но по иному поводу.

ГЛАВА XI

К паперти неожиданно придвинулась многолюдная группа мастеровых. Передний сорвал с головы картуз, разодрал пальцами сбившиеся волосы и, обращаясь к священнику, попросил:

— Ваше преподобие, угомонитесь малость. За «многая лета» всему русскому народу и другие божеские слова — спаси Христос. А вот насчет дарованной царем свободы вы зря благодарственный молебен служите. Не лезет эта свобода даже впритык с правдою. Нонче к нам прибыл из Ростова гость — Самсон Пролетарий. Он сейчас кое-что порасскажет о царевой свободе.

Вокруг насторожились, беспокойно зашумели, начали искать глазами ростовского гостя. Многие слышали об известном на Дону революционере под кличкой Пролетарий. Необычные рассказы, даже легенды ходили о его дерзкой смелости, отваге и самоотверженной преданности революции. Еще в девятьсот втором году молодого слесаря Главных железнодорожных мастерских хорошо знали стачечники Ростова. А в девятьсот третьем, являясь членом Донкома РСДРП, он уже возглавил революционные события на Владикавказской железной дороге. Совсем недавно, во время бурных октябрьских демонстраций, у него случилась большая беда. В схватке толпы с конной полицией и командой казаков у стен городской тюрьмы рухнула на булыжную мостовую от косого удара сабли его младшая сестра — юная революционерка Клара. Он бросился к ней, поднял на руки, хотел что-то сказать, утешить ее, но тут же понял, что удар был смертельным. Передав потяжелевшее тело товарищам, Самсон схватил липкими пальцами окровавленный, почти надвое рассеченный платок, взметнул, как знамя, над головой и, задыхаясь от слез и ярости, повел людей на штурм тюремных ворот. Сотни друзей и товарищей были освобождены в тот день из мрачной, казалось, неприступной ростовской тюрьмы...

Находясь на нелегальном положении, Самсон Пролетарий, пренебрегая личной опасностью, добровольно взялся выполнить решение Донкома — организовать в Новочеркасске революционную демонстрацию против лживого царского манифеста.

— Товарищи!.. Граждане Новочеркасска!.. — с легким надрывом в голосе обратился к собравшимся невысокий, слегка сутулый, с черной шапкой вьющихся волос мастеровой, поднявшись на ступеньки паперти.

На смуглом лице его рдел багровый румянец, а в глубине печальных глаз была суровая решимость. Окинув взглядом с высоты паперти многолюдную площадь, Самсон Пролетарий призвал всех не верить царскому манифесту. Ведь до сих пор томятся за решетками тюрем и в да-

леких ссылках сотни и тысячи тех, кто требовал или даже просил у царя свободу.

— А сколько полегло в сырую землю наших братьев и сестер от рук царских палачей!.. — гневно воскликнул оратор, и вдруг его голос осекся. Преодолев подступивший к горлу кашель, он глухо, с нотками глубокой скорби проговорил: — Только что получена депеша из Москвы. Там во время таких же «торжеств» злодейски убит наемником из черной сотни известный всей России борец за свободу народа Николай Эрнестович Бауман!.. Я прошу почтить память его минутой молчания...

Толпа неожиданно утихла, но тут же снова взорвалась, глухо и зло загудела. Послышались выкрики:

— Кого убили-то?.. И за что?!

Оратор взволнованно и горячо начал рассказывать о революционере-большевике Баумане. Многие не могли разобрать слов, но скорбь и гнев, любовь и ненависть, звучавшие в молодом, накаленном страстью голосе, возбуждали толпу.

— Вот и мой родименький, моя кровинушка, сложил свою невинную головушку!.. — вдруг где-то в толпе запричитал, как на похоронах, тоскливый женский голос.

Другие бабьи голоса подхватили, причитая всяк о своем, близком, неутешном и горьком. У паперти, неизвестно по чьему указанию, хор запел «вечную память». И уже нельзя было понять, кто о ком печалится, для кого звучат унылые панихидные стоны. И вдруг, покрывая все голоса, грозовым раскатом зарокотал над площадью густой бас:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Не успели смолкнуть скорбные, но мужественные слова прощальной песни, как дрожащий высокий тенорок жаворонком взметнулся в небо:

Вихри враждебные веют над нами... —

и тут же внезапно угас.

В толпе мастеровых кто-то громко воззвал:

— Братцы! В Ростове из тюрьмы освободили узников! Сам народ освободил!.. Неужто наша тюрьма крепче, чем в Ростове? А?!

На площади начали раздаваться призывы идти всем миром к тюрьме и освободить заключенных, кто пострадал за свободу народа...

Толпа возбужденно загудела. Кое-где над головами появились алые стяги, послышалось недружное, но громкое:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе...

Букреев оцепенел. С высоты паперти он видел и слышал все, однако усомнился: наяву ли это происходит или в дурном сне? И чуть совсем не лишился рассудка, когда стоявший рядом окружной предводитель дворянства Леонов вдруг вскинул вверх руку и дико заорал:

— Господа! Товарищи!.. Духом окрепнем в борьбе!.. Я призываю всех идти на Дворцовую площадь!.. Потребуем от самого наказного атамана... освободить из тюрьмы политических заключенных!.. Свободу нашим братьям!.. Ура-а!..

— Ура-а!.. — неуверенно подхватили в толпе.

— К черту атамана!.. Мы сами вызволим наших братьев!.. — закричал кто-то зло и хрипло вблизи Букреева. — Братушки, за мной, тюрьму громить!..

Дмитрий не смог удержаться на месте. Мощная людская волна смыла его с приступок собора и кинула в самую гущу мастеровых, толпившихся у подножия паперти. Букреев попытался выбраться из толпы. Но вдруг почувствовал, как на его плечо легла чья-то тяжелая рука.

— Куда торопитесь, господин Букреев?.. Я давненько заприметил вас на паперти. Ждал. Боялся, как бы не разминуться...

Букреев удивленно поднял глаза на высоченного бородатого мастерового и от ужаса окаменел. Перед ним стоял, как выросший из-под земли, бывший их батрак, а потом гвардеец Преображенского полка Чумаков.

Но как он теперь здесь очутился? Неужели дезертировал?

Букреев еще раз взглянул на мастерового: да, то был он, Чумаков. И все же попытался уточнить:

— Ты, собственно, кто таков? И что от меня надо?..

— Не узнаете, стало быть? Память отшибло?.. — глухо и зло процедил Чумаков, стиснув у локтя пухлую руку Букреева. — Кто я такой — сами потрудитесь догадаться, а что мне надобно — зараз узнаете...

Последние слова прозвучали явной угрозой, и Букреев почувствовал, как по спине, словно рашпилем, продрало колючим ознобом. Было ясно, что ничего доброго Чумаков сейчас не скажет, а вот за старые обиды он может учинить

расправу. Букреев беспокойно оглянулся вокруг. Надо немедленно поднять тревогу, упредить намерения Чумакова.

Чем бы все это кончилось — трудно сказать. Но снова нахлынувшая людская волна раскидала противников в разные концы площади.

ГЛАВА XII

Под ногами многолюдной депутации загудели чугунные лестницы атаманского дворца. В приемном зале широкая ковровая дорожка заглушила топот ног, и тотчас оборвался возбужденный гомон. Прибывших встретил дежурный адъютант:

— Господа, я уже доложил о вашем прибытии. Их высокопревосходительство согласился вас принять, но сейчас он занят неотложным делом. Прошу повременить.

В напряженной тишине потянулись минуты ожидания. Внезапно открылась боковая дверь. Звякнув шпорами, в приемную шагнул одетый, как на парад, войсковой наказной атаман.

Все поспешно встали.

— Чем, господа, я могу быть вам полезен?.. — обратился атаман к депутации и выжидательно-строго посмотрел на стоявшего поблизости тучного Букреева. — Я слушаю вас...

Дмитрий встрепенулся, побагровел, по старой армейской привычке прижал отекшие руки по швам и застыл в немом отупении. Просить о чем-либо атамана он не собирался. Да и попал-то в эту депутацию случайно — его и сюда увлек с собою Леонов. После встречи с Чумаковым Букреев находился в состоянии неясной тревоги, какого-то помрачения и расслабленности. Все, что он видел и слышал, воспринимал, как сквозь сон или хмельную одурь. И теперь, когда обратился к нему наказной атаман, он не знал, что ответить. Выручил остолбеневшего приятеля окружной предводитель дворянства. Он легонько отодвинул Букреева в сторону и выступил вперед:

— Ваше высокопревосходительство, дарованная государем русскому народу желанная свобода побудила всех нас (Леонов широким жестом руки показал на депутацию) покорнейше просить освободить из местной тюрьмы политических заключенных, кои имели благородные намерения своими поступками содействовать свободе русского народа!..

Атаман изумленно вздернул вверх брови, растерянно и зло взглянул на Леонова. Он не ожидал такой просьбы. Леонов поспешил уточнить:

— На улицах и площадях города в толпах манифестантов какие-то злодеи начали призывать к самоуправству: силой освободить заключенных из тюрьмы. Руководствуясь благоразумием, мы посмели обратиться к вам с вышеупомянутой просьбой, дабы предотвратить анархию...

Атаман, подавив раздражение, по-иному взглянул на депутацию.

— Это весьма похвально, — промолвил он. — Прошу садиться, господа...

Но никто не воспользовался любезностью атамана.

— Я разделяю ваши благородные намерения и сочувствую просьбе, — медленно, раздумчиво заговорил наказной. — К сожалению, я не располагаю необходимыми полномочиями. — Взглянув в сторону Леонова, он посоветовал: — Рекомендую обратиться к прокурору... Со своей стороны я обещаю содействовать возможно скорому освобождению...

Леонов хотел было возразить, что, пока прокурор будет рассматривать этот вопрос и принимать решение, тюрьму разгромят. Надо действовать немедленно. Но высказать свои опасения он не успел.

К наказному обратились представители торговцев и домовладельцев города — Крындач, Кутырев и Бурназов. Они сообщили, что ими организована самооборона с целью пресечения беспорядков. Но требуется установить непрерывный объезд улиц конными патрулями, имея в резерве полусотню казаков, которую следует поместить в центре города, чтобы ее можно было во всякое время вызвать по тревоге в поддержку самообороны.

Смешно и горько слушать наказному атаману назидательные советы невежественных лабазников, как командовать казаками. Но таково уж настало лихое время. Пришлось с подчеркнутым вниманием отнестись к торговцам, терпеливо выслушать и пообещать учесть их рекомендации...

— Позвольте, ваше высокопревосходительство! — неожиданно обратился к атаману долговязый с черной гривой волос семинарист, оказавшийся среди депутации. — Мы против самообороны, какую предлагают господа купцы... Всем известно, что она рекрутируется из босяков, пьяниц и хулиганов, кои чинят расправу над безвинными людьми... К сожалению, кое-кто из духовенства нашей епархии, в том числе и наставники семинарии, презрев заветы любви и милосердия, преподанные Христом, забыв заповедь «не убий» и принцип «несть власть аще не от бо-

га», встали на защиту черносотенцев, благословляют их на погромы... Прошу вас пресечь эти злодеяния...

Семинарист, взглянув на побагровевшего атамана, внезапно умолк, бледнея от своего смелого поступка. Боясь, что его могут превратно понять, поторопился пояснить:

— Я, ваше высокопревосходительство, об этом говорю не со злобой, а душевной болью, так как я сам сын русского священника!..

В приемной поднялся шум, галдеж. Кто-то из депутации, схватив семинариста за фалды, повлек его к двери. Но другие вступились в защиту. Началась возня.

— Где же свобода слова, дарованная государем?! — отчаянно завопил семинарист и по-мальчишески горько разрыдался.

— Оставьте его!..

Властный окрик наказного мгновенно утихомирил депутацию. Семинарист, раза два всхлипнув, тоже умолк. Помедлив, атаман глухо, с заметной дрожью в голосе заговорил:

— Я с прискорбием слушал эти чудовищные обвинения в тяжких грехах священнослужителей нашей епархии. Не могу допустить мысли, что такое имеет место. Надлежало бы расследовать, но я лишен прав вмешиваться в дела духовных лиц... — Взглянув на заплаканное, покрытое красными пятнами лицо семинариста, атаман великодушно посоветовал: — Можете обратиться по этому поводу к владыке, его высокопреосвященству архиепископу Митрофану. Он все рассудит и примет меры... Со своей стороны я буду молиться, чтобы бог покарал всех злодеев, помышляющих против свободы русских людей!..

Другие просьбы депутации наказной атаман не стал выслушивать. Сославшись на занятость, поспешно удалился из приемной...

— Одна паршивая овца все стадо испортила!.. — возмущался потом Леонов, проклиная семинариста. — Дернул же черт этого бурсака за язык!.. Да и наказной хорош! Ни одну просьбу нашу не удовлетворил. Особенно мою. Надо было срочно освободить из тюрьмы социалистов, а он начал тянуть: «...не располагаю необходимыми полномочиями...» Тьфу! Какая нерешительность!.. А если бы толпа сама взяла «уполномочия»?.. Благо, что господин Поркин со своими молодцами из самообороны встретил у Куричьей балки бунтовщиков и не дал им пробиться к тюрьме. А то, пожалуй, было бы то же, что и в Ростове... Нет, не такого нам надо наказного атамана!..

Букреев слушал своего приятеля и никак не мог его понять. То он горой стоит за царя, то, бахвалясь в тесном кругу, называет себя «старым социалистом».

Даже местные газеты по-разному писали об окружном предводителе дворянства. И порой трудно было разобраться, сколько существует Леоновых: один или два — слишком разноречивы были его дела и поступки. Но «Донская речь» решилась свести разные толки о Леонове воедино, поместив едкий фельетон своего сотрудника, молодого писателя Константина Тренева, выступавшего под псевдонимом К. Харьковский:

«С господином Леоновым происходит странная вещь: начнет с бархатного воркующего сближения с социалистами, а закончит диким воплем об уничтожении крамольников. Начнет со сближения с крестьянами, а кончит полицейским протоколом. Начнет с благодарственного молебна, а кончит плетьми...»

Вот и теперь, собрав новочеркасских дворян, Леонов призвал их поднести царю благодарственный адрес за манифест от семнадцатого октября, а затем обратился ко всем торгово-промышленным заведениям и казенным учреждениям с предложением прекратить на три дня занятия и присоединиться к торжеству по поводу дарованных царем свобод. И в то же время Леонов потаенно затеял возню с организацией новой партии, которая помогла бы верноподданным русским патриотам ликвидировать всякие свободы.

ГЛАВА XIII

В пятницу Леонов дал большой званый обед. Особыми записками были приглашены те, кто, по мнению Леонова, должен составить костяк новой партии...

Пока шумная компания находилась в гостиной, где с провинциальной учтивостью принимала сама хозяйка дома, бывшая воспитанница местного института благородных девиц, Леонов пригласил нужных ему людей в просторный кабинет. Многих из них Дмитрий Букреев хорошо знал. Был близок с полковником Ерылкиным и водил знакомство с престарелым генералом в отставке Федором Кондратьевичем Голубовым. Не раз встречался в веселых компаниях с воинственным купцом Норкиным и смиренным наставником местного епархиального училища отцом Владимиром. С остальными приглашенными гостями Букреев имел шапочное знакомство, а кое-кого видел впервые.

Все было почему-то окружено таинственностью. У двери стоял мрачный и свирепый на вид слуга из черкесов с длинным кавказским кинжалом на поясе. Ему было приказано: никого больше в кабинет не пропускать.

Леонов, оглядевшись, изобразил на лице скорбное выражение и таинственным полушепотом оповестил:

— Господа, я пригласил вас по поводу весьма важных обстоятельств. Все вы являетесь свидетелями тревожных событий, которые потрясают нашу великую империю. Россия погрязла в далекой и чуждой нам войне. Известия о наших поражениях в Маньчжурии тяжелым бременем придавили всех хороших и честных русских. У них опустились руки. А тут внутренние враги России снизу стали смущать народ... — Леонов на мгновение приумолк и уже с гневной хрипотцой продолжал: — К сожалению, на Дону нашлось немало презренных людей, кои стали волновать мастеровых, железнодорожников, чиновников почт и телеграфа. Особенно преступно идет развращение молодежи в учебных заведениях... Те же самые гимназисты, которые не так давно ходили с русскими флагами, портретом царя и пели священный русский гимн, теперь с бессмысленными красными тряпками бродят по улицам и кричат всякие непристойности: «Долой самодержавие!», «Долой царя!», «Да здравствует свобода!».

— Верно!.. — горячо поддержал предводителя дворянства отец Владимир.

— Что — верно? — с досадой взглянул на священника Леонов.

— Все, что вы глаголите, сущая правда! Особенно о детях... И с этим мириться нельзя. Ведь в евангелии сказано: кто совращает детей, тому следует навесить на шею жернова и потопить в морской пучине...

— Ого! Куда хватил батюшка!.. — Кто-то охнул за спиной благочинного. — Неужто господь бог может такое злодейство допустить?..

— Бог все может: и миловать, и карать!..

— Перестаньте, господа! Не о том сейчас речь... — повысил голос Леонов. — Важно другое. Помазанника наконец осенило провидение издать манифест от семнадцатого октября, коий не только дает свободы, но и расширяет права верноподданных — позволяет учредить законодательную Государственную думу, через которую мы, истинные русские патриоты, будем споспешествовать благу отечества и престола... В силу этого нам нужна сейчас новая партия — «Партия правового порядка»...

— Позвольте, господин Леонов, — перебил полковник Ерылкин, — зачем нам нужна новая партия, если уже имеется «Союз русского народа» или, скажем, «Союз», основанный на днях господином Гучковым? Я беру на себя заботу установить с Александром Ивановичем тесные контакты.

— Видите ли, господа, я, разумеется, не против «Союзов». Однако чтобы в Государственную думу попали наши люди, способные установить твердую и сильную власть на Дону, нам нужна своя партия — «Партия правового порядка».

— И все же лучше действовать вкупе с «Союзами»... — настаивал Ерылкин.

— Несомненно так! Однако следует прежде создать партию, а потом уже устанавливать контакты...

Возникший спор был неожиданно прерван громкими голосами за дверью кабинета:

— Господын барын, сюда нэлзя!..

— Как нельзя? Почему?..

— Нэлзя!..

— Ах, басурманская твоя душа, да разве ты меня не узнаешь?..

— Узнаешь... Но нэлзя!..

— Я же кунак твоего хозяина.

— Знаю, кунак... Но нэлзя!..

Леонов по голосу угадал пришедшего, расхохотался и крикнул:

— Ахмет, пропусти!..

— Ну, брат, и стража у тебя!.. Вот бы мне такую!.. — В кабинет, смеясь, вошел помощник окружного атамана Жидков, одетый в форму казачьего офицера с погонами войскового старшины. — Ба, да здесь знакомые все лица!..

«А ведь в самом деле, почему бы не иметь у себя такую стражу? — подумал Букреев. — Никакие Чумаковы не будут страшны...»

Жидков, оглядевшись, настораживающе поднял над головой палец.

— Господа, важная новость... К нам назначен новый войсковой наказной атаман — князь Николай Николаевич Одоевский-Маслов!.. Но об этом пока никому ни слова...

В комнате внезапно наступила тишина. Все переглянулись, не зная, верить ли новости.

— Позвольте, позвольте, господа! — вдруг с веселым возбуждением воскликнул генерал Голубов, суетливо разглаживая трясущейся рукой полы мундира, пахнущего

нафталином. — Я ведь князя знаю так, как вот всех вас!.. Когда-то в одном полку служили... Бравый потом стал генерал!.. А в прошлом году, летом, мне довелось повстречать его в Питере... — Голубов ни с того ни с сего расхохотался, кашляя и громко сморкаясь в платок. — Ох, господа, я вам доложу презабавный случай! — Любитель веселого сказа и соленых армейских анекдотов, его превосходительство, видимо, и на сей раз оставался верен себе. — Так вот, повстречал я Николая Николаевича в самый торжественный момент и при весьма деликатных обстоятельствах... Как вы помните, в прошлом году в утешение русскому народу господь бог даровал государю императору сына и наследника престола, нареченного при святом крещении Алексеем. В тот же день его императорское высочество цесаревич Алексей Николаевич был назначен атаманом всех казачьих войск. А через неделю лейб-гвардии атаманский полк давал на Сенатской присягу новорожденному наказному атаману. Все шло как положено, а в конце произошел... ха-ха... случай... ха-ха-ха! — Генерал снова вытер платком глаза. — В ту пору командовал лейб-гвардейцами как раз князь Одоевский-Маслов. Взял это он на вытянутые руки младенца-атамана и в сопровождении всей свиты торжественно понес перед строем полка. Ну тут, как в бою, — громовое «ура!». Дамы прослезились... Но вдруг заминка. Кое-кто из казаков-атаманцев стал фыркать от смеха. Адъютант князя глянул на цесаревича и побледнел. Из шелковых пеленочек со всякими разными голландскими кружевами что-то текло прямо на мундир и рейтузы генерала... Ха-ха!.. Адъютант шепнул через плечо князю. Тот метнул взгляд на августейшего, смутился, но не растерялся. Подняв еще выше драгоценную ношу, так, чтобы струйка заискрилась на солнце, как шампанское, он весело и громко обратился к казакам: «Лейб-гвардейцы атаманского полка! Августейший войсковой наказной атаман напоминает нам, чтобы сегодня в его честь и в честь вашей присяги не были за обеденным столом сухими чарки!.. Приказываю каждой сотне выставить бочку цимлянского! Такова воля его высочества!..» «Ура-а!» — ответили казаки на милость цесаревича...

В кабинете Леонова до слез хохотали. Кто-то поинтересовался:

— Ну, а что царь?..

— Царь?.. Говорят, сам от души посмеялся, а потом обласкал и щедро наградил за находчивость смелого генерала...

Деловая обстановка была нарушена, и Леонов решил учредительное собрание «Партии правового порядка» провести завтра в здании крестьянского по воинской повинности присутствия.

— Нам, господа, надлежит всем безотлагательно прибыть туда и быть готовыми внести вступительный взнос. Если мне удастся продать часть земли, я лично внесу на алтарь нашего священного дела пять тысяч рублей!.. — И, оставив деловой тон, Леонов любезно обратился к гостям: — А теперь, господа, милости прошу пожаловать к обеденному столу!..

ГЛАВА XIV

Обед затянулся до поздней ночи, а веселье в доме продолжалось почти до утра. Охмелевшие гости разбрелись по многочисленным комнатам. Кое-кто, не рассчитав силы, перехватил лишнего, успел всхрапнуть там, где его застало пьяное беспамятство, и снова сесть за стол.

В просторном зале, ярко освещенном огнями люстры, беспрерывно гремело фортепьяно. Смертельно уставший тапер (артист местного театра), с каменным лицом, не зная отдыха, выполнял все новые и новые заказы на танцы. Где-то в дальней комнате, в будуаре хозяйки, хрипло рыдал входивший в моду граммофон, страдала и плакала Варя Панина. А в гостиной хор мужских голосов слаженно и дружно, с залихватской удалью пел старинные казачьи песни...

Не замечая веселья, мучась изжогой и головной болью, мрачно бродил из комнаты в комнату только что проснувшийся Дмитрий Букреев. За обеденный стол идти не хотелось. От одного вида и пряных запахов жирной пищи мутило. Поймав за фалды мчавшегося мимо расторопного лакея, потребовал огуречного рассола. Вкусный, еще не потерявший подвальной прохлады, пахнущий укропом, чесноком, сельдереем и сырой дубовой бочкой огуречный рассол осадил подступивший к горлу тошнотный ком. Букреев вскоре почувствовал облегчение. Его снова потянуло к столу. Не закусывая, выпил два бокала вина и устало откинулся на спинку стула. Минуту посидел с закрытыми глазами, потом равнодушно взглянул на соседей. Рядом оказались отец Владимир и купец Норкин. Устремив друг на друга помутневшие глаза, они о чем-то спорили.

— Нет, позволь, отец Владимир, — повысил голос Норкин, — вы тоже распустили своих епархиалок. Они завсегда боялись глаза от земли поднять, только и умели при-

седать да раскланиваться всякому-каждому... И хорошо!.. А вот сейчас, говорят, тоже взбунтовались вместе со всеми. Супротив своих классных дам и наставников пошли, какие построже им на хвост наступают. Не позволим, говорят, нас притеснять!.. Нам нужна свобода и... дай бог памяти... Кажись, маци... манципация, что ли?..

Окладистая рыжая борода отца Владимира дрогнула от презрительной усмешки, но в спор с купцом благочинный вступать не стал.

— В наши духовные дела извольте не вмешиваться...

— Во как?.. Нельзя вмешиваться? А вы позабыли, ваше преподобие, кто я такой?.. Извольте знать — Захар Кузьмич Норкин!.. Слышали?.. Норкин!..

На отца Владимира имя местного сказочно разбогатевшего торговца не произвело никакого впечатления. А ведь это был тот Норкин, который в первые дни войны с Японией отправил на имя командующего Маньчжурской армией подарок — партию первосортной донской рыбы: осетрового балыка, тарани, рыбца, семги и сазана. Неожиданно из Мукдена пришла телеграмма лично купцу Норкину: «Благодарю вас за полученные мною шесть ящиков рыбы тчк Генерал-адъютант Куропаткин».

Потрясенный Норкин что угодно ожидал, но только не это. Сам командующий соизволили благодарить Норкина!.. Вскоре об этом узнала вся Донская область. Местные газеты восторженно возвещали о патриотическом поступке новочеркасского купца. За два-три дня Норкин стал знаменитостью Дона. А вот сейчас, видите ли, отец Владимир не признает его...

— Не-ет, ваше преподобие, будь моя власть, я бы вашим епархиалкам преподнес на лопаточке ту самую манци-па-цию в маринаде с хреном — извольте, сударыня, кушать! Ха-ха!..

Но тут же мокрые губы Норкина плотно сомкнулись, ухмылка исчезла с бородатого лица, и в щелках припухших глаз появилась неудержимая злость.

— Нет, ваше преподобие, нельзя бабу баловать! Бабу всяких сословий в ежовых рукавицах держи!.. А ежели она вздумает волю требовать, всякую разную... манципацию... то надобно взять, скажем, вожжи ременные, для мягкости смазанные пахучим дегтем, задрать повыше ихний кружевной подол...

— Господин Норкин, перестаньте!.. Здесь же дамы!.. — взмолились за столом.

— Нет, не перестану!.. — входя в раж, повысил голос

побагровевший Норкин. — Вы боитесь свои белые ручки в деготь замарать!.. Думаете одними уговорами, молитвами да манифестами вразумлять бунтовщиков, а?!

— Верно! Верно, господин Норкин!.. — вдруг поддержал купца Дмитрий Букреев.

Ему положительно нравился этот воинствующий торговец. Это о нем, кажется, говорили, что он со своими молодцами из самообороны не допустил бунтовщиков к тюрьме, не дал ее разгромить. Расплескивая на скатерть вино, Дмитрий поднял наполненный до краев бокал:

— Господа, за здоровье их степенства Норкина!

Подвыпившая компания охотно поддержала Букреева. Не остался в стороне и благочинный отец Владимир. Он молча осенил всех крестным знамением и смиренно прикрыл глаза. Потом ощупью, не глядя на стол, овладел бокалом. Боясь расплескать, бережно поднес к устам. Помедлив, священнодейственно опрокинул его куда-то в дремучую заросль рыжей бороды...

Дмитрий Букреев наконец оживился, даже рассказал какую-то забавную историю из своих недавних похождений в парижских увеселительных заведениях. И снова пил не закусывая. Но даже теперь не покидала его смутная тревога. Перед глазами незримо, как во сне, то возникал, то исчезал все тот же проклятый Чумаков. Откуда его черт принес?.. Не дай бог в экономию заявится... Ведь встреча с ним ничего хорошего не сулит. До сих пор в памяти Дмитрия давнишний эпизод, когда Чумаков из-за девки-скотницы с яростью крушил лопатой окна и двери букреевского дома, угрожая жизни самих хозяев. Нет, без своей личной охраны не обойтись. Завтра же надо попробовать нанять черкесов-телохранителей, как у Леонова. Не одного, а целый взвод абреков!.. Пускай тогда заявляются хоть Чумаков, хоть сам черт-дьявол!.. Милости просим!..

ГЛАВА XV

Появление черкесов в экономии Букреева вызвало разные толки в округе. Кое-кто из соседей — коннозаводчиков, с завистью поглядывая на услужливых телохранителей, сам помышлял приобрести такую же охрану. Другие решительно отвергали эту затею, считая донских казаков куда надежнее диковатых и своенравных абреков, вынужденных бежать из горных аулов Кавказа на Дон от преследования местных владык — жестоких и властных наибов *. Здесь

* Наиб — начальник области.

же, в придонье, они охотно нанимались нукерами * к богатым господам, избегая встречи с враждующими кровниками.

По-разному относились к черкесам и в доме самих Букреевых. Рассудительный Прокопий был недоволен их появлением в усадьбе. Зачем, спрашивается, они нужны Дмитрию? В случае возникновения в экономии каких-либо беспорядков крохотный отряд нукеров не сможет одолеть взбунтовавшихся работников. Тут, пожалуй, потребуется наряд из казаков, стража полицейских или призванных под ружье солдат. Вот почему во время многочисленных деловых поездок по Сальской степи Прокопий наотрез отказался от черкесов. Дмитрий же, напротив, был неразлучен с ними. Свои посещения хуторов, сел и станиц любил называть, как встарь, набегами. Откинувшись на широкую, ярко разукрашенную спинку легкой рессорной тачанки, лукаво косясь на лихо гарцующих джигитов, он видел сквозь щелки припухших глаз, как его «дикая орда» невольно нагоняла оторопь на встречавшихся по дороге местных жителей или пришлых сезонников.

«Ого, как шарахаются! — ликовал в душе старший Букреев. — Пусть теперь они вздумают бунтовать! Клянусь богом — никого не помилую!»

Дмитрий до сих пор не мог забыть беспорядки на зимовнике Трехбратской падины. В разгар летней страды, когда пересохли почти до самого дна глубокие степные колодцы и питьевой воды не стало хватать не только скоту, но и людям, поднялся на полевом стане зловещий ропот, послышались угрозы. Опасаясь мятежа, Дмитрий решил упредить скандал. Долго не раздумывая, он пустил в ход свою нарядную, туго витую из сыромятных ремней плеть. Кое у кого с треском лопнули домотканые холщовые рубахи, брызнула и тут же запеклась на спинах густая, до черноты багровая кровь.

К удивлению Букреева, батраки не дрогнули, не шарахнулись врассыпную, а неожиданно дерзко и отчаянно кинулись на Дмитрия, скрутили ему руки, бросили в старую, занавоженную конюшню и плотно закрыли на засов дверь. Почти целую неделю держали взаперти. Помог случай. Выручил Прокопий. Неся убытки, он пошел на мирные переговоры с мятежниками.

И вот теперь Дмитрий был убежден, что без своей личной охраны, без нукеров не обойтись. Его поддерживала

* **Нукер** — телохранитель, личная охрана.

маленькая, но властная хозяйка букреевского дома — Аполлинария Викторовна:

— Да-да, Митя прав. Нам нужны смелые джигиты.

Это льстило деверю, и он стоял на своем. С силой толкнув в спину кучера, хрипло орал:

— Эй, дед Глоба! Что ты бороду распустил, как кобылий хвост?! Гони шибче! Не отставай от абреков! Не давай никому дорогу! Топчи копытами всех!.. Эй, залетные!..

Такое бесшабашное, озорное поведение брата не удивляло Прокопия. Дмитрий оставался самим собой. Но стоило только ему, выполняя поручение окружного предводителя дворянства Леонова, начать настаивать на создании новой «Партии правового порядка», Прокопий изумленно восклицал:

— О, что я слышу?! Тебя, Митя, я не узнаю... До недавней поездки за границу ты был совершенно равнодушен к политическим интригам. А теперь, видишь ли, вместе с Леоновым затеяли даже свою партию создать. Браво!.. Ха-ха!..

— А что тут смешного? — насупился Дмитрий. — Правовой порядок нам нужен. И Леонов даже тебя готов принять в нашу партию...

— Я, конечно, весьма польщен вашим предложением... — с лукавой усмешкой ответил Прокопий. — Но к величайшему сожалению, принять сие приглашение не могу... Я уже оформил свою принадлежность к «конституционно-демократической» партии...

Раздосадованный Дмитрий не стал дальше вести разговор на эту тему и на второй же день собрался нанести визит ближайшим соседям — братьям Корольковым, в экономии которых выращивались чистейших донских кровей скакуны, не раз срывавшие призы на многочисленных скачках Области Войска Донского. Даже в Англии корольковские трехлетки удостоены были золотых медалей и почетных грамот.

В молодости братья Корольковы с гордостью носили офицерские погоны, и, возможно, их ждала завидная военная карьера. Однако по настоянию разбогатевшего отца-коннозаводчика они рано вынуждены были уйти в отставку и заняться делом. Очень скоро Корольковы стали самыми богатыми коннозаводчиками Юга России. Вместе с тем они не чурались состоятельных собратьев.

Букреева встретили радушно. За обеденным столом зашел разговор о цели приезда к ним Дмитрия.

— Что-о?.. Леонов создал новую «Партию правового

порядка»? — удивился старший Корольков. — Какая же цель?

— Чтобы потом попасть в Государственную думу, — с усмешкой догадался младший брат.

— Любопытно, — подхватил старший. — Однако, уважаемый сосед, нам почему-то не хочется держаться за ветхие фалды Леонова. К тому же мы уже приглашены в партию «Союз 17 октября». Извини, коллега, но вообще заниматься политикой нам некогда. Нам коней надо выращивать да по сходной цене сбывать... А будет ли у нас монархия или конституционная демократия — для нашего брата что ни поп, все одно батюшка...

У Букреева голова пошла кругом. Как понять их?.. Делают вид, что им все безразлично. Но Букреев хорошо знает, что Корольковы недавно подарили войсковому наказному атаману целый табун лучших коней-строевиков для Войска Донского...

Раздосадованный и злой, Букреев так и уехал от Корольковых, ничего не добившись. Зато у коннозаводчика Пишванова Дмитрию повезло.

Родион Пишванов был не только известным в Сальской степи коннозаводчиком, но и популярным в конно-спортивном мире наездником. Он в компаниях и в почтенном обществе, бравируя, любил появляться в жокейском костюме, вызывая у своих собратьев язвительные насмешки, а у иных, особенно у дам, удивление, любопытство и даже восторг.

Свою карьеру Пишванов начал наездником у тех же Корольковых. Разбитного и удачливого жокея заметили хозяева, высоко оценили его способности. За каждый успех на бегах и скачках щедро вознаграждали. Вскоре Пишванов завел деловые связи с завзятыми игроками на тотализаторе и, подыгрывая кое-кому, стал ловко срывать крупные взятки.

Года через три-четыре Пишванов исподволь приобрел за бесценок в интендантском управлении Войска Донского несколько тысяч десятин бросовой, целинной земли, построил усадьбу, закупил у своих же хозяев целый табун племенных маток-кобылиц и с десяток косячных жеребцов. «Отпочковавшись» от Корольковых, Пишванов сразу поставил дело на широкую ногу. Часть земли стал сдавать в аренду крестьянам-переселенцам, беря с них плату втридорога как деньгами, так и натурой. Всех недовольных решительно изгонял с земли. Своих же работников не обижал, платил сносно, а в страдную пору давал кое-какую

надбавку. Хозяйничал Пишванов в экономии с огоньком. Не полагаясь на приказчиков и управляющего, вникал во все дела, следил за ремонтом племенного молодняка, сам проводил выбраковку, лично объезжал лучших неуков и выгодно заключал торговые сделки.

Как-то незадолго до покрова в усадьбу Пишванова неожиданно ворвалась на скрипучих крестьянских подводах целая ватага взбунтовавшихся мужиков-арендаторов, вооружённых, как в ополчении, кто чем мог: вилами, топорами, кольями... Угрожая управляющему, потребовали к себе хозяина. Тот не заставил долго ждать. Одетый в яркий жокейский костюм, похлопывая гибким стеком по коротким голенищам лакированных сапог, стремительно вышел на крыльцо конторы:

— Что случилось? Зачем пожаловали, господа мужики?

В угрожающем гвалте трудно было что-нибудь разобрать. Пишванов минуту постоял в легком замешательстве па крыльце. Потом быстро сбежал вниз и, раздвигая направленные на него вилы и колья, вошел в бурлящую толпу. Никого ни о чем не спрашивая, он стал прислушиваться к ближайшим двум-трем мужикам. И когда наконец понял, чего от него требовали, вдруг громко расхохотался.

— Вон что захотели?! Дармового хлеба и денег!.. Все понятно... — Пишванов оглянулся, почти без усилий, подпрыгнув, вскочил на стоявшую тут же крестьянскую телегу, обратился ко всем: — Вы требуете, чтобы я немедленно возвратил вам за три года арендную плату. Очень здорово придумано!.. Ха-ха!..

— Правильно мы требуем!..

— Такой аренды никто во всех степях не дерет!..

— По миру народ пустил!..

— Детишки с голоду пухнут!..

Пишванов взмахнул стеком, как дирижер палочкой, подождал, пока все утихнут, и, согнав с лица веселость, озабоченно заговорил:

— Хорошо! Вам нужен хлеб и деньги. То и другое у меня есть, только, господа мужики, придется вам немедленно возвратиться домой. Пусть ваши бабы карманы перешьют шире... Ясно?.. Вот так-то...

Расталкивая ошалевших мужиков, Пишванов не спеша пробрался к конторе, на глазах у всех спокойно уселся на любимца скакуна, стоявшего на привязи у перил крыльца, оглянулся и злобно бросил в притихшую толпу:

— Через пять минут чтобы здесь ни одной души не было! Вернусь — шутить не буду!..

Пришпорив коня, Пишванов с места рванул в галоп и, как в сказке, мгновенно сгинул в серых клубах пыли...

Злое озорство не прошло Пишванову даром.

Возмущенные мужики схватили насмерть перепуганного управляющего, отобрали у него ключи от амбаров, открыли все запоры и, рассыпая под ноги зерно и муку, поспешно начали нагружать подводы. Не успел Пишванов возвратиться домой с полицейским-урядником и тремя вооруженными казаками-сидельцами, мужиков уже не было. Шумным цыганским табором они бесследно исчезли в сизой дымке Сальской степи.

Пишванов взбесился, но преследовать мужиков не стал. Он хорошо понимал, что такими силами, какие оказались у него под рукой, ничего не сделаешь... Нужна взаимная выручка друзей-коннозаводчиков да крепкая рука богом данной власти...

Об этом как раз и зашла речь, когда к Пишванову нежданно прибыл с дружеским визитом Букреев.

— Верно, господин Пишванов! — подхватил Дмитрий.— Нам нужна самооборона. В Новочеркасске уже создана господином Леоновым «Партия правового порядка». Она и займется этим делом. Вот и вам надлежит в нее войти...

Пишванов охотно согласился вступить в новую партию, однако вначале покуражился:

— Что?.. Окружной предводитель дворянства новую партию сварганил? Дюже хорошо. А зачем вы, господин Букреев, меня туда тянете? Я же не дворянского звания. Мой батька, царство ему небесное, всю свою жизнь волам хвосты крутил... Бог с вами, дворянами...

Букреев терпеливо и долго разъяснял, что новая партия не сословная. В нее могут входить и дворяне, и купцы, и отважные казаки, и состоятельные мужики — одним словом, все русские патриоты, кто верен богу, царю и отечеству...

— Вот-вот... Стало быть, без состоятельных мужиков вам, господам дворянам, все-таки не обойтись... Ну так и быть, я согласный... Правовой порядок нам нужен, а то мой брат мужик, чего доброго, всех нас коннозаводчиков без штанов оставит...

Букреев, памятуя, что надо ковать железо пока горячо, тут же напомнил о вступительном взносе.

Пишванов, с минуту помедлив, раздумчиво поинтересовался:

— Гм-м... А сколько же надо на бочку кинуть, чтобы стать русским патриотом?..

— Видите ли, это добровольное дело... Леонов, к примеру, посулил внести пять тысяч рублей, как только продаст часть своей земли.

— Вон как?.. Ну а я наоборот. Как только куплю у него ту самую землицу, какую он вздумал продать, так и вступительный взнос на «правовой порядок» кину... Какую сумму?.. Зря пытаешь. Заранее загадывать трудно. Какой куш сорву на ближайших скачках — все до последней копеечки отдам. Жалеть на такое дело не буду...

ГЛАВА XVI

Через неделю после возвращения из Новочеркасска Николай Куклин, лихо сбив на затылок засаленный картуз, смело расхаживал по улицам и переулкам Мечетинской станицы, отчаянно грохал, как в барабан, по старому ведру и весело, нараспев старался перекричать заполошный лай растревоженных собак:

— Кому чинить ве-одра, та-зы-ы, кастрю-у-ли?!

За ним молча следовал Афанасий Чумаков (по паспорту теперь Игнат Тучный), неся на плече тяжелый рулон оцинкованной жести.

Желающих починить старую домашнюю утварь находилось немало. Почти целый день во дворах станицы то там, то здесь стучали молотки жестянщиков. Ловкие руки слесаря и кузнеца умело справлялись с любым заказом рачительных хозяек. Если же попадалась посудина настолько пришедшая в негодность, что и чинить-то не было никакого смысла, Николай Куклин, повертев ее в руках, вздыхал, невесело шутил:

— Да-а, хозяюшка, получается, как в старой песенке: пошла баба на базар, купила там рака, туда-сюда повернула, а где ж его... голова?.. Починить, конечно, можно. Будет — как новая. Даже сам царь из такой посудины не погребует кондер хлебать. Но тебе она в хозяйстве не пригодится.

Из толпы, собравшейся вокруг жестянщиков, неслись разноголосые выкрики:

— Сам царь кондер хлебать?! Ха-ха!..

— Вот учудил парень!..

— Да разве кондер — царская еда?..

— Ваша правда, станичники,—с напускной серьезностью соглашался жестянщик. — Царю нет нужды кондер хлебать. Ему подавай на золотых блюдах всякого разного жареного да пареного с пахучей приправой, чтобы смак был. Хлеб же

да каша завсегда была пища наша. А вот теперь в Ростове вся наша родня с голодухи зубы на полку вынуждена класть. Даже кондер не с чего сварить... Так что, дорогие станичники, за наши труды праведные снедью платите: зерном, можно мукой, крупой или живностью какой-нибудь...

— Ого, губа не дура!.. — смеялись в толпе. — Может, на золотых блюдах вам подавать?..

А дед-домосед, тяжело опираясь на обломок грабельника, назидательно разъяснил:

— Зараз, мил человек, хлеб да кашу али, скажем, тот же кондер и у нас не в каждом курене найдешь. Сам знаешь, какой нынче был год. Урожай на корню суховей спалил. Иные станичники закрома уже под метелку повыметали...

— Верно, дед Анисим, у меня, к примеру, из амбара мыши в панике зачали бечь, — с наигранной веселостью поддержал кто-то старика. — А какая нерасторопная случайно замешкается, то непременно от бескормицы околеет, даже исповедь не успеет принять...

— Будя вам, балабоны, дурацкие смешки строить, — с досадой перебил шутника угрюмый и злой казак, недавно вернувшийся по ранению из далекой Маньчжурии.—Мы сами скоро с голодухи зачнем дохнуть. — И, обращаясь к жестянщикам, нелюбезно посоветовал:—Берите, братушки, что вам дают, а на чужой каравай рот дюже не разевай...

Давали же станичники не так уж щедро. Куклин и Чумаков вскоре убедились, что здесь много не заработаешь.

Огорчения жестянщиков близко к сердцу принял местный кузнец Корней Федотович Булатов. Он, как родного, встретил Афоню и вместе с Куклиным определил у себя на постой. И вот теперь надо бы помочь ребятам. Но как и чем?.. Поразмыслив, Корней Федотович решил посоветоваться с людьми, ставшими близкими по совместным делам подпольного кружка, созданного здесь ростовскими социал-демократами еще в прошлом году.

Поздно вечером в тесную хатенку кузнеца собралось человек семь станичников и хуторян из ближайших зимовников. При тусклом свете коптилки трудно было различить, кто где сидит. Но Корней Федотович хорошо знал по голосу каждого.

Вначале разговор не вязался. Одни, вздыхая, почесывали затылки, невнятно что-то бормотали, другие вразнобой спорили:

— Надобно к коннозаводчикам податься. У них еще от прошлых урожаев амбары ломятся...

— Хо, вот сморозил!.. Станут богачи рухлядь у тебя чинить...

— Зачем — чинить?.. Нужно у них по-хорошему позычить. Обсказать, так, мол, и так, народ в городе дюже голодает...

— Ха-ха!.. Держи карман шире!.. Так он тебе и позычит... Силком надобно взять!..

Корней Федотович прервал спорящих, попросил:

— Вы не все сразу шумите... Вот ты, Егор, больше всех распинаешься. Что у тебя?..

— Ничего... К коннозаводчикам, говорю, надобно податься и тряхнуть их как следует!..

— Егор правильно толкует... — поддержал чей-то рассудительный голос. — Мой свояк Ефрем Пронин на пишвановской земле проживает. Надысь был у меня, рассказывал. Хозяин всех арендой задушил. Мужики ропщут, пытались просить сбавить плату за бросовую землю, а он — ни в какую!.. На прошлой неделе заявились к ним из города вот такие же мастеровые, как вы, хлопцы. Потолковали с мужиками и гуртом тронулись на зимовник к Пишванову. Возвертай, требуют, нашу аренду за три года и хлеба позычь голодающим... Пишванов запротивился, зачал грозить. Мужики, не долго думая, посбивали замки на амбарах и целый обоз гарновки свезли в Ростов...

«Вот это молодцы наши ребята!—покрутил головой Куклин. — Нам бы так подвезло!»

— А в экономии сотника Каменного мужики тоже похозяйничали!.. — добавил кто-то в темноте. — Два быка и чувал солонины забрали...

— Я слыхал, и в экономии Туманова мешков десять муки...

— Будя!.. — прервал Корней Федотович.—Все ясно.—И, обращаясь к жестянщикам, посоветовал: — Надобно подаваться к коннозаводчикам. Ты, Афоня, веди своего дружка к нашей старой «родне» — Букреевым. Там в амбарах мыши не дохнут. А ежели что не так — мы гуртом подмогу дадим...

И уже наедине старый кузнец, вспомнив сокровенные желания Афанасия, еще раз предупредил:

— Ты, сынок, сразу домой не рвись. Можно в беду попасть. Я через своих людей тайком разузнаю, как там и что, а потом тебе гукну... Понял?..

ГЛАВА XVII

Ни капли дождя, ни крохотной росинки не пало в то лето на сухую потрескавшуюся землю. Ветер и зной, точно пожар, испепелили степные травы, почти дотла сожгли не успевшие отколоситься посевы. Куда ни глянь — всюду пустынное безлюдье. Даже в страдную пору мало кто решался выходить на полевые работы: нельзя было ни косить, ни молотить — все рвало из рук. А стоило тронуть плугом или запашником закаменевшую корку земли, как под ногами вспыхивали жгучие костры невесомой пыли и мгновенно исчезали в необъятном просторе мглистого неба. И только осенью стали гаснуть суховеи, из Приазовья потянуло сыростью, где-то за плавнями, у гирла Дона, заклубились сизые туманы, и вдруг над поверженной Сальской степью разразилась необычная гроза: в слепящих вспышках молний под грохот и сухой треск грома хлынули желтые дожди, густо смешанные с мокрыми, таявшими на лету хлопьями бурого снега.

Самые древние старожилы этих мест не помнили на своем веку столь зловещего предзнаменования. Но все знали, что в такую лихую годину надо ждать беды — бескормицы и голода...

Невольная тревога овладела Осипом Топилиным, когда он, приподнявшись на стременах, беспокойно окинул взором пустынную степь. Почти год не был казак в своих краях и сейчас по срочному вызову спешил из полка на побывку домой. Через Дон Осип переправился паромом у станицы Багаевской и, миновав Манычскую, выехал наконец на широкий шлях, ведущий в родные места. Ехал рысью, не давая коню перейти на шаг. Только в Кагальницкой станице, около крайнего двора с длинным журавлем у колодца, остановился, торопливо спешился. Дал коню немного передохнуть, напоил — и снова в путь.

К полудню в стороне от дороги, за покатым бугром, показались острые макушки голых тополей, меркло заблестели золоченые кресты на побуревших луковицах церкви. Кое-где вперемежку с соломенными гребнями хат и сараев разномастно цвели покрытые суриком и медянкой железные крыши казачьих куреней станицы Мечетинской.

Осип не думал заезжать в Мечетку и рассчитывал к вечеру попасть в Егорлыкскую, а там рукой подать до Степного Кута. Но конь все чаще стал засекаться и время от времени припадать на левую переднюю ногу. Под копытом, грозя оторваться, с хрустом захлопала подкова. Осип с доса-

дой понял, что так дальше ехать нельзя. Конь мог обезножеть. И хотя каждая минута была дорога, он решил свернуть в Мечетку и там в первой попавшейся кузнице перековать коня.

На окраине станицы Осип услышал звенящий металлический перестук и, никого не спрашивая, уверенно повернул на звон наковальни в узкий извилистый переулок, идущий вдоль неглубокого овражка. У самого обрыва примостилась низкая, выложенная из дикого серого камня кузница. Рядом — двор, обнесенный каменной оградой, и под разлатой акацией — саманная хата с плотно закрытыми ставнями.

Как только в переулке появился всадник, в кузнице все замолкло, у настежь открытой двери показался чумазый мальчонка лет двенадцати, настороженно оглянулся и стремительно юркнул в калитку двора. Минуты через две-три снова выскочил на улицу.

— Эй, малый, кличь скорей хозяина... Коня надо перековать!.. — издали крикнул Осип, осаживая потного, разгоряченного строевика.

Мальчонка остановился на пороге кузницы, недружелюбно взглянул на подъехавшего казака, решительно и смело заявил:

— Вертайся обратно, подковывать не буду—ухналей нету!..

— Ишь ты какой!.. «Не буду...» С тебя пока один спрос — кличь сюда хозяина! — потребовал Осип, торопливо спешиваясь. Разминая затекшие ноги в забрызганных грязью сапогах и оправляя примятые на седле синие с лампасами шаровары, еще раз прикрикнул: — Чего стоишь?! Живо, тебе говорят, кличь хозяина!..

Из кузницы вышел старик в кожаном задубевшем фартуке. На бородатом лице его с лукавой усмешкой жмурился одинокий глаз.

— Чего, казачок, шумишь? Правду парнишка говорит: ухналей нету.

Осип с досадой взглянул на кузнеца, хотел что-то сказать и вдруг онемел. Глаза удивленно округлились, под рыжеватыми усами дрогнули обветренные губы, и по веснушчатому лицу лучисто расползлась добрая ребяческая улыбка.

— Гля, дядя Корней!.. Вот не ждал, не гадал...

Старик вскинул голову, внимательно всмотрелся в прибывшего казака. От напряжения набежала слеза. В затуманенном взоре неожиданно вспыхнула искорка радости.

— Вон кто?.. Старый приятель!.. Ну здорово живешь, служивый! — Кузнец шагнул вперед, подал тяжелую, полусогнутую в локте руку. — Кажись, недавно вместе на зимовнике у Букреева горе мыкали, а вот теперь не сразу угадал — богатым будешь...

Осип кинул повод на луку седла, поспешил пожать жесткую ладонь кузнеца:

— Эх, дядя Корней, богатство мое, как сказала цыганка, по пяткам бьется, да в руки не дается... Какими судьбами вы тут очутились?..

— Длинная и невеселая эта песня, — нехотя ответил кузнец. — Помнишь, как Букреев пугнул своих работников из экономии? Станичный атаман тогда ему помог — команду казаков прислал. Я в Ростов было подался, но там попал из огня да в полымя... Потом добрые люди помогли пристроиться к работе вот тут... Ну а ты как?.. Небось заправским казаком стал на царевой службе? Теперь, поди, сам усмиряешь нашего брата?

Осип обидчиво взглянул на кузнеца, но ответил сдержанно:

— Зря это вы, дядя Корней. Я такой же, какой был до службы...

Кузнец оживился:

— Не забыл, стало быть, и Трехбратскую падину? Помнишь, а?..

— Я, дядя Корней, все помню: и Трехбратскую помню, и хуторской майдан, где меня голоштанного драли, помню, и покойницу сестренку Нюрку помню, как ее безвинную Яшка Сыч насмерть загубил... — Осип внезапно умолк, гоняя на скулах упругие желваки, потом озлобленно добавил: — Окромя того, я зараз повидал в самом Ростове такое лихо, что и во сне позабыть нельзя... Потому у меня и рука ни на кого не подымается, чтобы усмирять...

Вертевшийся у кузницы мальчонка даже рот раскрыл от удивления. Кто бы мог подумать, что дед Корней ни с того ни с сего станет обнимать казака и растроганно что-то бормотать. С чего это он стал таким добрым?.. Сам же рассказывал, как служивые казаки когда-то в Ростове ему глаз плетью вышибли...

— Присаживайся, сынок, малость потолкуем, — гостеприимно предложил кузнец и сам первый примостился у стены кузницы на край толстенной колоды, наполненной ржавой водой, пахнущей железной окалиной.

Осип рад был этой встрече, но присел неохотно, беспокойно поглядывая на своего приуставшего коня.

Корней Федотович уловил этот взгляд, спохватился:

— Ах да, у тебя, кажись, конь подбился... Данилка!.. Ты что же, пострел, коня не перекуешь?..

— Ухналей нету!.. — упрямо ответил мальчонка, неодобрительно косясь на старика.

— Я тебе дам — «нету»!.. А за горном, в ящике?.. Живо!.. Это же, дурачок, наш человек...

Мальчонку словно ветром сорвало с места. Схватив повод, коротко привязал к стояку, сбегал в кузницу, принес нужный инструмент, смело взял ногу лошади, зажал между колен копыто и уверенно, по-мужски, стал орудовать клещами и молотком.

— Ох, огонь, а не парень!.. Где вы, дядя Корней, такого помощника разыскали?..

— Тут, соседский... Вдовушка попросила приучить к нашему ковальскому делу... Смышленый, пострел, в руках любая работа горит... Только жаль, силенок еще маловато...— Корней Федотович ласково взглянув на Данилку и — к Осипу: — Ну а ты, служивый, сейчас куда правишься?

— Из Новочеркасска бегу на побывку в хутор. Что-то, видать, стряслось дома, какая-то беда нагрянула... — Осип торопливо достал кисет, закурил.— Сам атаман прописал в полк. Мне ничего толком не сказали, лишь с гауптвахты раньше срока отпустили и приказали шибче бечь...

— С гауптвахты? — удивился кузнец. — За какие грехи ты туда угодил?..

— Известно за какие. Не могу я забастовщиков усмирять. Душа не дозволяет... Вот я и удумал... Как только подадут команду «По коням», скорей хворым прикидываюсь. А недавно вместе со мною тоже кое-кто «захворал». Сотник разозлился и всех — в околоток. Фершал, сукин сын, разгадал наши болячки. Ну и упекли на гарнизонную гауптвахту клопов кормить. А я и рад. Лучше, думаю, почухаюсь лишний раз, чем грех на душу брать...

Корней Федотович поднял потяжелевший взгляд на Осипа, осуждающе проворчал:

— Да-а, казачок, что-то не дюже храбро у тебя получилось. Забился в кутузку и до смерти рад, что от греха увильнул... А как же остальные полчане?.. Как ты другим о своей правде доложил?..

Жесткий взгляд Корнея Федотовича словно насыпал сенной трухи за ворот казака. Поеживаясь, он отвел глаза в сторону, немного помолчал, и когда заговорил, то в голосе зазвучали нотки обиды и нескрываемого озлобления:

— Другие?.. А что — другие?.. Другие, выходит, храб-

рее меня оказались. Покуда я с клопами воевал, другие конями опять людей топтали, плетками да шашками забастовщиков усмиряли!.. Вот и вся правда!.. Теперь сами судите, кто виноватый, а кто правый?.. — Осип мял, теребил в зачерствевших пальцах нарядный темляк зажатой в коленях шашки, не решаясь взглянуть на старика.

— Значит, кто правый, кто виноватый?.. Эх ты, безгрешный! — Кузнец лукаво прижмурил одинокий глаз: — Мне сдается, что на такие каверзы сам ответ найдешь, ежели совесть тебе подскажет. А по моему разумению — нету меж вас правых... Вот послухай, сынок, про то, как делают другие в тяжкую минуту...

И кузнец стал рассказывать о смелом поступке их общего знакомого гвардейца Преображенского полка Афанасия Чумакова...

Данилка давно уже перековал строевика, передал его Осипу и нетерпеливо ждал заслуженной похвалы. Но казак, как слепой, на ощупь взял повод уздечки и, даже не взглянув на мальчонку, продолжал о чем-то разговаривать с дедом Корнеем. Обиженный парнишка убежал в кузницу... И тут Данилка еще раз пришел к горькому выводу: все казаки — плохие люди. Недаром об этом часто говорил его родной дядя Семен Курсаков: «Наша жизня из-за казаков на перекос пошла. Ить вся родня Курсаковых проживает в этих местах испокон веков, а казаки доси считают нас пришлыми, иногородними. Земли не дают и во всем притесняют. А все из-за того, что наш дед али прадед, царство ему небесное, пришел на Дон гол как сокол и магарыча атаману не смог поставить. Тот же, злодей, разобиделся и не захотел его приписать к казакам. Потому все Курсаковы вынуждены теперь промышлять кто как может: одни арендуют казачью землю, другие работают по найму, но никто не бросает дедовское занятие — шорное и сапожное ремесло. И хотя оно никому никогда не приносило богатства, но кое-какой заработок на кусок насущного хлеба давало...»

Вот и Данилка совсем еще маленьким научился у старшего брата (отца он не помнит) сапожничать. Его заскорузлые ручонки вечно были изрезаны дратвой, перепачканы липким сапожным варом и вонючей ваксой. Стоило ему показаться на улице среди казачат, как со всех сторон неслись выкрики:

— Эй, хохол-мазница, давай с тобой дразница!..

Данилка с трудом переносил обидные насмешки. Иногда не выдерживал, кидался в неравную схватку. Полученные синяки, ссадины и царапины он никому не показывал и ни

на кого не жаловался. Но казачат недолюбливал и чурался их дружбы. А вот когда появился на их улице кузнец Корней Федотович и Данилка потом попал к нему в помощники — по-иному сложились отношения с недругами-казачатами. Однажды дед Корней, посмеиваясь, подсказал ему:

— Ты, малый, не робей. У тебя зараз руки от молота силу заимели. Любому своему супротивнику можешь дать сдачу... Понял?..

По всей улице теперь нет казачонка, кто бы мог его одолеть...

— Данилка, иди-ка сюда!.. — позвал Корней Федотович. — Показывай свою работу...

Сам казак внимательно осмотрел зачистку копыт, потрогал подковы и (кто бы мог подумать) достал из переметной сумки большущий медовый пряник, похожий на скачущего наметом коня.

— Это, браток, тебе за дюже хорошую работу. На, возьми!..

Городской пряник Данилка долго не решался есть. Правда, лизать — лизал и другим позволял прикоснуться языком к хвосту или гриве сладчайшего пряника, но зубам волю не давал — очень уж жалко было уничтожать такой гостинец...

Расстались молодой казак и старый кузнец, как родные. И хотя Корней Федотович не пригласил Осипа в хату с закрытыми ставнями, не познакомил с теми, кто в полумраке старательно размножал прокламации Донкома, на прощание все же попросил казака взять с собою десятка полтора листовок и передать надежным людям из букреевских работников, а лучше всего — вручить все это Ульяне Сазоновой. Она уж знает, что с ними делать.

— Ульяна?! — не то удивился, не то обрадовался Осип. — Вот здорово получается!.. Кругом опять свои... И Афоня, и Уля.

Положив руку на плечо Осипа, старик тихо сказал:

— Ну про Афанасия ты, казачок, пока никому ни слова...

— Понятно... Все сделаю как надобно...

Уже сидя на коне, Осип пообещал:

— На обратном пути непременно загляну к вам. Может, с Афоней встренемся...

Корней Федотович вдогонку весело крикнул:

— Доброго пути тебе, сынок! Возвертайся, дорогим гостем будешь...

...Не успел еще Осип скрыться за углом, как из соседнего двора вышел к кузнецу Семен Курсаков — местный сапожник с корявым, жестоко изъеденным оспой лицом. Ворохнув желтыми белками глаз, он враждебно проводил долгим взглядом всадника, недобро спросил:

— Казак служивый?

— Ага.

— На побывку правится?

— Ага.

— Знакомец твой, что ли?

Кузнец чуть заметно улыбнулся, кивнул головой:

— Ага.

— Да ты что заагакал?! — возмутился Семен. — Я тебя, Федотыч, не пойму. То ты на ножах живешь с казаками, глаз вон даже потерял из-за них, то ты ни с того ни с сего в обнимку лезешь. Чего ухмыляешься?.. Я, брат, видал из окна, как ты его охаживал...

— Верно, Семен, был такой грех! — весело подтвердил кузнец. — Но ты чего разошелся, как бондарский конь?.. Наш это человек! Я вон листовки ростовские с ним передал Ульяне Сазоновой для букреевских работников. Понял?.. Теперь тебе в Степной Кут и заходить не надобно.

— Ну и зря.

— Что — зря?

— Зря, говорю, казаку веру даешь, хучь он и знакомец твой.

— Вот ты, Семен, опять за свое — никому не хочешь верить.

— Все казаки одним миром мазаны, — упрямо настаивал Курсаков.

— Эх, Семен, старую обиду никак не хочешь забыть... — незлобиво укорил Корней Федотович, зная нелегкую судьбу своего дружка.

Действительно, у Семена Курсакова давняя обида и на жизнь, и на казаков. Еще в ранней молодости, когда на верхней губе его только появился негустой пушок будущих усов и в голосе ломко зазвучали басовитые нотки, приглянулась ему соседская девчушка, озорная и веселая казачка Япченкова Фрося. Возможно, другим она казалась не такой уж красивой: глаза чуть косили, на округлом лице рассыпано столько мелких коричневых крапинок, что их и сосчитать не было никакой возможности, как бесчисленные звезды в самую темную ночь. Но Семен любил смотреть па эту чудесную россыпь, когда Фрося прибегала к нему чинить пришедшую в полную негодность обувку. Умелые руки Семена

делали невероятное. На другой день Фрося только по старым застежкам могла распознать свои совершенно новые, горевшие черным огнем чирики или штиблеты.

— Ой, Сема, какой ты чудодей!..—искренне восхищалась Фрося и, лукаво кося глазами, пытливо выспрашивала: — А ты красные сапожки на высоком каблучке умеешь делать? Такие, как, скажем, у атамановой Морьки?..

— А то нет... Дай только товара нужного добыть... Могу и тебе такие же смастерить... еще похлеще!..—глухо бубнил Семен, не решаясь поднять глаза на сияющую от восторга Фросю. — Хочешь, мерку зараз сниму?..

Девушку осыпало жаром. Она беззвучно шевелила губами, силясь что-то сказать.

Не дождавшись ответа, Семен бережно брал ее босую ногу, легонько обтирал засаленным фартуком, опускал на свои острые колени, долго что-то ворожил. И хотя у Семена не было красного товара, Фрося все равно почти каждый день украдкой прибегала к нему снимать мерку.

Их тайные встречи скоро заметил отец Фроси и властно оборвал эти свидания. Казак не мог смириться с тем, что его дочь посмела дружить с парнем неказачьего звания, у которого к тому же на базу не слышно «ни скотиньего мыку, ни кочетиного крику». А ведь сам-то казак был последним из никудышных в хуторе горемык...

С тех пор возненавидел Семен всех без разбору казаков. Со временем жизнь внесла свои поправки. По-иному стал он смотреть на людей и оценивать их. Появились потом у него из числа казаков и приятели. Но нет-нет да и прорвется к сердцу прежняя обида на всех.

Вот и теперь Семен в душе был согласен с Корнеем Федотовичем, однако продолжал упорствовать:

— А я говорю, все они одним миром мазаны...

— Ты, Семен, не в обиду будь сказано, как бык, уперся лбом в тесовые ворота и трубишь одно и то же: «Все одним миром мазаны»... — досадовал Корней Федотович. — Пойми ты, душа забурунная, что в теперешней заварухе весь мир растрескался на части, как земля в степях в жаркую пору.

— Я это, Федотыч, без тебя знаю.

— А ежели знаешь, то какого рожна, прости господи, свет белый мутишь?..

Затянувшийся спор внезапно прервал Данилка:

— Дедушка Корней, вас кличут в хату!..

— Зараз иду, — отозвался кузнец и снова — к Курсакову: — Ладно, Семен, и ты ступай к себе, собери свой подручный чеботарный инструмент и подготовься к походу.

Там, — кузнец легонько кивнул головой на свою хату, — ребята, наверно, уже приготовили листовки. Захватишь их с собою и отправишься опять по хуторам чинить обувку. Понял?.. С оглядкой все делай, на беду не нарвись...

ГЛАВА XVIII

За поворотом дороги Осип натянул повод, перевел коня на шаг, оглянулся. Станицу затянуло сизой дымкой. Над притихшей степью небо снова заволокло тучами, начал моросить нудный осенний дождь. Осип зябко передернул плечами, накинул на голову болтавшийся за спиной башлык, но коня не тронул, до самой Крутой балки ехал шагом. Надо было еще и еще раз продумать, взвесить и понять все то, о чем нынче узнал он от Корнея Федотовича.

Потом мыслями потянулся к родному хутору, но тут же отвлек его от горьких раздумий неожиданно появившийся из-за бугра, в излучине балки, верхоконный пастушок, мальчонка лет шести-семи в нахлобученной по самые глаза старой отцовской фуражке с выцветшим красным околышем. Он важно восседал на широкой спине вислобрюхой кобылы, наблюдая за небольшим гуртом скота, растянувшимся по балке. Время от времени маленький всадник дрыгал торчащими из-под длинных пол чекменя ножонками, пытаясь достать голыми пятками крутые бока лошади, воинственно взмахивал над головой кнутовищем и яростно рубил, как шашкой, почерневшие головки татарника. Затем он на минуту замирал, выпячивал грудь и вдруг резко подавался всем телом вперед, хватался за гриву или неожиданно откидывался назад и снова припадал к холке. И хотя под ним равнодушно паслась старая кобыла, ему, вероятно, казалось, что он лихо гарцует на горячем боевом коне и отчаянно сражается с невидимым противником.

Осип издали заметил забавные проделки «казака-рубаки» и невольно повеселел. На него пахнуло теплом безоблачного детства. Ни горя, ни печали, видать, не знает этот воинственный пастушок.

— Эй, молодец! На кого ополчился?! — сквозь смех крикнул издали Осип, придерживая коня. — Чей ты будешь?! Как тебя кличут?..

Мальчонка удивленно взглянул на внезапно появившегося служивого казака и смутился. Потупив голову, молчал.

— Я спрашиваю: чей ты?.. Чего оробел? — весело допытывался Осип. — Э-э, парень, видать, ты не казак, а мужик али девчонка сопливая? А?..

Пастушок встрепенулся, с обидой взглянул на Осипа. И вдруг, рывком подняв маленькую ладонь к облупившемуся козырьку отцовской фуражки, заученно и четко доложил:

— Я есть вольный донской казак — по казаку Ермаку, по реке тихому Дону — Тимофей Петрович Буданов!..

— О, вот это другое дело!.. Молодец, казак!.. — с напускной серьезностью похвалил Осип Он невольно вспомнил, как и его, совсем еще малого, учил родной дед Денис вот так же отвечать полным казачьим титулом всем, кто пожелает узнать его имя. И Осип с подчеркнутым почтением, как со взрослым, завел деловой разговор: — Что же ты, господин вольный казак, тут делаешь?..

— Чего делаю?.. Хо, будто не видите... Кобылу да эту скотиняку пасу...

— А чья она?

— Как — чья?.. Окромя вон той Мурой — чужая, соседская. За харчи я ее доглядываю... А кобыла натурально вся моя!..

— Вон как?.. А где же твой конь-строевик? Наверно, батька на службу на нем отправился?

Мальчонка натужно засопел, шмыгнул носом, угрюмо ответил:

— Нету у меня батьки. На войне япошки насмерть его убили... Одежу, шашку и всю другую справу нам возвернули, а коня-строевика оставили в полку. Заместо него станичный атаман насовсем отдал вот эту худобу... — Мальчонка с презрением пнул кнутовищем в бок лошади и деловито, по-взрослому, разъяснил: — Кобылу дали, а корму мы не успели припасти. Вот и приходится теперь на подножный гонять, покуда степя снегом не запорошит... — И вдруг пастушок без всякого перехода звонким плачущим голосом выкрикнул: — Я сам скоро подамся на войну и всем япошкам голову порубаю!.. Вот так. — И он начал отчаянно размахивать кнутом, норовя отсечь поникшие головки татарника.

— О, грозен рак, да не в том месте очи!.. — горестно усмехнулся Осип. — Заради чего воевать-то собрался?..

Не отвечая, пастушок продолжал орудовать кнутом. Вскоре угомонился и сник. По его грязному, обрызганному веснушками лицу, оставляя серые полоски, ползли дробные капельки то ли горячего пота, то ли студеного дождя. Переводя дыхание, он смущенно попросил Осипа:

— Дяденька, ссадите скорей меня с кобылы...

— Что стряслось, Аника-воин?..

— Ж-живот... живот дюже режет... Терпежу нету!..

— А-а, вон какая беда...

Осип спешился и заторопился на помощь к пастушку. Но снять его с лошади сразу не смог. Словно прирос седок к спине кобылы. Под задубевшим от дождя чекменем, у пояса, Осип нащупал твердый узел волосяной веревки, догадался: мальчонка накрепко привязан к лошади, чтобы не свалился, если за долгий пастушечий день нечаянно уснет...

Снова усадив казачонка на лошадь, Осип поинтересовался:

— Как же ты, малый, сам обходишься, ежели дюже приспичит, а в степях поблизости никого нету?.. Наверно, штанишки расплачиваются?..

Мальчонка зарделся, как маков цвет, опустил глаза, но ответил рассудительно и твердо:

— Маманя все одно ночью Дунькины пеленки стирает... И мои штаны к утру завсегда высыхают... Поначалу она слезами кричала и дюже больно за это меня била, а зараз даже не ругает. Немного поплачет в завеску, потом обнимет меня и тихонечко скажет на ухо: «Терпи, казак, атаманом будешь!..» Дяденька, а взаправду я буду атаманом?..

— Атаманом?..— серьезно и озабоченно переспросил Осип, не зная, что и как ответить незадачливому казаку. Он долго молчал, напряженно к чему-то прислушиваясь.

Над притихшей степью, где-то высоко за тучами, печально курлыкая, незримо уплывала стая запоздавших журавлей, будто унося в неведомые дали чью-то несбывшуюся заветную мечту...

— Атаманом?..— снова переспросил Осип и с чуть уловимой усмешкой заверил: — Будешь!.. Обязательно, казак, будешь атаманом!.. Только вольницу хорошую себе подбери!.. Ну, пока прощай, не падай духом!..

В хуторе Степной Кут Осипа ждало большое несчастье: пять дней назад скоропостижно скончалась мать Федосья Никандровна. Рано утром пошла она в сарай за кизяками. Набрала полный подол, тронулась обратно, но вдруг, споткнувшись на ровном, упала ничком на сырую землю и больше уже не поднялась. Соседи-старушки обмыли ее, положили на стол, зажгли лампадку. Сам хуторской атаман заказал плотнику Михаилу Лантрату гроб, а сидельцев послал вырыть могилу. Отец Исай на пустынном кладбище уныло отпел панихиду, и на этом завершился нелегкий, полный невзгод и лишений жизненный путь вдовы-казачки.

Осиротевшую девочку Анфису до приезда Осипа поспешил «приютить» Яков Картушин. Он же взялся присматри-

вать за оставшимся хозяйством. Для удобства перегнал на свой баз недавно отелившуюся корову и поздно вечером, собрав на насесте в мешок сонных кур, отнес их к себе в птичник. Пустую хату Яков наглухо заколотил старыми горбылями. Ворота двора плотно закрыл, завязал жестким волосяным обрывком налыгача и туго затянул калмыцким узлом...

Еще на прогоне, у ветряка, Осип узнал от встречных хуторян о случившемся несчастье. Медленно подъехал к воротам родного двора. Никто его не встретил, не сказал приветливого слова, он даже не услышал знакомого лая шустрой собачонки. Устало спешился. Не открывая калитку, перебрался через забор. Мертвой тишиной и могильным холодом пахнуло с опустевшего база. У порога хаты остановился, посмотрел на заколоченные накрест двери, уже покрытые тонкой сетью паутины.

— Не-ет, брешете!.. Я еще жив-здоров!.. Зря Яшка старался свои паутины развесить. Мы их зараз сдерем...

...Не легко было рассчитаться с Яковом Картушиным: его опекунство оформили в хуторском правлении. Однако Осип настоял на своем, и нечестный договор был расторгнут.

В тот же день двор Осипа Топилина снова ожил: замычала корова, закудахтали куры, откуда-то прибежала пропадавшая все эти дни собачонка и весело возвестила о своем возвращении.

В хате шумно хозяйничал Осип. Ему старательно помогала маленькая сестренка Анфиса. Чистили, скребли и мыли до самых сумерек. Вечером, засучив рукава, Осип мужественно отправился на баз доить корову. В душе ворохнулось было сомнение, сумеет ли справиться с этим бабьим делом, но он решительно отверг малодушную мысль: «Пустяшное дело. У доброго казака все должно получаться. Справлюсь!..» Однако именно в этом «пустяшном деле» Осипа постигла полная неудача. Через полчаса возвратился он в хату с пустым ведром, мокрый от пота, облитый молоком, перепачканный навозом, смешанным с прелой мякиной и сенной трухой. На правой скуле, у самого глаза, сочно цвел синяк.

Анфиса, удивленно взглянув на жалкую и смешную фигуру брата, не выдержала, громко фыркнула в ладонь:

— Ой, братушка, на кого ты похожий? Ктой-то тебя так?..

— Комолая цокнула копытом... Поздоровалась за долгую разлуку,— невесело пошутил Осип, ощупывая вздувшийся синяк.— Нет, девка, так мы с тобою не дюже молочка попьем... Видать, нам надо добрую хозяйку привесть в хату, а тебе... как ее... старшую сестренку... и все другое... Без

этого не обойтись. Хоть и не вышло еще сорок дней опосля смерти мамаши, но что поделаешь?.. Ты еще малая, а я служивый, в полк скоро должен возвертаться... Не отдавать же тебя обратно на измывательство к Яшке в няньки... Завтра, наверно, пойдем свататься...

Анфиса заерзала на лавке, смешливо прижмурила любопытные глазенки:

— Ой, за кого, братушка?..

— Там видно будет,— загадочно буркнул Осип.— Утро вечера завсегда мудренее...

Но не надо было особой мудрости, чтобы найти протоптанную дорожку к заветной калитке суженой.

Когда смерклось и по небу рассыпались редкие звезды, Осип, одетый во все праздничное, постучал в дверь Никиты Ивановича Сазонова. Хозяева только что собрались вечерять. Края стола уже густо облепили многочисленные девчушки, но взрослые еще не садились. Марфа Даниловна возилась у печки. Никита Иванович в переднем углу заканчивал молиться на почерневшую икону, тускло освещенную лампадкой. Ульяны в хате почему-то не было. На стук все повернулись к двери. Осип перекрестился, поздоровался. Ему ответили разноголосым хором.

— Хлеб-соль,— поклонился Осип.

— Спаси Христос,— поспешно отозвалась хозяйка, смутно догадываясь о причине прибытия гостя.— Милости просим за стол. Садитесь, не побрезгуйте...

— Спасибочко, я уже повечерял.

— А мы этого не видали. Садись, казачок, гостем будешь, а поставишь казенку — хозяином станешь,— пошутил Никита Иванович, расчищая от детворы край стола.

— Ну ежели садиться за стол, так садиться хозяином,— улыбнулся Осип, вынимая из кармана бутылку.

Никита Иванович от неожиданности и удовольствия даже крякнул:

— Вот это здорово! Храбро получилось! Ох, люблю я служивый народ. Смелый он до невозможности. За словом в карман не полезет, а ежели полезет, то обязательно оттудова вытянет вот эту красавицу!..— ликовал Никита Иванович, завладев бутылкой.

— А где же Ульяна Никитишна? — тревожно оглядываясь, спросил Осип.

— Она к Букреевым на поденку бегает. Нынче что-то припозднилась. Должно, скоро заявится,— пояснила Марфа Даниловна, ставя на стол глиняные чашки вместо стака-

нов.— А вот, кажись, и сама она, легкая на помин... Да вы присаживайтесь вот сюда, поближе...

Широко распахнув дверь и тяжело волоча отцовские сапоги, вошла в хату Ульяна. Не обращая внимания на сидевших при свете коптилки за столом, молча сбросила вязаный платок и устало привалилась спиной к косяку двери. Минуту постояла с закрытыми глазами, вздохнула:

— Фу-у!.. Насилу добралась. Все силы, проклятая, вымотала... Уборку нынче барыня вздумала делать в доме... Ни на минуту не отходила!.. — и, снова закрыв глаза, умолкла.

В хате воцарилась напряженная тишина. Только слышно было сдержанное сопение присмиревшей детворы.

— Чего это вы притихли, как в церкви?.. Ой, ктой-то тут у вас сидит?..

Дальше уже не выдержали лукавые девчушки и дружно прыснули, наперебой закричали, взвизгивая и хлопая в ладоши:

— Улька женишка не увидала!.. Ха-ха-ха!

— Брысь!.. Замолчите, сороки!.. Скорей лопайте — да за печь!..— с досадой прикрикнул Никита Иванович.

Ульяна быстро подошла к столу и в полумраке увидела Осипа. Удивление, радость и смущение огнем опалили щеки девушки.

— Осип!.. Здравствуй!.. Вот не ждала...

— Здравствуй, Уля!.. — Осип поднялся, не зная, что делать со своими руками.

Минуту стояли они друг перед другом, взволнованные, немного растерявшиеся и такие разные во всем: небольшой, попраздничному парядный казачок и крупная, статная девушка, одетая в старенькую ситцевую кофточку с яркой заплатой на правом плече.

— Ой, чего же это я стою такая?..— спохватилась Ульяна и убежала в другую половину хаты. Уже оттуда крикнула: — Я одну минутку... умоюсь, уберусь, а потом как следует и поздороваемся...

Марфа Даниловна принесла из чуланчика пятилинейную лампу, которую обыкновенно зажигала по годовым праздникам, и поставила на припечек.

При свете лампы Осипу бросилась в глаза разительная перемена в облике Никиты Ивановича. На красном, обожженном лице причудливо курчавилась кончиками обгорелых волос пепельная бороденка. Вместо бровей — вздутые полудуги багровых ожогов.

— Дядя Никита, что с вами?

— А что? — удивился тот, часто моргая голыми опухшими веками.

— Обсмоленный весь...

— Обсмоленный?.. А-а, да это я промашку одну дал...— с досадой отмахнулся Никита Иванович и отвел глаза.

Марфа Даниловна прыснула в ладонь, но ничего не сказала. Торопливо начала выпроваживать из-за стола повечерявших девчушек:

— Ну-ка, марш за печку! Принесите сами из чулана соломки и постельку себе мягкую устройте. Уж не маленькие!..— и, обращаясь к Осипу, с усмешкой пояснила «промашку» Никиты Ивановича: — Наш отец все норовит к богу быть поближе. В пономари даже полез. Авось, говорит, богатство нам господь бог пошлет. Ну и попу старается угодить во всем. Надысь вздумал в алтаре кадило раздувать, а оно, как на грех, почему-то не горит и не тлеет. Он так, он сяк — ни дыму, ни огня. Поп Исай ждал-ждал, да и возроптал: «Какого ты рожна, прости господи, так долго возишься?! Духу, что ли, у тебя не хватает?.. Живо давай кадило, а то мне пора через царские врата к пастве выходить, дымком ладанным обкурить...» Пономарь наш засуетился. Так усердно стал раздувать, что не заметил, как в кадило бороду свою запихнул к самым уголькам. Она и пыхнула синим огнем!..

— Не синим, а красным полымем, может, чуть-чуть с желтинкой... — поправил Никита Иванович и с досадой умолк.

Вскоре к столу вышла Ульяна. Умытая, опрятно приодетая, она, казалось, вся светилась девичьей чистотой.

Осип подумал, что Ульяна стала еще лучше, чем была... И тут в душу внезапно вкралось ядовитое сомнение: пойдет ли такая пригожая девка за него, неказистого казачишку? Предательская робость сковала Осипа. Куда делась та решительность, с какой шел он сюда. Мысль, что сватовство может закончиться позорным отказом, испугала его. Нет, насмешку строить над собой Осип не позволит никому!..

— Ну, здравствуй еще раз! — улыбнулась Ульяна, подавая большую, загрубевшую в работе руку.— Ты чего это такой стал хмурый, как осенний день... То тут без меня смехом заливались, а теперь...— Ульяна испытующе поглядела на Осипа: — Ну-ка, подними глаза, глянь сюда... Что стряслось?..

О, лучше бы она не заставляла глядеть на себя. На ее светловолосой голове Осип увидел ту голубенькую батистовую косынку, которую когда-то подарил Дмитрий Букре-

ев. Зачем она достала ее? Захотела похвастать, что ли? Досада и злость невольно охватили Осипа. Он не знал, что выбор в нарядах у девушки был прискорбно мал: поплиновая юбчонка, сатиновая кофта, некогда перешитая матерью из своих девичьих нарядов, да эта злосчастная батистовая косынка. Вот и все...

Огромным усилием Осип заставил себя улыбнуться, пожать руку Ульяне и тут же решил: свататься не будет. Просто сейчас попросит выполнить поручения Корнея Федотовича — раздать листовки и вручить запретную книжку надежным людям из букреевских работников.

— Уля, мне надо с тобою сурьезно потолковать... — мрачно заявил Осип.— Выйдем на минутку в ту половину...

— Говори, тут все свои.

— Нет, мне надо с глазу на глаз.

— Чай, не чужие, не помешаем...— обиделся Никита Иванович.

— А может, и помешаем...— своевременно подсказала предупредительная Марфа Даниловна.— Вы, молодые, сидите тут, а мы с отцом выйдем. Потом покличьте...

Осип первым долгом передал поклон от старого кузнеца и кратко изложил просьбу Корнея Федотовича.

Ульяна минуту радостно и удивленно смотрела на Осипа, затем смело шагнула к парню и вдруг, обняв, неожиданно поцеловала.

— За что? — растерялся Осип.

— За все сразу... А перво-наперво за то, что ты такой хороший!..

В соседней комнате Никита Иванович торопливо закрестился:

— Ну слава тебе господи, кажись, уже столковались... Бери, мать, икону, идем скорее — благословлять надо!..

— Погоди малость, они покличут,— прошептала Марфа Даниловна, прижимая к груди похолодевшие от волнения руки.

— Чего, спрашивается, годить?.. Ждать да годить — богу не угодить... Идем! — коротко приказал Никита Иванович и решительно шагнул через порог.

Молча перекрестившись на иконы, он взволнованно обратился к растерявшимся Осипу и Ульяне:

— Ну, дети, да благословит вас господь на законный брак, семейное благополучие и все другое остальное, скажем, детишками обзавестись... Мы с матерью тоже согласные и даем вам наше родительское благословение...

— Что вы, батя, выдумали?! — вспыхнула Ульяна.— Какой брак?.. Никто тут не сватается...

— Как так — не сватается? — удивился Никита Иванович.— А зачем он сюда приперся и об чем вы тут воркуете?..

— У нас сурьезный разговор по другому делу...— пролепетала Ульяна, сгорая от смущения.

— Какой могет быть другой сурьезный разговор?! — возмутился отец.— Раз в родительский дом пришел холостой, неженатый парень с бутылкой казенки и пожелал, скажем, угнездиться за столом не гостем, а хозяином, потом зачал что-то нашептывать девке на ухо и даже целоваться полез, то тут слепому видно, о чем сурьезный разговор идет... Цыть, замолкни!.. Не морочь нам с матерью голову!.. А то вот возьму...

— Никитушка, подожди... не надо...— почти простопала обомлевшая Марфа Даниловна. Она испугалась, что Никита своей горячностью и неопытностью в этом деле испортит сейчас все, расстроит сватовство.— Никитушка, я сама...

— Что — сама?.. Я знаю, как ты начнешь молоть свои прибаутки да присказки, а толку-то с того... Вспомни, как ты за Настю сваталась. До тех пор языком чесала, покуда взашей нас не вытурили... Нет, старая, за дочку я сам с женихом сурьезно потолкую.— И, обращаясь к опешившему Осипу, спросил строго, в упор: — Ответствуй, за каким чертом-дьяволом ты к нам приперся?.. Постой, постой, какое там другое сурьезное дело?.. Ты мне прямо руби: возьмешь Ульку в замужество чи, могет, вздумал нынче с ней побаловаться, осрамить ни за что ни про что честную девку, а завтра и был таков, а?..

Натиск Никиты Ивановича оказался настолько внезапным, что Осип растерялся и несвязно забормотал:

— Что вы, дядя Никита!.. Зачем осрамить?.. Я с дорогой душой на Ульяне Никитишне оженился бы, да не знаю... может, она другого кого приметила... Я не супротив, потому я теперь один остался с малой сестренкой Анфиской... Мне на службу надо возвертаться, а хозяйство не на кого кинуть, да и за Анфиской некому присмотреть...

— Стой!.. Будя!..— решительно прервал его Никита Иванович.— Теперь ты, Ульяна, ответствуй: согласная ты за него пойти?..

Как в огне пылавшая Ульяна не потеряла, однако, присутствия духа, ответила, как и положено при таких обстоятельствах, покорно и учтиво:

— Я с родительской воли не выхожу. Как батя с мамой порешат, так и я согласная...

— Все ясно!.. Молитесь богу!..— продолжал командовать Никита Иванович и первый повернулся в передний угол, к иконам.

Все послушно начали креститься, шептать про себя молитвы. Ульяна было всхлипнула, но слезу уронить не успела. Последовала новая команда:

— Аминь!.. Давай, мать, платок, будем руку бить!..

Марфа Даниловна поспешно подала платок. Никита Иванович с рассчитанной медлительностью обмотал одним концом правую ладонь, широко размахнулся, грохнул руку на стол и торжественно замер, скосив глаза на Марфу. Та торопливо хлоппула на его ладонь свою и так же прикрыла платком. Жених и невеста последовали за родителями. Свободные концы платка связали узлом на куче переплетенных рук, что должно было навечно закрепить союз двух семей. Затем, по обычаю, все присутствующие при рукобитии весело поют обрядовую песню. Но так как на сговоре никого из посторонних не было, Марфа Даниловна, прослезившись от радости, сама по-молодому звонко и весело завела:

Да руку дали, да руку дали!..
Руку дали — Ульянушку отдали...

Никита Иванович вдруг тоже прослезился и с деловитой серьезностью, хрипло и тихо, поддержал голосистую Марфу:

Заручили за Осюшку-молодца,
Заручили за славного удальца...

Обряд помолвки завершился за столом. Выпили по чарке и приступили, пожалуй, к самому важному — разговору о приданом невесты и о хозяйстве жениха. Осип оказался непривередливым, согласился с тем, что было обещано родителями невесты. Те в свою очередь не стали строго придерживаться издавна установившихся традиций сватовства, не пошли на «угляденье» к жениху, так как и без того было известно, каковы его «хоромы» и «богатства».

Осип в душе был несказанно рад. Сватовство неожиданно прошло как нельзя лучше. Теперь оставалось договориться о дне свадьбы, чтобы оставить на хозяйстве молодую жену, а самому уехать в полк. Но Никита Иванович вдруг решительно заявил: свадьбы сейчас не будет.

— Как так — не будет?! — почти в один голос ахнули Осип, Ульяна и Марфа Даниловна.

— А очень запросто. Сколько, скажите вы мне, дурьи головы, минуло дней опосля смерти упокойницы, нашей дорогой предбудущей сватьюшки, а?.. Сорок деньков еще нету,

а вы вздумали свадьбу в ее хате играть, песни развеселые горланить, плясать и всяк по-разному выкаблучиваться... Не-ет, детки мои, бога надо побояться. Он за такие штуки по головке не погладит. Вас же, глупых, неразумных дураков, за эти самые грехи опосля крепко могет наказать...

— А как же быть? — почти прошептал Осип, заметно бледнея.

— Опять-таки очень запросто. Сговор мы сыграли?.. Сыграли! Заручили вас?.. Заручили! Ну вот теперь ты, казачок, преспокойно поезжай в полк, а как отслужишь действительную, возвернешься — свадьбу сыграем. Вот и все!..

— Как — все?.. А на кого же я, дядя Никита, сейчас кину свое хозяйство?.. Сестренка Анфиска с кем останется?.. Не отдавать же ее опять Яшке Сычу...

— Да-а, это верно... Тут надо покумекать...— озабоченно протянул Никита Иванович и почесал затылок.

После долгого обсуждения согласились на том, что за хозяйством может присматривать сам Никита Иванович, а Анфиску надо взять в семью Сазоновых. Здесь она будет жить, как дома.

Через неделю Осип возвращался в полк. Ульяна пошла провожать своего суженого за хутор. На прогоне, у придорожного кургана, прощаясь, она немного всплакнула, вытерла вышитым, с кружевной каемкой, носовым платком горячую девичью слезу и тут же вручила платок загрустившему Осипу. А тот, зажав в ладони драгоценный подарок, счастливо засмеялся, проворно перегнулся в седле, поцеловал Ульяну и, взмахнув плетью, стремительно поскакал в степь...

ГЛАВА XIX

Много приходилось Семену Курсакову колесить по Сальской степи, но ни разу не зашел он в свой родной хутор, откуда ушел совсем зеленым пареньком. Обходил он его стороной не потому, что там не нуждались в хорошем чеботаре или шорнике, а никак не мог забыть обиду на бывшего соседа — казака, Фросиного отца, Никифора Янченкова.

— Вот что, Семен,— настойчиво внушал Курсакову кузнец Булатов, — ты все же и в родные места загляни. Там для тебя тоже нужное дело найдется. Понял?..

Подумав, сапожник невесело усмехнулся:

— Знаешь, Федотыч, вроде все понятно, а вот душа доси противится... Ну да ладно, ежели нужно — пойду...

В лиловой темени вечерних сумерек Семен остановился у старой, перекосившейся калитки. Долго не решался войти

во двор. Раза два собирался постучать, но всякий раз бессильно опускал руку. Он уже разузнал у хуторян, что здесь проживает с детьми вдовая казачка, бывшая его возлюбленная Фрося Янченкова, теперь Буданова, о которой он давным-давно ничего не знал. С чувством неясной тревоги он наконец постучал. Где-то за сараем всполошилась собака, а на скотном базу послышался хриплый мужской голос:

— Кого там нелегкая принесла?..

Курсаков удивился: «Кто бы это мог хозяйничать у вдовушки?.. Неужто примак уже нашелся?..» И ответил:

— Прохожий я... Мне бы...

— Вот беда жить на краю хутора,— недовольно проворчал все тот же хриплый голос.— Покою не дают прохожие...

— А ты, мил дружок, не кручинься...— вдруг раздался совсем близко, за кустом палисадника, чей-то певучий, чуть насмешливый женский говорок.— Знать, людям надобно, коль к нам стучатся...

«Она! Фрося!» — догадался Семен. По телу пробежал колючий озноб, а лицо точно опалило знойным «астраханцем». Превозмогая невольную робость, Курсаков обратился к маячившему во дворе неясному силуэту:

— Мне бы хозяйку повидать...

— Ну я хозяйка. Чего надобно?..

Не заходя в калитку, Семен поздоровался, попросился на ночлег. Опасаясь отказа, поторопился упредить ответ:

— Да вы, хозяюшка, не сумлевайтесь. Я не велик барин. Могу где-нибудь и в сарае устроиться, лишь бы крыша над головой была.

— Зачем же в сарае? — усмехнулась хозяйка.— Для доброго прохожего у нас и в курене место найдется...— Она гостеприимно распахнула калитку, пригласила: — Заходите. Милости просим. Но покуда побудьте в горенке, там детишки вечерять ждут. А я смотаюсь корову подоить...

Семен не успел рассмотреть в темноте хозяйку, не разрешил свое сомнение — Фрося ли это?.. Но стоило ему войти в летнюю горенку и при свете коптилки взглянуть на веснушчатого, расторопного и чуть озорного мальчонку лет шести-семи, как все сомнения мгновенно исчезли. Казачонок был разительно похож на ту далекую, юную Фросю, которую он до сих пор не мог забыть. И чтобы окончательно увериться, Семен поинтересовался:

— Ну, казачок, как же тебя и твою мамку кличут?..

— Меня — Семкой, мамку — Фросей, а по-уличному — Фроськой-косой.— И тут же запальчиво опроверг: — Мамка

вовсе не косая. Все они брешут! Мамка просто любит на всех глядеть сбоку... вот так...— И он с прищуром повел озорными мальчишескими глазами по сторонам. Уснувшая на широкой скамейке маленькая девчушка захныкала, и Семка кинулся качать ее.

Вскоре в горницу вошла Фрося. Гремя подойником, процедила у порога молоко, разлила по кувшинам. Один из них поставила на стол. Вытирая фартуком лицо и руки, молча присела у стола. Тяжело вздохнув, устало уронила на колени свои большие рабочие руки. С любопытством посмотрела на гостя, улыбнулась:

— Ну вот, кажись, и управилась. Теперь давайте обзнакомимся... Кто вы, добр человек, будете? Откель и куда правитесь?..

Семен ответил не сразу. Он долго и внимательно разглядывал скуластое, загорелое и обветренное, покрытое тонкими паутинками преждевременных морщин лицо женщины, никак не мог признать ту, ради которой он принял добровольное изгнание. И только глаза, живые и лукавые, по-прежнему чуть косили на Семена, невольно вызывали в памяти давний образ милой и озорной девчонки.

— Я и не знаю, с чего начать...— тихо начал Курсаков.— Испокон веков я чеботарным делом занимаюсь и могу вам сшить, к примеру, новые красные сапожки, точно такие, как у атамановой Морьки. Надобно только с вашей ножки мерку снять...

Фросю будто кто сильно толкнул в грудь. Она резко отшатнулась, побледнела, как-то испуганно и беспомощно поглядела на Курсакова. Закрыв лицо руками, Фрося беззвучно расплакалась. Потом, вытирая фартуком слезы, укоризненно покачала головой:

— Эх, Семен, Семен, чего же ты, как махонький, притворялся, скрытничал? — и, оживившись, весело продолжала: — А все-таки я кое-что заподозрила. Но полностью признать не успела. Да и как признаешь? Дюже ты, Сема, изменился. Бравая стать появилась, черной бородкой обзавелся, даже рябинки твои не сразу заметишь.— В глазах Фроси вдруг вспыхнула озорная искорка.— Теперь от твоего обличья жалко бабий глаз оторвать...

Шутка Фроси неожиданно смутила Семена. Он слегка побагровел, крутнул головой и незлобиво укорил:

— Ну, Ефросинья, ты, как девчонка малая, все озоруешь...

— Девчонка? — подхватила Фрося.— Моему девчоночьему сердечку был мил прежний Сема — худенький, рябова-

тый, злой и колючий, но с нашим братом — девчушками — робкий и ласковый. Помню, меряешь ты мне ножку, а сам весь горишь. Я даже издали чуяла, как трепыхало твое воробьиное сердечко...— Фрося тихо засмеялась, смахнула выступившую слезу.— Веришь, Сема, как я тогда тебя жалела! Так жалела, что не могла без тебя день прожить... Эх, а потом... сам знаешь, что с нами сделали ироды, разлучники проклятые!..— Фрося умолкла, помрачнела, но через минуту снова на ее зардевшемся веснушчатом лице появилась добрая, грустноватая улыбка.

— Я, веришь, всю жизнь по тебе тужила, всякие думы думала... Вон даже старшенького — своего кормильца — тобою окрестила, Семой назвала, твоим тезкою сделала...

Поглощенная воспоминаниями, Фрося не заметила, как уставший за день маленький Семка забрался на широкую лавку, пристроился было слушать, но тут же уснул рядом с сестренкой.

Фрося спохватилась:

— Ах, боже мой, дети-то голодными заснули... Сема! Сема! Проснись, родненький! Сбегай, сыночек, на баз, покличь вечерять дядю Акима, а я зараз на стол соберу...

И когда за Семкой захлопнулась дверь, Фрося как-то смущенно пояснила:

— Там у меня на базу работник скотину убирает. Нашинский казак...

После ужина Фрося отвела детей в курень, уложила спать. Гостю постелила в горенке, а казаку-работнику сказала:

— Ты, Акимушка, ступай на сеновал. Мы с нашим дорогим гостем тут покуда посудачим, душу отведем за сколько лет, за сколько зим...

Высокий сутулый казак, с уродливо перекошенным лицом, молча постоял у стола, круто повернувшись, вышел из горницы, с силой хлопнув дверью.

— Обиделся дурачок...— печально усмехнулась Фрося.— Ну да бог с ним. У меня нынче годовой праздник...

Почти весь вечер Фрося говорила сама, не давая гостю слово вымолвить. Очень уж много накопилось у нее на душе.

— А мой-то благоверный, царство ему небесное, не возвернулся с войны. Сложил свою казацкую головушку на чужой сторонушке,— жаловалась Фрося.— И хучь промеж нас завсегда холодком тянуло и частенько нелады были, а вот жалко мне стало покойничка. Осиротил он нас, горемычных. Да и хозяйство без него в разор пошло. А жить-то надобно. Дети малые. Вот я и пригорнула к себе казака в ра-

ботники. Он сам недавно возвернулся с японской. Жив остался, только весь оконтузился. Его и отпустили домой подчистую. А тут другая беда — жинка не приняла. Зачем, говорит, мне такой казак... Как-то я покликала его починить ясли в конюшне. Сделал он все добротно, по-хозяйски. С той поры и прижился работник у меня на базу...

Далеко за полночь наконец выговорилась Фрося. Облегченно вздохнув, она тихо попросила:

— Ты уж, Сема, не осуди бедную вдовушку, ежели что не так...

ГЛАВА XX

Весть о том, что в хуторе появился чеботарь, определился на постой у Фроськи Будановой и стал принимать в починку обувь и шорную работу, мгновенно облетела все дворы. Лучшей рекламой оказались вначале старые чирики хозяйки, ярко засиявшие новизной после починки, а еще дня через три-четыре на ладной Фроськиной ножке вдруг вспыхнули красным пламенем немыслимые по красоте, совершенно новые и модные по тому времени сапожки-гусары...

Семен Курсаков в те далекие дни, когда жил в хуторе, достал в престольный праздник на ярмарке в станице Багаевской кусок первосортной юфти. Но сшить сапожки не успел — ушел из хутора. Однако с заветной мечтой не расстался. Товар хранил в своих тайниках и всякий раз во время похода брал с собой. И вот давняя мечта исполнилась.

Для Фроси великая радость неожиданно смешалась с огорчением: ни один бабий убор не подходил к этим нарядным сапожкам. Очень уж было все заношено, затаскано, заштопано и залатано. В отчаянии Фрося кинулась к старому сундуку. Перерыла все и наконец вытащила со дна пожелтевшие от времени свои девичьи наряды. И хотя они стали явно малы: то там жмет, то здесь не сходится,— все же можно было кое-что подобрать.

И каково было удивление хуторян, когда неприметная и всеми забытая вдовушка вдруг защеголяла во всем праздничном в будние дни.

— Тю, ты чего, Фроська, разнарядилась, как в годовой праздник?!

— Уборкой занялась! — врала Фрося.— Все старое в стирку покидала...

— А сапожки-гусары-то какие!.. Где это ты...

Фрося не давала закончить вопрос, торопилась объяснить:

— А это мой постоялец-чеботарь, Семен Иванович Курсаков, смастерил!.. Глядите, какой носок, каблучок, да и весь сапожок, будто красное яичко в пасхальный день!..

Все с любопытством рассматривали обнову, дивились, с восторгом и завистью ахали...

И вот полетела слава о чеботаре, а вскоре гужом повалили к Семену Курсакову хуторяне с различными заказами.

Расплачивались за работу чаще всего натурой. Одни принесут кусок сала или склянку постного масла, другие — мерку муки или бурсак подового хлеба. Семен принимал все и никогда не торговался, чем заслужил всеобщее уважение.

Трудился сапожник без устали, днем и ночью. Работал один и при людях. Вскоре к нему стали приходить хуторяне не только с заказом, а просто так, покурить, поговорить, поделиться новостями. Знал же Семен их немало. Кое-кому порассказал такое, что и во сне не приснится, а наяву с оглядкой надо к этому прислушиваться...

Фрося же в эти дни жила в какой-то хмельной одури. Пьянела она от доброго слова Семена, от нежного взгляда или мимолетного, будто случайного, прикосновения. И почти теряла голову, когда оставалась с ним наедине...

И вдруг нежданно-негаданно нагрянуло на вдовушку тяжелое похмелье.

Как-то в воскресенье, перед вечером, подозвала Фросю к плетню Прасковья Лемешкина, скороговоркой зашептала:

— Ой, дорогая соседушка! Ты бы только знала, что зараз творится у хуторского колодезя. Твой-то работничек нажрался где-то проклятого зелья и на водопой приперся. Ноги под ним ходуном ходят, осклизаются, в грязюку липнут, а сам, идол проклятый, несет всякое неподобное то про тебя, то про твоего постояльца-чеботаря... Грозит зачем-то к атаману сходить...

Фрося ахнула и кинулась в курень. Надо было скорее одеться и побежать за казаком, привести и уложить спать. Но не успела. В сенях вдруг послышался грохот. Рванув дверь, на пороге с трудом утвердился Аким Курюков. Пьяно покачиваясь, он долго и тупо разглядывал охмелевшими глазами застывшую у простенка Фросю.

— Скажи, подлюка, зачем меня, донского казака, на мужика, на хамлюгу поменяла, а?..

Фрося вздрогнула, побледнела, но ответила со зловещей ласковостью:

— Ты что, Акимушка, мелешь?! С какой стати я тебя меняла бы? Ты работник справный, никакой другой мне не нужен.

— Чего хвостом виляешь? Я тебе не об том...

— А об чем же? О моих бабьих делах?.. Зря ты, дружок, в голову взял всякое неподобное... Я пригорнула тебя так... жалеючи, чтобы ты, разнесчастный, в беде не сгинул...

— Хо, жалеючи!.. А чеботаря из-за какой нужды пригрела? За сапожки красные?!

— Ну знаешь ли,— задохнулась от обиды и гнева Фрося,— ты дурь свою не выказывай!.. Чего от меня хочешь?.. Да и кто ты таков?.. Муж?! Свекор?! Сват или черту брат?! Будя куражиться!.. Твое дело телячье! Понял?! А зараз проваливай на баз, покуда я...

Фрося не успела договорить. Одуревший от перепоя казак наотмашь ударил ее по голове. Оглушенная, она рухнула навзничь, на какое-то мгновение потеряла сознание, но тут же встрепенулась, суетливо вскочила на ноги.

— Ах ты, идол! Злодей проклятый! Да за что же ты меня убиваешь?! — закричала, заголосила Фрося и тут же кинулась к казаку, вцепилась в жесткую щетину бороды.

Она не помнила, как снова ударом казак свалил ее на пол. Топтал поверженное тело, бил ногами. В его глазах опять полыхнула дикая злоба. Он рванулся в сени, схватил топор и снова кинулся к Фросе. Сорвал с ее ног красные сапожки, присел на корточки у порога и с пьяной жестокостью стал рубить, кромсать ненавистную обувку...

На резкий треск распахнувшейся в горнице двери Семен Курсаков повернул голову. В проеме двери никого не было видно.

— Ну-ну, заходи! Кто там?!

На пороге появился Аким. В одной руке его зловеще блестел отточенным лезвием топор, в другой, как сигнал бедствия, горел красным огнем кусок растерзанного Фросиного сапожка.

— На вот тебе твои гусары!.. Ха-ха! — Казак с силой швырнул в лицо Семена лоскут юфти.— И убирайся отсюдова к чертовой матери!.. Ты думаешь, я не знаю, об чем ты тут с казаками толкуешь, а?! Нет, брешешь, мужицкая харя!.. Я все прослыхал: и про царя-душегуба, и про всякие свободы, какие ты сулишь хуторянам, и про революцию тоже!..— Казак, что-то вспомнив, суетливо вывернул из кармана измятый листок, потряс над головой: — А вот эту бумажку угадываешь?! Атаману зараз отнесу!

Семен не сразу понял пьяного казака и не мог сообразить, что произошло. Почему кусок Фросиного сапожка оказался у него в руках... Где сама Фрося?..

Пораженный страшной догадкой, Семен, сжав до боли в пальцах рукоять сапожного ножа, угрожающе двинулся на казака. Тот невольно попятился, занес было над головой сапожника топор, но вдруг круто повернулся, перемахнул через порог и, не оглядываясь, каким-то разнузданным галопом побежал со двора. За калиткой взвыл:

— Карау-ул! Люди добрые, помогите! Убивают!..

Семен не стал преследовать ошалевшего казака. Охваченный тревогой, он кинулся искать Фросю на скотном базу. Но там ее не оказалось. Метнулся в курень. Здесь, на полу прихожей, обнаружил ее, распростертую и обезображенную кровоподтеками. Ни о чем не расспрашивая, Семен помог ей подняться, сесть на лавку:

— Ах, гад, как он тебя разукрасил!..

Распухшими губами Фрося попыталась улыбнуться, но не смогла. Чуть слышно попросила:

— Ты, Сема, на меня такую не гляди. Отвернись, ради бога. Дай я немного причепурюсь...

— Не-ет, мы этого ему не простим! — угрюмо и зло пообещал Семен и тут же озабоченно добавил: — У нас, Фрося, еще одна беда. Меня, наверно, нынче заберут, арестуют... Твой работник мотнулся к атаману с доносом... Понимаешь, в торбе у меня остались запретные листовки, какие я не успел раздать... Надобно скорей куда-то их схоронить...

Фрося беспокойно огляделась вокруг:

— Неси их сюда! Давай мне!..

И хотя перед ее глазами еще плавали разноцветные круги и звенело в ушах, она, превозмогая боль во всем теле, решительно поднялась с лавки.

Вскоре на улице показалась толпа хуторян. Поднимая пыль, табуном направилась к Фросиному двору. Впереди, тревожно оглядываясь, двигался сам атаман. За ним, придерживая на боку саблю, семенил коротконогий и тучный полицейский урядник. Наступая ему на пятки, вихлялся пьяный Аким, время от времени что-то выкрикивал и потрясал над головой топором.

— Эх, не успеть нам надежно схоронить...— с досадой прошептал Семен, пытаясь спрятать в отдушине печи свернутые листовки.

— Давай, говорю, мне! — потребовала Фрося. Поспешно расстегнув на груди кофточку, сунула сверток за пазуху: — Сюда никто не полезет, ежели какой черт вздумает лапать — горло перегрызу!..

— Фрося, голубушка, еще одна просьба! — заторопился Семен, оглядываясь на дверь.—Эти листовки надобно потом

отнести в хутор Степной Кут и передать там одной славной девушке — Ульяне Сазоновой. Она знает, что с ними делать. Окромя того, нехай гукнет кузнецу Корнею Федотовичу о моей промашке. Поняла?..

— Поняла, Сема! Все поняла! Непременно пойду, и отнесу, и передам, и все обскажу!.. Дай только мне очухаться...

На крыльце и в сенях загремели удары в двери, послышался топот, гвалт голосов. Помедлив, первым перешагнул порог прихожей хуторской атаман.

Только через неделю, когда перестало ныть от побоев тело, Фрося собралась в дальнюю дорогу. Попросила свекровь, престарелую, но еще проворную бабу Кулю, присмотреть за детьми и подомовничать.

— Куда это тебя несет нелегкая?..— полюбопытствовала старуха.

— На кудыкино поле женихову родню проведать,— пошутила Фрося.

— Ты, девка, не скаль зря зубы, я сурьезно спрашиваю.

— А зачем вам, мамаша, это надобно? Много будете знать — дюже состаритесь...

— Ты, паршивка, мать не упрекай старостью. Коль тебе куда-то приспичило — ступай. А за внуками и без твоих просьбов буду приглядывать...

Фрося смущенно опустила голову, низко поклонилась свекрови, тихо попросила:

— Вы, мамаша, не гневайтесь, ради бога... Я это с дурна ума пошутковала... А за ваше доброе слово — спаси Христос... Я скоро возвернусь...

Стараясь не разбудить безмятежно разметавшихся на постели детишек, она украдкой расцеловала их горячие, чуть повлажневшие головки, перекрестила кровать и поспешно начала собирать дорожный узелок с харчами. Заветные листовки спрятала за пазуху...

...Впервые для Фроси день начинался доселе неведомыми, тревожно волнующими заботами...

ГЛАВА XXI

Перед рассветом, после вторых петухов, Василий Антонович сквозь сон слышал короткий собачий взвизг, вызванивающий стук в окно, глухой голос за дверью, но никак не мог открыть глаз, вырваться из тяжелого дремотного забытья. Помогла Алена Петровна:

— Василий, вставай!.. Слышишь, Василий!.. Господи, да спит-то как, будто убитый. Очнись, ради бога!..

— А? Что?.. Ты чего, старая, шумишь?..

— Вставай, говорю. Ктой-то в хату просится...

Обессиленный сном, Василий Антонович с трудом поднял тяжелую голову с подушки, опустил ноги на скрипучие половицы и, не вставая с кровати, прислушался.

Вскоре повторился осторожный, но настойчивый стук.

— Кого это нелегкая принесла в такую пору? — чертыхнулся старик, ощупью направляясь в сени.— Кто тут?..

За дверью приглушенный и как будто знакомый мужской голос:

— Свои... Впускайте в хату...

Василий Антонович переспрашивать не стал, открыл засов, распахнул дверь.

— Ну входи, ежели свояк. Смотри только лоб не расшиби в потемках. Лучше погоди малость у порога, а я жирник разыщу.

На шестке старик нащупал коробку спичек и, прежде чем зажечь коптилку, поднял горящую спичку над головой, чтобы взглянуть на нежданного гостя. И когда желтый лоскуток пламени, полыхая крохотным факелом, разогнал по углам сумрачные тени, Василий Антонович испуганно попятился к печке.

— Свят-свят... Исчезни, нечистая сила...— забормотал старик, в ужасе тараща заспанные глаза.

Прямо перед ним, пригнув у притолоки лохматую голову, обросший густой курчавой бородой, стоял во весь свой махинный рост Терентий Чумаков... Да-да, тот самый Терентий, с которым он когда-то пришел сюда, в Сальскую степь, из далекого Полесья, тот Терентий, с которым проклятая судьба перекрестила пути-дороги, сделала вначале кровными врагами, а потом, как в насмешку, уже после смерти Терентия, породнила их в постыдном браке незадачливых детей — Афоньки и Насти...

Суеверный страх ознобом охватил все тело Василия Антоновича, и он даже не почувствовал, как острое пламя спички, добравшись до жестких пальцев, с треском и вонью стало жечь твердые, словно застарелые копыта, ногти.

«Тьфу, всякое чертовье в голову лезет... Откуда возьмется Терентий?.. Разве станут мертвецы наяву в гости жаловать?.. Какое-то наваждение. То на мельнице голос его показался, а теперь вот сам явился... Может, это...»

Догадку высказать старик не успел. Из-за печи выскольз-

нула полураздетая Алена Петровна и опрометью кинулась к двери.

— Да родимый ты наш соколик! Вот и прилетел, возвернулся в родное гнездышко! — заголосила, запричитала Алена Петровна.

— Стой! Назад, старая! — вскричал Василий Антонович, отбросив в сторону погасшую спичку. Он уже понял, кто стоит у порога.

Но Алена Петровна словно не слышала окрика. Натолкнувшись в темноте на протянутые руки вошедшего, она припала мокрым от слез лицом к рваному рукаву видавшего виды зипуна и затряслась, рыдая. Через минуту она снова перешла на бабий крик:

— Горемычный ты наш сиротинушка! Да не уберегли мы твою голубочку сизокрылую!.. Как прослышала она, что лиходеи схватили тебя за белые рученьки, заковали в цепи чугунные и угнали на край света, в Сибирь-каторгу, а потом смерти предали, так и залилась слезами горючими... Сердечко-то ее и не выдержало.

— Не вой, тебе говорят!.. Замолкни, нечистая сила!..— выдохнул старик.— Всех соседей, проклятая, переполошишь!..

Он торопливо зажег коптилку, поставил на припечек и, с трудом овладев собою, внимательно посмотрел на гостя. Убедившись, что перед ним Афонька, так разительно похожий на своего отца — покойника Терентия, Василий Антонович со зловещей любезностью заговорил:

— Ну проходи, дорогой зятек, ежели вздумал заявиться в наши края... Расскажи, откуда тебя бог принес для нашей стариковской радости?..— Но тут же сорвался со взятого тона, безобразно выругался, с досадой оттолкнул рыдавшую старуху, в упор спросил: — В бегах?

— Да,— тихо ответил Афанасий.

— Ага, дюже хорошо!.. Вон как ты служишь царю-батюшке!.. С каторги, стало быть, убег?.. А зачем, спрашивается, сюда, ко мне, приперся?.. Может, за всяким разным добром, что Букреев на каравай Насте подарил? А?.. Эге, губа не дура на чужое!.. Нет, шиш получишь!.. Ты, сукин сын, арестантюга несчастный, дочку мою загубил, а теперь и на хозяйство мое заришься. Ишь наследник нашелся...

Афанасий зло сузил потемневшие глаза, глухо выдавил:

— Не надо мне никакого букреевского добра и вашего хозяйства... Скажите только: где Настенька? Что с нею приключилось?..

— Настя где?.. Он еще спрашивает, где Настя... Как будто...

Старик задохнулся от горя и ненависти. Некоторое время молчал, тяжело дыша. По распухшему от сна бородатому лицу потекли слезы. Не стыдясь их, он с рассчитанной жестокостью бросил в лицо Афанасия страшные слова:

— В сырой земле — вот где Настя!.. Через тебя же, каторжника, смерть приняла... Вместе с ее дитем в могилу закопали...

Афанасий вздрогнул, как от озноба, жалко и растерянно улыбнулся. Острая кинжальная боль резанула в груди. Он опустился на лавку, неловко привалился на край стола и, сгорбившись, застыл... Так, не шевелясь, никого ни о чем не спрашивая, просидел долго. Это молчаливое отчаяние не могло не поколебать, не смягчить даже такого ожесточившегося человека, как Василий Антонович. И он сдался. С досадой взглянув на рыдавшую старуху, боком приблизился к столу, тяжело опустил руку на сутулую спину Афанасия. Желая как-то утешить, хрипло заговорил:

— Ну будя... Убиваться теперь нечего. Что бог повелел и что сотворилось, того уж не возвернешь... А Настю, царство ей небесное, мы похоронили честь по чести, по-православному. Миру было — видимо-невидимо: весь хутор и почти все букреевские работники за гробом шли... Дюже хорошо получилось. Только одна дура непутевая, Ульяна Сазопова, смуту на кладбище затеяла... Мы ее как порядочную подружку Насти к гробу допустили, а она, трижды клятая, зачала причитать и такое понесла — слухать стыдно было. И Букреевых вспомнила, и меня приплела. По ее получалось, что мы и есть настоящие душегубы-убивцы, Настю в могилу свели... Тьфу, вспоминать муторно. Но ничего, когда ее сидельцы за волосья отволокли с кладбища в каталажку и недельку продержали там впроголодь, она присмирела, хвост поджала и даже с хутора потом куда-то убегла.

— Никуда она не убегла... Просто ушла работать в экономию к Пишвановым... Букреев-то опосля того и дня не стал держать, выгнал...— всхлипывая, сквозь слезы проговорила Алена Петровна.

Василий Антонович скосил на старуху глаза:

— И правильно сделал. Давно надо было ее гнать поганой метлой!.. Сама знаешь, что она вытворяла. Букреевским работникам запретные листовки по карманам рассовывала, а на хуторе в воскресенье из-под полы прямо в церкви на паперти их раскидывала...— Афанасию объяснил: — Говорят, твой дружок Осип Топилин снабдил ее теми листовками, из

города привез. Его, как доброго человека, на побывку отпустили. Он же, сукин сын, заместо благодарности народ вздумал баламутить...

— Люди, может, брешут, а ты бог знает какую напраслину несешь...— укорила Алена Петровна.

— Э-э, какую там напраслину... Сущая правда!..

Неподвижно сидевший Афанасий встрепенулся. В его угрюмых, наполненных тоской и тяжелым раздумьем глазах появилось вдруг живое удивление.

Старик, махнув на Алену Петровну рукой, снова обратился к Афанасию, доверительно заговорил:

— Померла же Настя, сказать по совести, с бабьего горя — руки на себя наложила. Только ты, сынок, об этом никому ни слова... Пашка Бурцев, лихоимец, с пьяна ума сбрехнул о тебе что-то, она и рухнула без памяти на землю. За мертвого тебя посчитала. Опосля этого свет, видать, ей стал не мил. Дома себе места не находила. С матерью было затеяла по тебе панихиду служить, но я встрял в это дело. Ну, признаться, поскандалили... Я в тот же день на мельницу уехал, а мать не усмотрела за нею. Кинулась в амбар, а она уже холодная на перекладине закрома висит...

Старик с трудом удержал подступившее рыдание. Чуть успокоившись, он мучительно медленно, с неожиданными паузами продолжал:

— На второй день и нашего хворого дитенка не стало. Скончался, родимый, на руках у бабки... Вот мы два гробика в одну могилку... Не уберегли... Наш грех...

Преодолев через минуту свою слабость, Василий Антонович вытер рукавом рубахи глаза и окрепшим голосом продолжал с кем-то свой давний спор:

— А Букреевы тут ни при чем. Они сами с горя все черное на себя навздевали и на похороны приехали. Не побрезговали руки свои замарать — землицы по горсти на гроб кинули. Прокопия даже слеза прошибла... Не пожалел он коечто и на поминки дать... Так что все тут по-хорошему получилось... Ну а ты, парень, не шибко горюй и скорей уходи, ради бога, отсюда подальше. А то к нам в степя на днях понагнали столько станичников да солдатни, как, скажи, на турок собрались войной идти... Говорят, все коннозаводчики слезно запросили наказного атамана оградить войсками ихние экономии от работников-бунтовщиков. Теперь покою и у нас не стало. Ходи да оглядывайся... Не дай бог, кто тебя тут заприметит. Тогда и ты пропадешь, и я беду великую наживу. Не шутейное дело — каторжника беглого пригорнул.— Старик воровато оглянулся, приложил к глазам ла-

донь, посмотрел в темное окно.— Пока не развиднялось, уходи потихоньку в степя. В какой-нибудь балке переднюй, а там ночью опять в путь-дорогу... Ежели невзначай нарвешься на службистов, то ни ты нас, ни мы тебя сном-духом не ведали... Понял?.. А теперь вставай и уходи с богом...

Афанасий послушно поднялся, взглянул на старика, печально покачал головой, горько усмехнулся:

— Эх, батя, каким ты был подлючным человеком, таким, выходит, и остался... Нет-нет, не боись, я не останусь у вас. Но теперь я мирно отсюда не уйду!.. Войсками нас не запугаешь. Не за тем я из киренского острога убег, все иркутские кордоны под пулями обошел, чтобы тут в балках заячью лихость показывать... Ты не гневайся, батя, но руку на прощание не дам...— Афанасий легонько отстранил старика, прошел за печь к безутешно рыдавшей Алене Петровне:—А вы, мамаша, не поминайте меня лихом... Я как-нибудь еще раз наведаюсь к вам, сходим вместе на могилку к Настеньке...

Афанасий нагнулся, поцеловал седую прядь на поникшей голове старухи, низко поклонился и тихо, почему-то на цыпочках вышел на улицу. Тяжело вздохнул, настороженно огляделся в темноте.

Где-то на востоке неровным светом горели сполохи: то багрово-синим полымем взметались у самой земли, резко обозначая далекую линию горизонта, то белым пламенем вспыхивали в беспредельной вышине неба, на мгновение испепеляя звезды. И трудно было понять: полыхают ли там пожарища или, набирая силы, яростно надвигается неукротимая гроза? Свежий предутренний ветер гнал на запад рваные клочья низко спустившихся туч. На хуторе еще не прокричали третьи петухи, но уже заметно было, как вокруг просыпалась суровая Сальская степь.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ефим Иванович Грецев

ЭХО В СТЕПИ

Роман

Редактор *М. И. Ильин*
Художник *Н. А. Абакумов*
Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*
Технический редактор *Е. В. Дмитриева*
Корректоры: *Г. С. Бабкина, Т. И. Ставбунская*

ИБ № 2485

Сдано в набор 28.09.83. Подписано в печать 24.02.84.
Формат $84 \times 108/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарн. об. нов.
Печать высокая. Печ. л. $9^{1}/_{2}$. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр.-отт. 15,96.
Уч.-изд. л. 18,54. Тираж 65 000 экз. Изд. № 4/9955. Зак. 445.
Цена 1 р. 60 к.

Воениздат, 103160, Москва, К-160.
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3





